

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В О П Р О С Ы
Я З Ы К О З Н А Н И Я

4

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1955

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В. В. Виноградов (Москва). Проблема исторического взаимодействия литературного языка и языка художественной литературы	3
А. Г. Широкова (Москва). Из истории развития литературного чешского языка	35

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Т. И. Грунин (Москва). Имя прилагательное в тюркских языках (На материалах турецкого языка).	55
С. С. Какабадзе (Тбилиси). О так называемых «хеттско-иберийских» языках.	65
К. В. Ломтатидзе (Тбилиси). Некоторые вопросы иберийско-кавказского языкознания	73

ИЗ ИСТОРИИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

И. Ю. Крачковский (Ленинград). Семитология в университетах СССР	83
---	----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

З. Штибер (Варшава). Теория фонем И. А. Бодуэна де Куртене в современном языкознании	89
Т. Г. Строганова (Москва). Одна из особенностей южнорусского вокализма	94
М. М. Спектор (Харьков). Радицев о взаимоотношении языка и мышления	104

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

А. В. Миртов (Горький). Курс «Современный русский язык» в плане филологических факультетов университетов	108
А. Н. Савченко (Ростов-на-Дону). Древнейшие грамматические категории глагола в индоевропейском языке	111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

И. А. Оссовецкий (Москва). Русско-белорусский словарь	121
Р. Р. Гагуа (Тбилиси). Ю. Д. Дешериев. Вацбийский язык	129
Н. И. Фличева (Москва). E. Riesel. Abriss der deutschen Stilistik.	134
М. Я. Немировский (Ростов-на-Дону). П. Шантрэн. Историческая морфология греческого языка	140

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В. Ф. Иванова (Ленинград). Обсуждение второго тома «Грамматики русского языка»	145
--	-----

Редколлегия

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции),
 В. В. Виноградов (главный редактор), А. И. Ефимов, Н. А. Кондрашов,
 Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев (зам. главного редактора),
 В. А. Серебренников, В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 78. Тел. Б-1-75-42

Т-05914	Подписано к печати 15.VII. 1955 г.	Тираж экз. 13450	Заказ 1319
Формат бумаги 70×108 ¹ / ₁₆ .	Бум. л. 4 ³ / ₄	Печ. л. 13,01	Уч.-изд. л. 15,4

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10

В. В. ВИНОГРАДОВ

ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

1

Сложность исторических процессов развития литературного языка, богатство и разнообразие средств выражения, присущих развитому литературному языку, его стилистическая многогранность, обусловленная историей использования его в искусстве и в разных других областях общественной жизни, важная роль национального языка как формы национальной культуры — все это требует специфического подхода к изучению развития литературного языка и ставит перед его исследователями ряд особых проблем. Среди них очень актуальна и интересна проблема взаимоотношений и взаимодействий литературного языка и языка художественной литературы.

Художественная литература, «первоэлементом» которой, по выражению Горького, является язык, представляет собой искусство, наиболее широко и разнообразно отражающее общественную жизнь, общественную мысль, наиболее глубоко воздействующее на развитие общества, самое интеллектуальное из всех искусств. Художественная литература — это творческая лаборатория, в которой открываются новые способы и средства поэтического использования народной речи. В то же время язык художественной литературы оказывает разнообразное влияние на развитие, обогащение и совершенствование литературного языка в целом. Художественная литература воздвигается на базе общенародного языка посредством его образно-эстетического применения. Писателям принадлежат огромные заслуги в развитии литературного языка.

А. И. Герцен писал: «В продолжение XVIII века ново-русская литература вырабатывала тот звучный, богатый язык, которым мы обладаем теперь; язык гибкий и могучий, способный выражать и самые отвлеченные идеи германской метафизики и легкую, сверкающую игру французского остроумия»¹. М. Горький видел «неоспоримую ценность до-революционной литературы» в том, что «начиная с Пушкина, наши классики отобрали из речевого хаоса наиболее точные, яркие, веские слова и создали тот „великий, прекрасный язык“, служить дальнейшему развитию которого Тургенев умолял Льва Толстого»². В этой связи уместно вспомнить знаменитые слова В. Г. Белинского: «Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и

¹ А. И. Герцен, Полное собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, т. VI, 1850—1851, стр. 455 («Русский народ и социализм»). См. то же в сб. «Русские писатели о языке» (Л., «Сов. писатель», 1954, стр. 269).

² М. Горький, Собр. соч., т. 27, М., 1953, стр. 168—169.

приводят их в систему, а писатели только творят на нем сообразно с сими законами»¹.

Однако уже в первой половине XIX в. волновавший русское общество вопрос о роли писателя в истории литературного языка, о силе и глубине его влияния на развитие общенародного языка решался различно. Так, А. А. Бестужев (Марлинский) высказывал мнение, несходное с суждениями Белинского: «Я думаю, что писатели суть творцы языка (без коего нельзя и сочинять), а язык доставляет бессмертие времени и народу. Мы здесь не говорим об языке в тесном его смысле; но, принимая в про- странном, скажем: может ли н а р о д усовершенствовать язык, сделать его способным к выражению всех понятий, какие только в уме человеческом рождаются, одним словом: может ли н а р о д создать язык Цицерона, Вергилия, Державина или Карамзина? Итак, этот плод веков и народов может иногда рождаться в одно десятилетие от одного человека»².

Вопросы о влиянии художественной литературы на развитие общенародного, национального языка в разные периоды истории народа, о роли писателей в развитии литературного языка, об общенародном и индивидуальном в языке писателя были предметом глубокого интереса многих выдающихся наших отечественных филологов; и все же до сих пор эти вопросы еще не получили всестороннего освещения и нуждаются в углубленных — теоретических и конкретно-исторических — исследованиях.

В досоветской традиции обозначились две диаметрально противоположные точки зрения в изучении и решении этой проблемы. Одна: история литературного языка — это и есть прежде всего история языка художественной литературы, языка выдающихся литературных произведений. Другая: необходимо резко разграничить историю литературного языка и историю литературного искусства, историю «языка» художественной литературы. Наметилось и как бы компромиссное понимание литературно-языкового процесса на основе механического сочетания тех и других взглядов.

Критический обзор работ, посвященных изучению проблемы взаимоотношений и взаимодействий русского литературного языка и русской художественной литературы, может представить общий интерес.

2

Общественный интерес к языку писателя в древней Руси возник и первоначально развивался под давлением практических нужд письменноречевой культуры. Общественное осознание форм и норм литературного языка на той или иной ступени его развития, восприятие и оценка изменений в его структуре не могли не сопровождаться наблюдениями над характером и направлением словесно-художественного творчества отдельных писателей. Личная манера писателя, его индивидуальные словообразования, фразеологические обороты, строй образов, приемы синтаксического объединения и расположения слов и словосочетаний, принципы более сложных словесных композиций интересовали русских книжников и поэтов еще в древнейший период развития русской письменности и русской художественной словесности.

Историческое движение литературы, смена стилистических манер и систем под влиянием сложных исторических причин иногда сопровожда-

¹ В. Г. Б е л и н с к и й, Полное собр. соч., т. I, М., Изд-во АН СССР, 1953, стр. 44 («Литературные мечтания»).

² А. Б е с т у ж е в, Ответ на письмо к издателю «Соревнователя просвещения», «Соревнователь просвещения и благотворения», ч. XIV, кн. 2, СПб., 1821, стр. 217—218. См. то же в сб. «Русские писатели о языке» (стр. 139).

лись возвратом к прошлому, изучением старых стилистических традиций и преяших индивидуальных литературных стилей, их новым использованием (ср. стиль автора «Задонщины» и его отношение к стилю «Слова о полку Игореве»). Проблема изучения и понимания стиля писателя приобретает большое художественно-практическое значение.

В такую важную пору истории русского языка, как XVII в., особенно его вторая половина, стилистические пародии на церковно-книжные и научные жанры предшествующей письменности могли выражать и отражать общие тенденции развития литературного языка в сторону его сближения с живой народно-разговорной речью (ср. стилистические пародии XVII в.: «Повесть о куре и лисице», «Служба кабаку или Праздник кабацких ярыжек» и т. п., а также пародии на стиль лечебников).

В результате живой культурно-исторической связи между развитием художественной литературы и развитием литературного языка устанавливается тесное взаимодействие между языком художественной литературы, живой народной речью и разными типами или стилями письменной речи. Вместе с тем выбор и предпочтение того или иного индивидуального стиля, отвечавшего «лингвистическому вкусу» определенной общественной среды, возбуждали коллективное подражание нормам стиля соответствующего писателя и иногда могли оказывать влияние на направление литературно-языкового развития. Достаточно вспомнить суждения Епифания Премудрого, литератора конца XIV — первого десятилетия XV в. о свойствах русской литературной речи, а также о характере своего личного стиля и восторженное отношение современников к этому «словоплетущему» и «словоплодящему» стилю, который нашел многочисленных подражателей и последователей. Понятно, что в атмосфере столкновения и борьбы разных «лингвистических вкусов» повышался общественный интерес к изучению и пониманию своеобразий структуры того или иного стиля, языка того или иного писателя.

Самый процесс общественной борьбы за нормы литературного языка и за то или иное направление его развития, сопровождающийся дифференциацией враждебных или противостоящих один другому стилей, естественно, бывает связан с обостренным вниманием современников к словесному творчеству отдельных писателей и с определением их отношения к установившимся формам или типам (стилям) общелитературной речи. Характерны в этом отношении процические выпады протопопа Аввакума против речевых украшений «виршей философских» и настоячивые призывы к читателю не презирать «просторечия», «природного» русского языка. Еще более глубоки и проникновенны стилистические разграничения разных средств литературного выражения, свойственные литературно-общественным деятелям Петровского времени. Противопоставления слога посольского приказа слогу славянскому, «гражданского посредственного наречия» «высокому славянскому слогу», «еллинизма» и «славенщизны» просторечию и, с другой стороны, «политесу с манира польского» говорят о том, что даже в период преобразования старой системы литературного языка очень живо было ощущение и осознание основных стилиевых потоков русского литературного языка в их движении и столкновении. Понятно, что индивидуальный стиль писателя оценивался и рассматривался тогда с точки зрения характера и метода смешения в нем этих типов речи, этих главных стилиевых разновидностей общелитературного языка.

Понятие личного или индивидуального стиля исторически изменчиво: оно наполняется разным содержанием на разных этапах культурно-художественного развития общества, народа. Во всяком случае, не следует то понимание индивидуально-художественного стиля, которое сложилось, скажем, в русской сентиментально-романтической эстетике конца XVIII —

начала XIX в. или в позднейшей реалистической эстетике XIX в., переносить в область древнерусской литературы до XVII в. Поэмото сомнительно, например, утверждение, что в XIV—XV вв. «...проявляются в русской книжности первые признаки индивидуализма»¹. Личное, отдельное в разной степени и по-разному обнаруживается и проявляется в разных литературных жанрах в разные эпохи истории культуры. Личное имя творца, «слагателя» и писателя часто служит лишь символом родового, типического, общего. Яркость и глубина осознания отдельных или индивидуальных особенностей речи писателя неизмеримо усиливаются в эпоху, когда складывается и утверждается общенациональная норма литературно-языкового выражения.

Зачатки научно-филологического изучения языка писателя у нас относятся только к XVI—XVII вв. Общественно-политические потребности эпохи наложили своеобразный отпечаток на характер этих изучений. Приобретает чрезвычайную остроту и значительность вопрос об общенациональном, национальном русском языке и его отношении к тем языкам, с которыми тогда особенно много и часто приходилось сталкиваться русским образованным людям, — прежде всего к языкам греческому, латинскому, а затем к польскому. Именно в этом плане движутся филологические интересы Максима Грека, позднее Елифания Славинецкого и его учеников. С этой точки зрения в XVII в. и начале XVIII в. осуществляется оценка стиля отдельных авторов и переводчиков (ср. замечания Ф. Поликарпова и его филологические труды). Кроме того, становится особенно актуальной проблема стилистического соотношения и взаимодействия, а также синонимического параллелизма «славянского» и простого, «природного» русского языка².

Понятно, что и в течение почти всего XVIII в. филологическое и критико-эстетическое отношение к языку и стилю писателя, в основном, определяется двумя господствовавшими тогда критериями оценок: 1) оценкой соответствия того или иного выражения, той или иной конструкции «духу» русского языка вообще, его строю, а затем и его литературным нормам (иногда только искомым) и 2) анализом способа использования тем или иным писателем основных конструктивных и стилевых пластов русского литературного языка — разных форм письменно-деловой обиходной или народно-разговорной речи, славянского слога и «европеизма». Именно в этом теоретическом кругу вращаются лингвистические и стилистические наблюдения В. К. Тредиаковского над языком современной ему литературы и его замечания о языке разных сочинений М. В. Ломоносова и А. П. Сумарокова. «Российская грамматика» Ломоносова и его рассуждение «О пользе книг церковных в российском языке» внесли предельную для того времени ясность в эти общие принципы изучения языка литературы, установив конкретные критерии и твердую грамматическую базу для стилистических оценок и толкований. В то же время «Риторика» Ломоносова стремилась определить основные понятия и принципы, которыми должна руководствоваться практика и теория литературного красноречия. «Риторика» явилась не только итогом предшествующих работ по теории и практике духовного и светского красноречия, но и развернутой программой и живым руководством для создания произведений высокого стиля. Именно эта норматив-

¹ Д. С. Лихачев, *Культура Руси эпохи образования русского национального государства*, Госполитиздат, 1946, стр. 18. Ср. также Д. С. Лихачев, *Национальное самосознание древней Руси*, М.—Л., 1945, стр. 69.

² Любопытно в этом смысле замечание Г. В. Лудольфа о языке Симеона Полоцкого, как писателя, сумевшего найти относительно широкий и доступный синтез этих элементов. См. предисловие к «Русской грамматике» Г. В. Лудольфа в кн.: Б. А. Ларин, *Русская грамматика Лудольфа 1696 года*, Л., 1937.

но-стилистическая сторона предписаний Ломоносова, находивших воплощение в его художественном творчестве, вызвала решительный протест со стороны А. П. Сумарокова. Вместе с тем А. П. Сумароков, исходя из нормативно-стилистических принципов своей художественной языковой системы, подчеркнул важность подхода к языку писателя с точки зрения основной диалектной базы общенационального языка.

Углубляющееся в течение всего XVIII в. представление о литературной норме общерусского языка и стремление к строгой дифференциации трех основных литературных стилей и их жанровых, а также функционально-речевых разновидностей побуждают писателей ломоносовского и послеломоносовского периода подвергать свои сочинения языковой и стилистической правке. В этих исправлениях остро и ярко отражается оценка отношения «языка писателя», индивидуального способа выражения, к установившимся или устанавливаемым нормам трех стилей русского литературного языка¹.

Само собою разумеется, что изменения в стиле таких писателей, произведения которых рассматривались как высшее воплощение литературно-языковых норм, еще более обостряли общественный интерес к изучению и оценке индивидуального словесного творчества. Даже основные вехи истории русского литературного языка в XVIII в. устанавливались и определялись именами писателей — Феофана Прокоповича, Кантемира, Ломоносова и Сумарокова, Елагина, Карамзина. И гораздо позднее И. Тимковский в своем исследовании «Опытный способ к философическому познанию российского языка» (Харьков, 1811), намечая периоды развития русского литературного языка, определял их именами выдающихся писателей².

Итак, с середины XVIII в. — под влиянием общественной оценки воздействия стилей художественной литературы на процесс постепенного становления норм русского национального литературного языка — начинается традиция слияния русского литературного языка с языком русской литературы, с языком писателей.

3

В XVIII в., когда с историей русского литературного языка тесно связывается история языка русской художественной литературы, история индивидуальных литературно-художественных стилей писателей, в процессе созидания национального литературного русского языка ярко обнаруживаются и обусловленные классовыми интересами литературных деятелей стремления направить развитие литературного языка по желательному для данной социальной группы стилистическому пути. Достаточно указать на борьбу Тредиаковского и Сумарокова с Ломоносовым и друг с другом по вопросу о путях развития русского литературного языка, на борьбу карамзинистов и пишковистов по вопросу о старом и новом слоге российского языка. Тенденция к включению истории индивидуальных стилей в историю литературного языка особенно ярко прояв-

¹ Ср., например, в оде И. К. Голенищевского на день восшествия на престол Елизаветы Петровны (25-го ноября 1751 г.), строфа 8, строки 5—8:

<i>Но весь свет, что преж было тмился,</i>	<i>Весь свет, что мраком прежде тмился,</i>
<i>В очах днесь росских отродился,</i>	<i>В счах днесь росских просветился,</i>
<i>Как чистый зрится сквозь нектар,</i>	<i>И чистым зрится как нектар,</i>
<i>Своим так взором белость кажет</i>	<i>Сичше повсюду кажет</i>
(изд. 1751 г.)	(изд. 1777 г.)

См. Р. М. Тонкова, Из материалов архива Академии наук по литературе и журналистике XVIII в., сб. «XVIII век», [вып. I], М.—Л., 1935, стр. 405—406.

² См. мою работу «Русская наука о русском литературном языке» («Ученые записки [МГУ]», вып. 106, 1946, стр. 47—48).

ляется в послепушкинскую эпоху. Здесь прежде всего следует остановиться на магистерской диссертации К. С. Аксакова. Различая историю слога и историю языка, К. С. Аксаков вместе с тем считает, что «...история самого языка соединена с историей слога»¹, так как развитие поэзии и развитие языка находятся в «сродстве» и взаимодействии. Но слог бывает «слогом языка» и «слогом личным», индивидуальным. Так, церковнославянский и восточнославянский народный типы древнерусского литературного языка представляются К. С. Аксакову то двумя языками, то двумя слогами². С другой стороны, К. С. Аксаков останавливается на характеристике «личного слога» литературных произведений и отдельных авторов в его отношении к языку³.

Таким образом, в концепции К. С. Аксакова история литературного языка должна была включать в себя не только историю стилей самого языка, но и историю развития индивидуально-художественных стилей писателей — в связи с исторической и идеологической оценкой методологии и философии автора. По мнению Аксакова, слог творческой личности может определить общее направление дальнейшего развития литературного языка. Так, Ломоносов создает новую эпоху в истории русского литературного языка. Он вносит стройный порядок в то смешение славянизмов, русизмов и европеизмов, которое царило до него. Разбором, правда несколько общим и абстрактным, прозаического и стихотворного слога Ломоносова К. С. Аксаков иллюстрирует новые приемы ломоносовского синтеза русизмов и церковнославянизмов. Однако анализ языка и слога Ломоносова у Аксакова всецело подчинен славянофильской концепции русского исторического процесса; этот анализ односторонен и субъективен. Историческое объяснение ломоносовской реформы затемнено гегельянской интерпретацией роли Ломоносова как гениальной личности, разорвавшей замкнутую сферу безличной народной словесности и отвлеченной книжности и положившей начало литературе с ее индивидуальными стилями.

В ином направлении и с иных точек зрения сближал историю русского литературного языка с историей индивидуальных стилей писателей акад. Я. К. Грот. Проблема языка писателя на фоне художественно-стилистической борьбы разных литературных течений в соответствующий период стоит в центре филологических разысканий Я. К. Грота в области истории русского литературного языка (ср. особенно работу Я. К. Грота «Карамзин в истории русского литературного языка»). Язык крупнейших писателей — Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина — определяет, по мнению Грота, пути литературно-языкового развития. Так, нормы карамзинского слога представлялись Я. К. Гроту основоположными для всей последующей истории русского литературного языка⁴. История русского литературного языка сводилась у Я. К. Грота к истории литературно-языковых манер отдельных писателей; при этом само литературное творчество писателя освещалось с общей и абстрактной культурно-исторической точки зрения.

Но уже около середины XIX в. обнаружилось и иное, резко противоположное понимание предмета и задач истории литературного языка. Ф. И. Буслев, придавая большое значение филологическим исследованиям языка и слога отдельных писателей и извлекая из них материалы для исторической лексикологии и исторического синтаксиса русского литературного

¹ К. [С.] Аксаков, Ломоносов в истории русской литературы и русского языка, М., 1846, стр. 72.

² См. там же, стр. 151.

³ См. там же, стр. 152, 155, 386.

⁴ См. Я. К. Грот, Филологические разыскания, СПб., 1873, стр. 140.

языка, решительно заявлял, что «понятие о слоге индивидуальном или личном выступает из области филологии: ибо слог известного писателя определяется характером самого писателя; здесь филология граничит с историей и философией. Притом слог индивидуальный видоизменяется по содержанию описываемых предметов; здесь, кажется, уже и предел стилистике, иначе бы ей пришлось рассуждать об астрономии, анатомии, физике, философии и пр»¹.

Понимание истории литературного языка как истории развития своеобразной общей (устной и письменной) нормализованной системы речевого общения в сфере государственного управления, прессы, школы, науки, публицистики, литературы, разных других сфер общественной жизни лежит в основе ряда статей и высказываний И. А. Бодуэна де Куртене, Л. В. Щербы, С. П. Обнорского и других наших языковедов. Проблему индивидуального стиля писателя они вывели за пределы истории литературного языка и чаще всего относили ее к истории литературы, к литературоведению, к поэтике.

Однако наметились и другие точки зрения. Здесь прежде всего необходимо выделить концепцию А. А. Потебни. Признавая народ творцом языка, великим «поэтом» в области словесного искусства, Потебня подчеркивал «гуртовой характер» речевого творчества не только в народной поэзии, но и в «литературе грамотных классов». «Знание независимо от своей степени ведет к умышленному влиянию на познаваемое. Отсюда мы не без основания относим к известным лицам как известные общие характеры литературных языков, впрочем, заключая обыкновенно а priori (язык Ломоносова, Карамзина, Пушкина), так и известные слова и обороты. И тем не менее в целом мы по отношению к языку остаемся на степени безличного творчества,— писал А. А. Потебня. — При всех условиях литературного языка мы чувствуем бессилие отдельной личности по отношению к звуковым изменениям, забвению и созданию грамматических категорий... Но и по отношению к более зависимым от личности сторонам языка, напр., к выбору, заимствованию слов из старинных, простонародных, иностранных, к изменению значения, к лексическим новообразованиям, к слогу, общество терпит произвол личности, лишь будучи само в ненормальном состоянии, как бывает при начале литератур или их возрождении после долгого перерыва»². А. А. Потебня считал, что «и при господстве письменности нормальный рост языка есть незаметное изменение, подобно изменению образов в народной поэзии»³. Ограничивая возможности и формы личного «творчества» в языке, А. А. Потебня очень сочувственно цитировал слова Велинского: «Лишь одни избранные в состоянии передать потомству не только содержание, но и форму своих мыслей и воззрений, свою личность... Обыкновенные индивидуумы осуждены на исчезновение в целом, на поглощение его потоком; но они увеличили его силу, расширили и углубили его круговорот — чего же больше?»⁴.

От широкой области истории литературного языка, включающей в себя и общую историю взаимодействия поэтической и прозаической речи, А. А. Потебня обособляет историю языка литературно-художественных произведений. Если язык коллективен, то литературное произведение лично, индивидуально. «Противоположность безличного и личного творчест-

¹ Ф. И. Буслев, О преподавании отечественного языка, Л., 1941, стр. 168.

² А. А. Потебня, Из записок по теории словесности, Харьков, 1905, стр. 145—146. В последней фразе, возможно, имеется в виду история чешского литературного языка конца XVIII — начала XIX в.

³ Там же, стр. 146.

⁴ Там же, стр. 45.

ва сказывается в характере преемственности литературных произведений»¹. «Произведения как отдельного автора, так и школы, связанной преемственностью, даже глазами историка, отыскивающего связь явлений, представляются обособленными, явственно разграниченными ступенями генеалогической лестницы»².

Следовательно, истории литературного языка противостоит в сфере личного речевого творчества история языка литературных произведений (или история стилей литературных произведений). Как показывают принадлежащие Потепне конкретные стилистические анализы произведений Пушкина, Тютчева, Фета, Гоголя, Л. Толстого и Достоевского, проблема языка литературно-художественного произведения слилась у Потепни с проблемой поэтического образа, его генезиса и истории. Потепне удалось не только своеобразно осветить общую проблему образа в связи с изучением качественных своеобразий поэтической речи, но и вскрыть некоторые исторические закономерности в развитии образов русской и украинской поэзии. В других теориях русского литературно-языкового развития, выдвинутых в нашей отечественной лингвистической науке конца XIX — начала XX в., личный почин, роль индивидуального литературного творчества больше всего выделяется применительно к новому периоду — с XVIII в. и совсем не учитывается в истории развития древнерусского литературного языка допетровской поры.

В работах акад. А. А. Шахматова по истории русского литературного языка теоретический вопрос о роли индивидуального стиля литературной личности в общем процессе литературно-языкового развития вообще не ставится. Согласно взглядам А. А. Шахматова на взаимодействие личности и народной массы, «индивидуальный почин (почин, конечно, невольный, бессознательный) бесследно затирается, если он не согласован с общим настроением языковой группы, да и самый почин возможен лишь при сочувствии (опять-таки невольном, бессознательно) говорящей среды. Тем не менее этот нормальный процесс, проводящий взаимодействие индивидуального и общественного начала, может быть в некоторых случаях резко изменен в пользу первого из этих начал в случае культурного или иного перевеса одних элементов над другими: господствующие элементы, даже отдельные личности, к ним принадлежащие, вызывают подражание, иногда и сознательное»³. Вообще же, по мнению А. А. Шахматова, «...активный процесс зарождается в языке отдельных индивидуумов, импонирующих среде своим социальным положением, своим умом, талантами, образованием (культурностью)»⁴. С этой точки зрения А. А. Шахматов и рассматривает роль великих литературных и общественных деятелей XVIII и XIX вв. в истории русского литературного языка — Петра Первого, Ломоносова, Карамзина и Пушкина⁵.

Ярким свидетельством того неопределенного, хаотического состояния, в котором находилась наука об истории русского литературного языка в начале XX в., может служить «Очерк истории современного литературного русского языка» проф. Е. Ф. Будде⁶. Этот очерк представляет

¹ А. А. Потепня, указ. соч., стр. 146—147.

² Там же, стр. 147.

³ А. А. Шахматов, Введение в курс истории русского языка, Пг., 1916, стр. 83.

⁴ А. А. Шахматов, Очерк современного русского литературного языка, 4-е изд., М., 1941, стр. 107.

⁵ См. там же, стр. 69, 244.

⁶ Е. Будде, Очерк истории современного литературного русского языка (XVII—XIX век), «Энциклопедия славянской филологии», вып. 12, СПб., 1908.

собой не очень богатую коллекцию фонетических, морфологических и лексических фактов, собранную, в основном, из произведений русской литературы XVIII и XIX вв. Ясных принципов периодизации процесса литературно-языкового развития не видно (выделяются три главных периода неравного объема: XI—XVII вв., XVIII в. и XIX в.); место «языка писателя» в общем историческом движении литературного языка не определяется. Однако о Карамзине сказано, что он «денационализировал язык» и что «он сообщил русскому языку новый синтаксический строй и разнообразие значений слов, а не его форм» (стр. 13). Особенно большое влияние на общее направление развития русского литературного языка приписывается языку Ломоносова, Пушкина и Тургенева.

Понятие о системе литературного языка совершенно чуждо Е. Ф. Будде. Для него язык — лишь конгломерат случайных и разнородных явлений. Отсутствует даже самое общее представление о литературно-языковой норме того или другого времени. Само собой разумеется, что здесь невозможно найти конкретно-историческую перспективу развития языка русской художественной литературы в XVIII—XX вв., так же, впрочем, как и литературного языка вообще.

4

Изучение процесса взаимодействий русского литературного языка и языка русской художественной литературы, обогатившееся в советскую эпоху новыми материалами и значительным количеством исследований, пока еще не привело к твердому решению относящихся сюда основных методологических вопросов. Исторические изменения в объеме и содержании понятия «художественная литература» (а следовательно, и «язык художественности литературы») остаются не разъясненными. Критерий «художественности» по отношению к памятникам древнерусской литературы и письменности является, по крайней мере, при современном состоянии литературоведческой науки, в достаточной степени расплывчатым (показательно, что акад. А. С. Орлов отыскивал элементы художественной стилистики даже в языке грамот и других памятников деловой древнерусской письменности). Не изучены различия в месте и функциях художественной литературы в культуре народности и культуры нации, а также различия в характере отношений художественной литературы к другим областям культуры народа в разные эпохи. Правда, практические трудности в понимании и оценке взаимодействий литературного языка и языка художественной литературы возникают обычно лишь при изучении русского литературно-языкового процесса с конца XVII в. или даже с первых десятилетий XVIII в.

Развернутого, всестороннего воспроизведения истории русского литературного языка XI—XVII в. у нас пока еще нет¹. Роль языка устной народной поэзии, разных ее жанров в развитии стилистики древнерусской письменно-художественной речи (несмотря на наличие целого ряда очень ценных работ, посвященных языку «Слова о полку Игореве», «Моления Даниила Заточника», «Задонщины», летописей, исторической беллетристики XVI—XVII вв., сатиры XVII в. и т. п.) также не может считаться раскрытой с историко-лингвистической точки зрения.

¹ Те очерки истории русского литературного языка, которые претендуют на охват всего процесса его развития, ограничиваются самой общей, односторонней, случайной характеристикой древних этапов его истории — до XVII в. [См. общие обзоры проф. Е. Ф. Будде, проф. Г. О. Винокура и проф. А. И. Ефимова; ср. также «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» С. П. Обворского (М.—Л., 1946) и «Историю древнерусского языка» Л. П. Якубинского (М., 1953)].

По отношению к русскому литературному языку в период восточно-славянской, а затем великорусской народности сохраняют всю силу вопросы о значении словесно-художественного творчества — как коллективного, так и индивидуального — для истории древнерусского литературного языка, а также о месте языка и стиля художественного произведения в общем потоке литературно-языкового развития. Но эти вопросы пока не подвергались тщательному, последовательному и широкому историко-лингвистическому исследованию, и специфика речи древнерусских художественных произведений и ее функций в историческом движении литературного языка остается мало изученной¹. У нас укореняется привычка механически внедрять в изложение процесса литературно-языкового развития очерки языка (или индивидуального стиля) отдельных писателей. Однако такие очерки посвящаются лишь писателям нового времени (с XVIII в., реже — с XVII в., как в моих «Очерках по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.»). Так, Е. Ф. Будде считал, что только с XVIII в. для истории русского литературного языка приобретает интерес проблема индивидуального стиля писателя². В «Русском языке» проф. Г. О. Винокура³ та же проблема — даже вопреки замыслу автора — возникает при анализе языка произведений Карамзина и — в соответствии с общей концепцией автора — утрачивает свое значение для истории русского литературного языка в послепушкинскую эпоху.

В «Истории русского литературного языка» проф. А. И. Ефимова⁴ за лекцией «Значение Ломоносова в истории русского литературного языка» непосредственно следует лекция, в которой характеризуются «социально-речевые стили разговорной речи XVIII в. и их отражение в литературном языке». Сразу становится ясным, что А. И. Ефимов начинает здесь говорить собственно о языке художественных произведений Фонвизина, Новикова и других авторов. Но остается загадочным, какую цель преследует автор: хочет ли он восстановить социально-речевые стили, анализируя их отражение в художественной литературе, или, наоборот, изучив эти стили по другим источникам, он стремится определить способы и принципы их литературно-художественного использования⁵. Внимательно ознакомившись с содержанием этой лекции, каждый придет к выводу, что здесь смешиваются разные задачи, причем ни одна не осуществляется в достаточной степени. С одной стороны, А. И. Ефимов характеризует «основные черты провинциально-дворянского просторечия» по напечатанному в новиковском «Живописце» «Письмам к Фалалею» и по произведениям Фонвизина; с другой стороны, здесь же говорится об используемых в «Письмах к Фалалею» литературных приемах «сатирического изображения грубых нравов крепостников-помещиков» и отборе речевых средств, а также «их применении» в произведениях Фонвизина, отличающихся «сатирической остротой и целеустремленностью»⁶. В дальнейшем изложении содержатся указания на «художественные достоинства языка действующих лиц „Недоросля“» (стр. 200), на «превосходные качества языка действующих лиц комедии „Бригадир“», на «образность и выразительность речи Простаковой» (стр. 201), на «тонкий и искусный прием, которым поль-

¹ Ср. Д. С. Лихачев, *Итоги и перспективы изучения древнерусской литературы в свете задач построения истории литературы*, ИАН ОЛЯ, 1954, вып. 5, стр. 422—423.

² См. Е. Будде, указ. соч., стр. 66.

³ См. Г. Винокур, *Русский язык*, М., 1945.

⁴ См. А. И. Ефимов, *История русского литературного языка*, [М.], 1954.

⁵ Ср. также главу: «Отражение в литературе речи дворовых, солдат и выходцев из духовной среды».

⁶ См. А. И. Ефимов, указ. соч., стр. 193—198.

зается Фонвизин, когда беседуют Кутейкин и Цифиркин» (стр. 204). Таким образом, литературный язык отождествляется с языком художественной литературы и притом с языком таких ее жанров, как комедия, сатирические письма и т. п. Между тем задача исторического воспроизведения речи дворянских, солдат, купеческой среды, анализ «жаргонного церковно-богослужительского словоупотребления», естественно, не входит в проблематику истории русского литературного языка. Это — скорее всего задача социально-исторической диалектологии или жаргонологии. В то же время в «Истории русского литературного языка» А. И. Ефимова отсутствует изложение изменений в грамматическом строе и лексико-фразеологическом составе русского литературного языка со второй половины XVIII в. до середины XIX в. Вместо освещения общих закономерностей и тенденций литературно-языкового развития за этот период А. И. Ефимов занимается следующими проблемами: «Социально-речевые стили разговорной речи XVIII в. и их отражение в литературном языке»; «Отражение в стилях литературного языка второй половины XVIII в. классовых интересов и противоречий» (причем сюда включена даже такая тема, как: «Языково-стилистическое своеобразие указов Пугачева», которые Пушкин охарактеризовал как «удивительный образец народного красноречия, хотя и безграмотного»); «Карамзин и Шишков о путях развития русского литературного языка»; «Значение Крылова в истории русского литературного языка», «Пушкин — основоположник русского литературного языка нового периода»¹ и т. п.

Таким образом, общей характеристики процесса формирования единой общенациональной литературно-языковой нормы и образования многообразия функционально-речевых стилей вместо господствовавшей в XVIII в. системы трех стилей языка, выяснения основных тенденций лексических, словообразовательных и грамматических, особенно синтаксических, изменений литературного языка с середины XVIII в. по вторую половину XIX в. в книге А. И. Ефимова нет.

5

К смешению и слиянию вопросов изучения литературного языка и языка художественной литературы многих лингвистов располагает отношение всего многообразия речевых произведений литературного искусства к одной категории — «литературно-художественному стилю» (ср., например, «Очерки по стилистике русского языка» проф. А. Н. Гвоздева)². Несомненно, что признание языка художественной литературы только одним из стилей литературного языка приводит к упрощенному и исторически суженному пониманию роли художественной литературы в развитии литературного языка. Ведь объем и содержание самой категории художественной литературы в разных условиях развития общества, общественные функции литературы, охват и состав создателей литературы и ее потребителей различны в разные эпохи истории культуры народа.

¹ Языку Пушкина, несомненно, должно быть уделено надлежащее место при изложении общей истории русского литературно-языкового развития; но интерпретировать «язык Пушкина» в этой связи надо со строго определенной точки зрения, а именно — как высшее воплощение общей национально-языковой нормы литературного выражения.

² Подробнее см. в моей статье «Итоги обсуждения вопросов стилистики» (ВЯ, 1955, № 1). Ср. также признание возможности понимания поэтического языка как особого стиля речи в ряду других: языка официального, научного, дипломатического, военного и т. д. в статье проф. Г. О. Винокура «Понятие поэтического языка» («Доклады и сообщения Филол. фак-та [МГУ]», 1947, вып. 3).

Исторический подход к литературе обязывает ее исследователей точно определять место художественной литературы в системе культуры народности и нации, нации буржуазной и нации социалистической, ясно характеризовать различия в степени и содержании народности литературы на разных этапах ее развития, глубоко и всесторонне освещать способы и формы отражения в развивающихся, изменяющихся литературных жанрах языка народа в его различных речевых типах, в его социальных и диалектных ответвлениях, а также следить за теми большими изменениями, которые развитие литературы вносит в развитие литературной и народной речи.

С этой точки зрения было бы затруднительно воспользоваться понятием единого «литературно-художественного стиля» русского литературного языка, например, при лингвистическом изучении русской литературы XVIII в., разные жанры которой были закреплены в стройной последовательности за высоким, посредственным и низким стилями (по Ломоносовскому делению). Поэтому «литературно-художественный стиль» как единое и более или менее обособляющееся речевое целое может быть выделен не во все периоды развития русского литературного языка (если рассматривать этот «стиль» параллельно и соотносительно с другими стилями языка). Чаще всего говорят о «литературно-художественном стиле» русского литературного языка эпохи восточнославянской (или «древнерусской») народности¹. Но в этом случае язык «Слова о полку Игореве» уравнивается с языком сочинений Владимира Мономаха, летописей и т. п. Кроме того, с понятием «литературно-художественного» или «художественно-литературного стиля» некоторые наши языковеды подходили к изучению системы национального русского литературного языка XIX и XX вв. Так, В. А. Гофман, считавший язык формой идеологии, писал: «В соответствии с различными видами литературной практики — различными идеологии — национально-литературный язык выступает в различных формах: как язык научный, „деловой“, публицистический, художественно-литературный. Язык художественной литературы — специфическая разновидность общелитературного языка. Внутри этой разновидности выступают более частные различия: язык прозаический и стихотворный; язык повествовательный, лирический, драматический»².

Таким образом, литературный язык изображается в виде целой серии «языков», некоторые из которых и прежде всего язык художественной литературы, как игрушечное яйцо, включающее в себя несколько более мелких яичек, тоже состоят из «языков» более специального охвата, ограниченного жанром. К В. Гофману, придерживавшемуся ошибочной точки зрения на язык как классовое явление, каждый из этих «языков» повертывается своими различными классовыми гранями: «Хотя литературный язык, — пишет он, — и закрепляет нормы национального языка, как всеобщего и единого, но в то же время, служа выражением классовой идеологии, литературный язык, как язык публичный, резко расслаивается на классовые стили»³. Тут нельзя не видеть своеобразного механического смешения структуралистского функционализма с отголосками «нового учения» о языке акад. Н. Я. Марра. В. Гофман не отрицает наличия у всех «языков» и «классовых стилей» внутри национально-литературного языка общей основы — «выработанной в процессе межклассового общения абстрактной системы средств выражения»;

¹ См., например, в «Истории древнерусского языка» проф. Л. П. Якубинского, в «Русском языке» проф. Г. О. Винокура, в «Истории русского литературного языка» проф. А. И. Ефимова.

² В. Гофман, Язык литературы, Л., 1936, стр. 35.

³ Там же, стр. 35.

в эту «систему» входят грамматические правила и — отчасти — словарь¹. Но подчинено ли развитие этой «общей основы» и всех функционально-разнотипных «языков» и «классовых стилей» внутри каждого из них одним и тем же закономерностям или же ими управляют совсем разные законы — об этом В. Гофман не говорит. Впрочем постулируемая им как основа качественного своеобразия разных форм речевого общения однородность классовой идеологии, которая в равной мере проникает и пронизывает все функциональные разновидности литературного языка, приводит к непространному смешению и отождествлению литературного языка и языка литературы (т. е. целого с частью — в понимании В. Гофмана)².

Таким образом, полное включение языка художественной литературы в систему литературного языка в качестве одного из его стилей не могло принести и не приводило к пониманию связей, взаимодействий и взаимовлияний закономерностей их развития. Не способствовало конкретно-историческим обобщениям и признание специфических имманентных закономерностей развития языка художественной литературы или поэтического языка как своеобразного функционально обособленного языка.

Акад. Б. Гавранек в своем известном труде «История литературного чешского языка»³ включает в историю чешского литературного языка развитие поэтического языка как особую самостоятельную сферу языкового движения. Здесь дается, например, характеристика типов поэтического языка в эпоху гуманизма и «барокко», описание тенденций поэтического языка в период классицизма и романтизма и т. д. Анализ поэтического языка, в основе которого лежит эстетическая функция, ведется в плане поэтики и теории художественной речи. Выделяются типичные для литературно-художественных стилей того или иного периода так называемые стилевые «доминанты». По существу развитие поэтического языка представляется в отрыве от общей социально обусловленной истории других форм литературной речи, как воплощающее свои имманентные тенденции словесно-художественного развития.

В «Истории литературного чешского языка» Б. Гавранка не только признаются особые закономерности развития поэтического языка, но и подчеркивается та идея, что язык художественной литературы со свойственной ему «установкой на выражение» имеет законное право на «деформацию», на нарушение общелитературных языковых норм. А это также кладет резкую, непреодолимую грань между историей литературного языка и историей языка художественной литературы, несмотря на глубоко правильную мысль автора, что в некоторые периоды истории народа поэтический язык бывает носителем и выразителем развития литературного языка в целом. Свойственное пражскому структурализму прежнего времени признание особых закономерностей, особого автономного развития различных «функциональных языков» приводит к тому, что исследователь перестает ощущать органическую связь частей единого литературного языка, не видит внутренней закономерности развития целого.

В истории польского литературного языка, написанной акад. Т. Лер-Сплэвинским⁴ и представляющей, в основном, «очерк грамматического и лексического развития письменного языка», при характеристике разви-

¹ См. там же, стр. 36.

² См., например, там же, стр. 279.

³ В. Н а в р а н е к, *Vývoj spisovného jazyka českého, «Československá vlastivěda», řada II, Praha, 1936.*

⁴ Т. Л е р - С п л а в и ń с к и, *Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, 2 wyd., Warszawa, 1951.* (Русский перевод: Т. Л е р - С п л а в и ń с к и й, *Польский язык, М., 1954.*)

тия литературного языка более поздней поры на первый план выдвинут язык художественной литературы¹. Поэтому при освещении новейших периодов истории польского языка, особенно после XVII в., автор «встретился с затруднениями, обусловленными невозможностью точно разграничить вопросы чисто историко-языковые и вопросы стилистические», «метод научного познания которых, — по словам автора, — до сих пор остается весьма неопределенным».

В «Польском языке» акад. Т. Лер-Сплавинского тексты из произведений выдающихся писателей не только подвергаются грамматическому и лексикологическому анализу с точки зрения общих тенденций развития польского литературного языка, иллюстрируя, таким образом, отдельные эпохи его истории, но и служат материалом для характеристики индивидуально-поэтических стилей их авторов. Эта двойственность интерпретации мешает внутреннему единству изложения истории польского литературного языка в целом. Вот иллюстрация — характеристика «языка и стиля» Генриха Сенкевича (1846—1916): «Из всех польских прозаиков он обладал, пожалуй, наиболее богатыми и наиболее дифференцированными стилистическо-языковыми средствами; каждое из его произведений обладает своим особым языком и стилем, и все же имеется нечто, роднящее все эти произведения друг с другом и образующее „стиль Сенкевича“, до сих пор в Польше никем еще, кажется, не превзойденный. Правда, определить сущность этого стиля трудно, но, кажется, главной чертой языка Сенкевича является исключительная способность черпать языковой материал из разговорной, повседневной речи как образованных слоев, так и городских масс и простого народа, а для прошлых веков — не столько из литературных произведений, сколько из мемуаров или из дневников, близких в языковом отношении к обыденной речи широких кругов шляхты»².

Таким образом, сохраняют и до сих пор всю свою силу те критические замечания, которые были сделаны мною по поводу смешения в университетских программах задач исторического исследования русского литературного языка с вопросами изучения стилей художественной литературы, языка отдельных авторов³.

¹ См. «Предисловие автора к первому изданию».

² Т. Лер-Сплавинский, Польский язык, стр. 269. Та же непоследовательность наблюдается и в изложении истории развития других литературных языков. Например, в «Истории французского языка» проф. М. В. Сергиевского (если оставаться в стороне отношение автора к литературному языку как к классовому явлению) язык произведений Рабле рассматривается как «полное осуществление» общих тенденций развития французского литературного языка в XVI в. (без разграничения индивидуального стилистического и общелитературного) (см. 2-е изд., М., 1947, стр. 124—126). О развитии французского литературного языка в XIX в. М. В. Сергиевский писал: «В самых общих чертах эволюцию литературного языка в XIX в. можно представить так, как это сделал Брюно в своем очерке языка XIX в. (в VIII томе Histoire de la langue et de la littérature française publiée par L. Petit de Julleville, 6 tirage, 1924, стр. 704—884), связав ее с эволюцией литературы, начиная с романтизма» (стр. 224; см. дальнейшее изложение на стр. 225—229). Любопытно далее характеристика языка Бальзака: «Ему принадлежит известное заявление: „Nous sommes trois à Paris, qui savons notre langue, Hugo, Gautier et moi“. И действительно, словарь его исключительно богат: он знал и пользовался языком прошлых эпох, языком провинции, техники и науки, часто узко специальных отраслей... Типичный представитель буржуазного класса, с необычайной яркостью отразивший в своих произведениях всеобщую погоню за наживой и неограниченную возможность превращения из мелкого буржуа в крупного капиталиста, Бальзак в языке своих произведений особенно ярко показал новые возможности использовать все средства и выражения, которые таил в себе язык, до него слишком стесненный в своем развитии» (стр. 226).

³ См. мою статью «О содержании и задачах курсов по языковедческим дисциплинам» в сб. «Вопросы языкознания в свете трудов Н. В. Сталина», ([М.], 1950, стр. 221—222).

Прежде чем переходить к выяснению путей и способов исторического исследования языка художественной литературы в аспекте общей истории литературного языка, необходимо вспомнить некоторые положительные результаты, достигнутые в изучении этой проблемы. В этой связи нельзя не коснуться интересной, хотя и не во всем удавшейся попытки решить проблему взаимодействия русского литературного языка и языка русской художественной литературы в историческом очерке проф. Г. О. Винокура «Русский язык». Г. О. Винокур считал, что изучение индивидуально-художественного стиля писателя (или, как обычно говорят, «языка писателя») — задача не лингвистики, а истории литературы¹. Язык русской художественной литературы включается им в общую систему стилей русского литературного языка. При этом в древний период развития русского литературного языка «круг текстов с функциями беллетристического характера: повествовательными, поэтическими, назидательными и т. д.» признается особым стилем, характеризующимся «взаимопроникновением книжного и обиходного начала языка». Таким стилем написана «литература путешествий, житий, поучений, поэтические памятники вроде «Слова о полку Игореве», повествовательные части летописи и т. д., то есть именно то, что составляет основное и наиболее ценное ядро оригинальной древнерусской литературы»².

Русский литературный язык в XV—XVII вв., по Винокуру, не обнаруживает в своем составе особого литературно-художественного стиля. Здесь этот стиль сливается с церковно-книжным стилем. В данный период «...книжное начало стало выдерживаться в литературной речи более строго и последовательно, а обиходное, во всяком случае, не расширило область своего применения. Прежние границы церковно-книжного и литературного стилей речи становятся поэтому неотчетливыми» (стр. 98).

В период формирования русского национального литературного языка возрастает роль художественной литературы. Ей принадлежат важные функции в процессе образования новой системы стилистики. «Беллетристика Петровской эпохи и ближайших к ней лет», ярко отражающая наступившие тогда «явления стилистического перерождения письменной речи», «выполняла важную роль в зарождении русского национального языка, так как способствовала замене древнерусской книжной речи такой другой книжной, в которую отдельные элементы старинной книжности вошли лишь составной частью в смешении с элементами обиходными» (стр. 118—119).

Таким образом, художественная литература активно содействует процессу взаимодействия и столкновения разных стилевых элементов русского литературного языка — старых и новых (вновь возникающих или осваиваемых путем заимствования).

По убеждению Г. О. Винокура, уже с конца XVII в. и в особенности с начала XVIII в. средний стиль, складывающийся и образующийся путем литературной обработки деловой речи с примесью книжных славянизмов, европеизмов и народно-разговорных элементов, становится сердцевинной новой системы русского литературного языка. Художественная литература классицизма культивировала преимущественно лишь высокий и низкий стили (или слоги). Чем ближе к концу XVIII в., тем сильнее обнаруживалось противоречие между общей линией развития русской письмен-

¹ См. Г. О. Винокур, О задачах истории языка, «Ученые записки Моск. гор. пед. ин-та», т. 5, Кафедра русского языка, вып. 1, 1941.

² Г. Винокур, Русский язык, стр. 73—74 (далее ссылки на страницы этой книги даются в тексте в скобках).

ной речи и наличным ее состоянием в основных жанрах художественной литературы: здесь язык постоянно представлялся то слишком «высоким», то слишком «низким».

В характеристике эволюции русского литературного языка в эпоху классицизма у Г. О. Винокура легко заметить внутреннюю противоречивость. С одной стороны, он настойчиво подчеркивает, что литература классицизма двигалась и развивалась преимущественно и даже почти исключительно в двух стилях — высоком и низком (стр. 129). С другой стороны, не менее настойчиво подчеркивается, что «создание высокого и низкого слогов было, собственно, заслугой перед русской литературой соответствующего периода, а по отношению к самому русскому языку оказалось полезным скорее косвенно. Именно оно оставляло свободный путь для развития так называемого среднего слога, предназначавшегося преимущественно для литературы не художественной, а научной и публицистической, т. е. именно такого рода письменности, где особенно успешно мог продолжаться процесс скрещения книжной и обиходной речи в единый и цельный общеписьменный русский язык» (стр. 124—125). Таким образом, по мнению Г. О. Винокура, в XVIII в. до Карамзина общая генеральная линия развития русского литературного языка проходила за пределами языка художественной литературы. «Будущее русского литературного языка выросло именно в пределах среднего стиля, каковы бы ни были собственно литературные достоинства двух остальных (стилей. — В. В.) в применении к соответствующим литературным жанрам» (стр. 125).

Дело представляется так, что средний стиль литературного языка, получивший начало и фундамент в официально-деловой, научно-технической и отчасти публицистической письменности конца XVII—начала XVIII в., и далее развивается вне влияния и вне рамок художественной литературы. Великие русские писатели XVIII в., — Ломоносов, Сумароков, Фонвизин, Державин, Радищев и другие — будто бы обогащают и развивают русский литературный язык не тогда, когда они создают оды, трагедии, поэмы, комедии и другие художественные произведения¹, не тогда, когда их творчество более или менее вращается в пределах высоких и низких жанров, а тогда, когда они в своих научных, публицистических или критических статьях попадают на общую генеральную линию развития русского литературного языка и пишут средним слогом. Что касается поэзии, то и средний слог ее, по мнению Г. О. Винокура, не очень способствовал общему развитию русского литературного языка, так как «всякая вообще стихотворная речь отставала в общей эволюции русской письменной речи в сторону сближения с обиходной» (стр. 132) (ср. теорию и практику поэтических вольностей).

Таким образом, в эпоху классицизма, по представлению Г. О. Винокура, возникло полное разобщение между языком художественной литературы и языком нехудожественной прозы, ее средним стилем. Однако это не мешает Г. О. Винокуру в языковой доктрине русского классицизма и в грамматических трудах Ломоносова находить признание приоритета среднего стиля. «В языковой доктрине русского классицизма, как она отражена в известных рассуждениях Ломоносова и разнообразной практике писателей второй половины XVIII в., важнее всего отметить признание основного „славенороссийского“ ядра в русской литературной речи. Речь идет о том, что язык церковных книг и язык „обыкновенный рос-

¹ Ср. интересную, но не вполне последовательную и несколько упрощенную попытку защитить противоположную точку зрения в канд. диссертации А. Т. Кунгуровой «Лексика комедий А. П. Сумарокова (Общелитературная книжная лексика)». (Автореферат—М., 1954.)

сийский», согласно этой точке зрения, имеют много общего, совпадающего, и что именно этот общий материал обоих типов речи есть движущее начало русского литературного языка» (стр. 124). Осложнение же этого «ядра» «славенскими» или чисто «российскими» материалами, обуславливающее различия высоких жанров, например, оды и трагедии, и низких, например, басни и комедии, по странному мнению Г. О. Винокура, имело лишь косвенное отношение «к самому русскому языку». Точно так же грамматика Ломоносова, по словам Г. О. Винокура, «...отражает нормы новой книжной речи, как она сложилась в традиции „среднего слога“, на почве слияния „славенского“ и „русского“ элементов в одно целое» (стр. 128). Между тем в грамматике Ломоносова, построенной в нормативно-стилистическом плане, постоянно отмечаются и варианты высокого, а также простого слога.

Односторонность и крайний схематизм изображения развития русского литературного языка в эпоху классицизма у Г. О. Винокура несомненны. Разобшение истории общего русского литературного языка и языка художественной литературы кажется тем более странным, что оно противоречит существенному пункту исторической концепции самого Г. О. Винокура. Ведь, по его словам, лишь в начале XIX в. «стало ясно, что общенациональный язык — это не непременно художественный язык». Поэтому только в послепушкинскую эпоху, как утверждает Г. О. Винокур, история общерусского национального языка и история языка русской художественной литературы резко разошлись.

Новая эпоха истории русского литературного языка, завершившаяся созданием общенациональной нормы, начинается деятельностью Карамзина (см. стр. 135). Основная задача этой эпохи заключалась в том, чтобы «...язык, сложившийся на почве среднего слога, сделать языком не только деловым и теоретическим, но также и художественным» (стр. 135—136) и выработать с помощью широкого синтеза книжной и народной речи общерусскую национальную языковую норму. Эту задачу и разрешила художественная литература. Она же способствовала образованию разговорно-литературного языка интеллигенции.

Процесс превращения среднего слога в язык не только деловой и теоретической, но также и художественной широко разворачивается в творчестве Карамзина. «Именно в этом, в своем существе, и состоит та „реформа слога“, которая была произведена Карамзиным» (стр. 136). «Новой литературе... надлежало, помимо прочего, помочь русскому языку в отборе жизненно необходимого и полезного в том потоке заимствованных и офранцузенных средств речи, которые проникали в него на рубеже XVIII и XIX столетий. Как раз с выполнением этой задачи и связана историческая заслуга русского „сентиментализма“ и его вождя Карамзина» (стр. 141—142). Таким образом, роль индивидуальности писателя, значение его работы над языком и слогом все же признаются и Г. О. Винокуром, но сначала они интерпретируются в плане развития общих стилей языка или расширения их функций. Однако и тут остается неясным, почему не принимается в расчет и даже вовсе не упоминается средний стиль прозы Сумарокова, Фонвизина, Новикова и других писателей второй половины XVIII в.

Г. О. Винокур представляет дело таким образом, что образцы карамзинского среднего стиля «...оказывали мощное воздействие на передовую часть дворянского общества, проникали в его частную переписку, а затем и в устное общение» (стр. 144). Позднее тот «небольшой круг лиц, которые могли считать вполне своим язык „Писем русского путешественника“...» (стр. 145), расширяется, этот тип языка как бы обобществляется, и «я языке, который постепенно начинал получать преобладание с началом XIX в., элементы, восходящие по своему происхождению к разным источникам, стали стилистически неразличимы и растворились в скрещен-

ном, но цельном единстве» (стр. 145—146). Следовательно, признается влияние языка писателя на общий процесс развития русского литературного языка в конце XVIII и в начале XIX в. Очевидно, это делается в тех случаях, когда индивидуальный стиль писателя как бы воплощает в себе и направляет вперед общие тенденции развития системы стилей литературного языка¹.

Легко заметить, что индивидуальному почину и «лингвистическому вкусу» классовой, социальной среды придается Г. О. Винокуром именно для этой эпохи очень большое, иногда решающее значение в развитии литературного языка. Тем самым недостаточно четко разграничиваются, а иногда даже прямо смешиваются субъективные усилия социальных групп использовать литературный язык в своих целях и направить его развитие по желательному для них пути и объективно-исторические закономерности развития самого литературного языка в связи с историей народа, с историей общества.

У Г. О. Винокура наблюдается явное смешение понятий языка, стиля и социального жаргона: по существу в число стилей литературного языка — на равных правах с другими стилями — включается литературно-художественный стиль узкого социального употребления с налетом светского салона (см. стр. 151). Отсюда вытекает такая формулировка, относящаяся к роли А. С. Пушкина в развитии русского литературного языка: «...для того, чтобы русский литературный язык стал подлиннонациональным языком, надлежало еще разрушить ту преграду, которая возникла между языком образованного круга, как он воплощался в обиходе салона и литературы, и языком русской народной повседневности. Это было осуществлено в 20—30 гг. XIX в. писателями послепушкинского периода, во главе с Пушкиным, имя которого и стало для последующих поколений символом общерусской национальной языковой нормы» (стр. 153).

Таким образом, развитие русского литературного языка представляется Г. О. Винокуром в значительной степени замкнутым процессом, захватывающим, кроме деловой письменности и литературы, лишь «обиходный язык», «домашнюю бытовую речь русского культурного слоя». Проблема общенародного, национального разговорного языка в его развитии, в его связях и взаимодействиях с литературным языком остается за пределами истории литературного языка. Любопытно, что, по мнению Г. О. Винокура, в послепушкинскую эпоху, «после того, как уже возникла национальная норма, языковые интересы художественной литературы и русской письменности вообще разошлись, что соответственно отразилось и в истории русского языка» (стр. 159).

Пушкинская эпоха «...освободила язык предшествующего развития от обязанности преследовать эстетические цели и оставила ему только его общенациональные функции. Стало ясно, что общенациональный язык — это не непременно художественный язык, но что, с другой стороны, специфически художественные задачи должны решаться вовсе не одними только непременно средствами общенационального языка. Вот почему история русского языка в течение XIX—XX вв. — это в значительной мере есть раздельная история общерусского национального языка и языка русской художественной литературы» (стр. 159). И далее в историческом очерке Г. О. Винокура обособленно рассматриваются проблемы развития языка русской художественной прозы и поэзии XIX и XX вв. и вопросы развития общенационального русского языка. Их взаимовлияние и взаимодействие больше не интересуют автора. Схематизм такого разделения и противоп-

¹ Ср. замечания о языке легкой поэзии начала XIX в., изобилующей славянизмами, «не втянутыми процессом скрещения в общий, средний фонд русской лексики» (стр. 146).

ставления очевиден. Самое понимание национального языка и путей его развития у Г. О. Винокура оказывается неясным и противоречивым (так же, впрочем, как и национальная литература). В самом деле, что значит такое его заявление о пушкинской эпохе: «Стало ясно, что ... специфически художественные задачи должны решаться вовсе не одними только непременно средствами общенационального языка» (стр. 159)? Какими же иными средствами? Чужого языка? И что значит противопоставление общенациональной формы русского языка его индивидуальным разновидностям? (стр. 166)

И все же, несмотря на некоторые несообразности и противоречия, на теоретические ошибки и исторические срывы, «Русский язык» Г. О. Винокура интересен тем, что здесь делается попытка оценить значение словесных сокровищ художественной литературы в общем процессе развития литературного языка с точки зрения его исторически изменяющихся норм и стилей. Впрочем, как и в большинстве работ по истории русского литературного языка, в «Русском языке» Г. О. Винокура на первый план выдвигается только лексика литературных произведений.

7

Обращаясь к произведениям художественной литературы за материалом для истории литературного языка, необходимо иметь ясное, хотя бы и общее представление о составе, объеме и функциях литературы в соответствующую эпоху, о ее жанрах и о тех речевых средствах, которые в это время пользовались правами литературного гражданства. Ведь нормы языка художественных произведений далеко не всегда совпадают с нормами литературного языка. Язык художественных произведений может выходить за пределы собственно литературного языка как в сторону прошлого, так и в область современных диалектных ответвлений народной речи. Само собой разумеется, что эти отклонения от норм литературного языка во многом зависят от жанровой природы художественного произведения. Кроме того, в них часто сказывается степень речевой культуры и уровень художественного вкуса той социальной среды, к которой принадлежит автор и которую он стремится обслуживать своим творчеством. Естественно, что по отношению к древним периодам развития русской литературы и русского литературного языка до XVI—XVII вв. — при неясных контурах литературно-языковых норм и пределов их колебаний — индивидуальные своеобразия поэтического творчества и специфика словесно-художественных отклонений от общелитературной нормы или от норм разных типов письменного языка остаются в значительной мере неопределенными. Они чаще всего относятся к сфере словесных образов, развернутых метафор или композиционно-ритмического строения речи. Кроме того, для этих эпох литературного развития неизвестны и, во всяком случае, пока еще не открыты специфические особенности сочетания и объединения далеких разностильных или разнотипных элементов книжно-славянской и народно-русской речи, характерные именно для словесно-художественных произведений.

Основная трудность исторического изучения языка художественных произведений, в аспекте общей истории литературного языка, состоит в том, что значение извлекаемого из них языкового материала может быть определено только сравнительно и соотносительно с показаниями других памятников того же времени, относящихся к иным сферам культуры и быта. Иными словами, такое изучение прежде всего должно быть сравнительно-историческим и сопоставительным. Кроме того, оценка речевых фактов, свойственных литературно-художественному произведению, невоз-

можно без учета его жанровой специфики, своеобразных качеств его композиционной структуры как словесно-художественного целого. Следовательно, историко-лингвистическое изучение художественных произведений должно сопровождаться также изучением их в плане исторической стилистики художественной речи и поэтики. Историк литературного языка не может не быть до некоторой степени и историком литературы; однако он не должен механически смешивать задачи литературоведческого и лингвистического изучения литературы и ее стилей, он не должен также — сознательно или машинально — переносить категории и законы развития языка на литературу, и наоборот. Принцип историзма, углубленный пониманием языковых явлений в их разнообразных связях и опосредствованиях, должен найти конкретное применение и в исследовании языка художественной литературы — этой сложной сферы культурно-общественного и вместе с тем эстетического использования языка народа¹.

Исторический подход к изучению языка художественной литературы убеждает в том, что хотя развитие русского литературного языка и его норм происходит в тесной связи с общим ходом развития литературы, однако интенсивность влияния языка литературы и широта его распространения различны в разные периоды истории культуры народа. Кроме того, жанровая дифференциация литературных произведений также исторически изменяется и развивается. Система жанров литературы в период ее национального развития резко отличается, например, от системы жанров древнерусской литературы XV—XVI вв. Характер индивидуализации стиля художественного произведения тоже меняется в связи с общим социальным развитием культуры личности, «образа автора».

Само собой разумеется, что индивидуальные своеобразия художественного стиля («языка писателя») могут найти отражение в истории литературного языка лишь в том случае, если в них находят концентрированное, яркое выражение общие тенденции развития литературного языка².

Обычно язык древнерусских памятников словесно-художественного творчества и изучается в этом плане. Поэтические своеобразия их ритма, семантические принципы построения образов, особенности композиционно-синтаксической структуры больших частей целого (за границами форм простого и сложного предложений), приемы эвфонии и тому подобные художественные средства относятся уже к области словесного искусства, т. е. к исторической стилистике художественной литературы. В сфере сти-

¹ Поэтому историк литературы ничего не может дать такая, например, абстрактно-вышелушенная характеристика языка художественной литературы: «Язык художественной литературы (поэтический язык) является, при сохранении всех его общих свойств, средством создания образа. Отсюда его основные особенности: он индивидуализирован, т. е. сохраняет черты живой речи, он обобщен, т. е. не просто воспроизводит особенности ее, а выделяет в ней типичное для данной социальной среды, для данного психологического состояния; он синтетичен, т. е. отражает все стороны языковой культуры (различия социальной, психологической, местной, профессиональной и пр. речи); наконец, имеет отчетливую эстетическую окраску, поскольку мотивирован определенным характером (к которому читатель относится положительно или отрицательно) или авторской речью, опять-таки имеющей оценочную окраску. Эти особенности определяют и своеобразие словарного состава и синтаксического строя поэтического языка» (Л. И. Тимощев, О систематизации основных понятий теории литературы, «Лит-ра в школе», 1955, № 2, стр. 65—66).

² Ср. поыткy в этом аспекте исторически осмыслить употребление союзных сложноподчиненных предложений в произведениях И. А. Крылова в канд. диссертации Н. И. Скосыревой «Союзные сложноподчиненные предложения в произведениях И. А. Крылова» (см. автореферат — Томск, 1953) или изучить структурные формы «придаточных определительных» в языке «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя — сравнительно с синтаксическими видами этих конструкций в языке пушкинской прозы у Т. Н. Мревлишвили («Придаточные определительные в художественной речи Н. В. Гоголя», в кн.: «Труды Тбил. гос. ун-та им. Сталина», т. 47, 1952) и др.

листки литературно-художественной речи выступают свои специфические композиционные и стилистические категории, а также исторически изменяющиеся жанровые критерии разграничения словесно-художественных систем. Отчетливая стилистическая очерченность разных жанров литературы и прикрепленность их к строго определенным формам словесного выражения, к «стилям языка» характерны не для всех периодов развития литературы того или иного народа. Так, например, дело обстоит в русской литературе XVIII в. с характерным для нее распределением жанров по степеням трех стилей (высокого, среднего и низкого)¹. Однако и здесь историка русского литературного языка будут интересовать не своеобразие и особенности, характерные для того или иного отдельного жанра или для того или иного индивидуального стиля писателя, упражнявшегося в этом жанре, а общие структурно-грамматические, лексико-фразеологические (а также и фонетические, если они имеются) качества каждого из трех основных стилей литературного языка в их развитии, в их взаимодействиях и в их отношениях к постепенно складывающимся национально-литературным языковым нормам. Индивидуальные черты языка отдельных писателей должны привлекать внимание историка литературного языка лишь в той мере, в какой они углубляют понимание общего направления и общих закономерностей развития литературного языка в тех или иных его сторонах или структурных элементах, особенно в сфере слово- и фразеобразования, развития и упорядочения синтаксических конструкций, а также в области сочетания, столкновения и объединения разных стилевых элементов речи². В языке писателя так или иначе отражается язык эпохи. Поэтому изучение языка художественной литературы открывает широкие возможности понимания общих закономерностей развития литературного языка соответствующего периода, и даже в некоторых произведениях — еще больше: языка общенационального. Однако необходимо помнить, что художественное произведение дает эстетически преобразованное отражение «речевой жизни» народа в соответствии с идейным замыслом писателя и методом его творчества. Изучение языка писателя содействует углубленному пониманию его образов, его идейных тенденций, индивидуальных своеобразий его словесно-художественного мастерства. В этом аспекте язык писателя обращен к его индивидуальному стилю.

Язык всякого литературно-художественного произведения рассчитан на восприятие, понимание и оценку его в аспекте общенационального, общенационального языка. Далеко не всякое словесно-художественное произведение движется в рамках установившихся или устанавливающихся норм литературного языка со свойственными ему стилями речи. И все же в целом русская литература XVIII—XIX вв. сыграла огромную роль в формировании русского национального литературного языка.

Исторически развивающиеся нормы общенационального разговорного языка, все шире проникая в письменность, закрепляются в художественной литературе и подвергаются здесь глубокой и сложной литературной обработке со стороны отдельных «мастеров слова». Русская художественная литература в XVIII в. и в начале XIX в. являлась не только творческой лабораторией, в которой определялись, выковывались и шлифовались нормы национального русского литературного языка, но и высшей школой обучения обработанной мастерами литературной речи, выразительной и правильной. Завоевание литературой демократических масс читателей обозначало все более и более широкую причастность разных слоев

¹ См. Т. А. Шаповалова, «Русская грамматика» и отражение ее норм в художественных произведениях М. В. Ломоносова. Автореф. канд. дисс., Л., 1953.

² Ср., например, В. Н. Айдарова, Лексико-фразеологический состав одического слога Г. Р. Державина. Автореф. канд. дисс., Тбилиси, 1953

общества к работе над осознанием и развитием живых тенденций литературного национально-языкового творчества.

Поэтому было бы глубокой исторической ошибкой отрывать историю русского литературного языка XIX и XX в. от истории языка русской художественной литературы за это время, как предлагал Г. О. Винокур. Совершенно справедливо заметил Б. В. Томашевский, что именно в этот период словесная культура — художественная словесность — играет особую роль в развитии национального русского литературного языка¹. Обогащение фразеологических средств языка, распространение и развитие политической, научной, технической терминологии, усовершенствование разных стилей речи во многом бывает результатом усилий отдельных писателей.

8

Значение языкового материала, из которого состоит индивидуальное литературно-художественное произведение, может быть уяснено и осмыслено в аспекте истории литературного языка лишь в том случае, если этот материал будет всесторонне освещен и исследован с точки зрения активных, живых процессов и закономерностей развития грамматики, лексики, фразеологии и даже стилистической системы литературного языка в целом. Важно, например, знать не только то, какие лексические слои или группы слов (общенародные, диалектные или жаргонные) использованы писателем, но и то, какие словарные пласты оставлены в стороне, какие были возможности выбора и что в конце концов отобрано и почему, какие новообразования созданы автором, чем мотивирована их необходимость и какова была их судьба в последующей истории литературного языка или в истории словесного искусства. Если же какой-нибудь великий художник слова своим творчеством определил главные линии взаимодействия литературного и народного языка (как, например, Ломоносов или Пушкин) или оказал сильное влияние на развитие отдельного стиля литературной речи (например, публицистического, как Салтыков-Щедрин), то и в этом случае в историю литературного языка не может войти ни полная характеристика индивидуального стиля этого мастера в его развитии и в его жанровых или иных вариациях, ни даже обобщенное изображение основных принципов его словесно-художественного мастерства. История литературного языка должна отобрать и обобщить лишь то из языка писателя, что вошло в систему общенационального литературного языка или превратилось в общую тенденцию его развития (хотя бы в рамках какого-нибудь одного из стилей литературной речи.) Например, применяемые Пушкиным способы объединения в композиции одного и того же художественного произведения таких речевых элементов, которые прежней литературно-языковой традицией относились к разным стилям, имеют огромное значение для всей последующей истории русского литературного языка. Вот иллюстрация из пушкинской «Осени»:

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод.
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм.
(*Извольте мне простить ненужный прозаизм.*)

¹ Б. В. Томашевский, Язык и литература, сб. «Вопросы литературоведения в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1951, стр. 193.

В этих стихотворных строках сочетаются такие слова и выражения, которые в допушкинское время противопоставлялись друг другу как элементы высокого, среднего и простого стилей, как признаки прозаической и поэтической систем изложения. Таким образом, здесь как бы наглядно обнаруживается процесс созидания новой стилистики общенациональной русской литературной речи на основе устранения перегородок между разобщенными элементами прежних трех ломоносовских стилей.

Однако от истории русского литературного языка в собственном смысле далеки, например, проблемы, связанные с пушкинскими приемами стилизации так называемого «восточного» или «восточно-библейского» слога¹. Таков, между прочим, прием присоединительного или усилительно-эмоционального нанизывания синтагм с помощью союза *и* в «Подражаниях корану», в «Пророке», в «Анчаре».

Непосредственно очевидно, что вставленные в общее повествование о развитии русского литературного языка очерки стилей отдельных выдающихся писателей относятся в большей своей части скорее к истории русского литературного искусства, чем к истории русского литературного языка. Таковы, например, главы «Язык Лермонтова», а также значительная часть разделов главы «Язык Гоголя и его значение в истории русской литературной речи XIX в.» в моих «Очерках по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.» (М., 1938). Совершенно открыто смешивает процессы развития русского литературного языка с вопросами словесно-художественного мастерства писателей А. И. Ефимов в своей «Истории русского литературного языка». Так, например, описание приемов, используемых Гоголем для формирования образов действующих лиц в «Мертвых душах»², относится, несомненно, к истории русской литературы, а не к истории русского литературного языка.

Точно так же очерк о Л. Толстом не содержит никаких выводов о том, что нового внесло творчество Л. Толстого в развитие русского литературного языка и в совершенствование его стилистической системы. Здесь говорится о «вопросах творческого мастерства и стилистического искусства в оценке Толстого», об «изучении писателем общенародного языка», о «работе Толстого над языком романа „Война и мир“», а общий вывод — торжественно-декларативный — обращен совсем не к истории языка, а к вечности: «...Значение Л. Н. Толстого в истории русского литературного языка определяется тем огромным вкладом, который он сделал в национальную культуру образного слова, создав в высшей степени художественные и поистине бессмертные произведения, отразившие во всей полноте и красоте мощь, богатство и многогранность русского языка»³.

Таким образом, задача изучения индивидуального словесного искусства писателя и принципы исторического осмысления продуктов его творчества в плане истории литературного языка различны по своему содержанию, по своей направленности, по характеру изучаемых в том и другом случае категорий, по критериям отбора и оценки. К сожалению, ясное осознание принципиальных различий между этими двумя историческими аспектами изучения «языка писателя» отсутствует в большей части статей, монографических исследований и кандидатских диссертаций на соответствующие темы. Например, в диссертации «Лексика и фразеология поэм И. С. Никитина» С. А. Кудряшов ставит перед собой задачу «...показать на конкретном материале словарного состава поэм Никитина, как использовался им общенациональный язык, его стили, народные говоры в целях воспроизведения действительности своего времени и выражения обществен-

¹ См. мою книгу «Язык Пушкина», М. — Л., 1935, стр. 121.

² См. А. И. Ефимов, указ. соч., стр. 315—316.

³ Там же, стр. 395.

ных и эстетических взглядов демократической интеллигенции середины прошлого столетия¹). Ясно, что интересы автора этой работы лежат в области истории русского литературного искусства. Сюда и относится большая часть наблюдений и выводов С. А. Кудряшова. Во всей работе, в основных выводах автора ярко проявляется отождествление литературного языка с языком художественной литературы.

В диссертации О. А. Шестаковой «Работа А. М. Горького над языком и стилем повести „Фома Гордеев“» из наблюдений, относящихся к горьковским исправлениям текста повести «Фома Гордеев» и, следовательно, связанных с изучением словесно-художественного мастерства М. Горького, делается неожиданный вывод: «Разрешая одну из частных и узких проблем в сложном вопросе о месте А. М. Горького в истории русского литературного языка, эта работа позволяет частично вскрыть ведущие языковые тенденции замечательного писателя и охарактеризовать его творческую деятельность стилиста, как деятельность патриота, борьба которого за общедоступность, чистоту, точность языка литературных произведений является борьбой за четкую идеологию и культуру богатейшего в мире русского языка»² (разрядка моя.— В. В.). Между тем сам А. М. Горький очень ясно и точно разграничивал вопросы стилистики художественной речи и вопросы соблюдения общенациональной языковой нормы или ориентации на нее в языке литературных произведений. В 1911 г. Горький писал К. А. Треневу о словесном искусстве писателя: «Вам необходимо заняться расширением лексики. Позвольте посоветовать следующее: проштудируйте богатейших лексикаторов наших — Лескова, Печерского, Левитова купно с такими изящными формовщиками слова и знатоками пластики, каковы Турганев, Чехов, Короленко»³.

С. М. Чевкину, автору книги «Фабриканты нации. История уездной глуши» (Пг., [1915]), Горький напоминал о стилистических нормах современного русского литературного языка: «Язык у Вас невозможен... Поражает обилие иностранных слов, соединяемых Вами удивительно смешно и провинциально, например: „шедевр классического аристократизма“, „психологический микроскоп“, „пунктуальность в исполнении формальностей этикета“ и т. д. Но вместо с этим Вы пишете: „хвостик тайной гордости“, „подворачивавшегося“, „набалтрусался“. Это очень плохо и, если Вы хотите работать, от этого Вам необходимо вылечить себя. Это не русский язык»⁴. О погрешностях против литературно-языковой нормы Горький писал также В. Д. Ряховскому (17 июля 1925 г.): «Язык — неровен, неточен, недостаточно выработан. Фраза — рваная, местами — неясная. Что значит, например: „тупое излучение глаз“? Излучение не может быть тупым. „Солнце, низкое, как посуда перед праздником“ — непонятно. „Удары вязнут“ — плохо... „Возы три раза застревали. Тащили на руках“ — нет, воз на руках не потащишь. Затем Вы слишком часто берете местные речения, понятные в Рязани, но чужие Пскову. Например: „луцает глазами“. „Лупать“ — это от вылупить глаза? И смотрите, как запутана фраза...: „Бродили вокруг поводящей за ними стальной взгляд окон церкви“. Так — нельзя писать, это не по-русски»⁵.

¹ С. А. Кудряшов, Лексика и фразеология поэм И. С. Никитина. Автореф. канд. дисс., М., 1954, стр. 3.

² О. А. Шестакова, Работа А. М. Горького над языком и стилем повести «Фома Гордеев». Автореф. канд. дисс., М., 1953, стр. 15.

³ М. Горький, Собр. соч., т. 29, М., 1955, стр. 212.

⁴ Там же, стр. 318.

⁵ Там же, стр. 434.

Немотивированные отступления от литературно-языковой нормы в угоду мнимой «форсисности», «щегольства» стиля сравниваются Горьким с «рощерком военного писаря».

О «Цементе» М. Горький писал Ф. В. Гладкову (23 августа 1925 г.): «...разрешите указать некоторые недостатки книги. К ним, в первую голову, я ставлю язык, слишком форсистый, недостаточно скромный и серьезный. Местами Вы пишете с красотью рощерков военного писаря. И почти везде — неэкономно, а порою и неясно. Примеры: „грузной, дубовой мебелью разных стилей“. Это — описка. Большинство стилей последнего времени не выносят ни грузности, ни дуба... „Даша в б р о в я х твердо подошла к столу“, — нехорошо. Однорукого человека вы называете безруким. „Поля сорвалась на́ смех“ — и не ясно и двоимысленно. Такими штучками у Вас испещрена вся книга. Они особенно неприятно режут глаз и слух читателя, когда Вы говорите их от себя, в описаниях»¹. В том же духе высказывается М. Горький в письме к Н. Ф. Погодину (26 декабря 1926 г.): «Вы, дорогой мой товарищ, пишете мне о своих рассказах: „Газетность, конечно, большая“. Нет, не только в этом недостаток Ваших очерков, а в том еще, что Вы хотите щегольнуть ловким словечком перед читателем, как, бывало, военные писаря царского времени щеголяли перед горничными. Возьмем начальные строки „Кумачевого утра“: „Рань с т о и т розовая“. Вы хотели сказать красиво, а вышло неверно: время — не стоит ни единой секунды. Нельзя сказать: рассвет стоял, хотя можно „погода стояла“. Вот сообразите, почему одно — нельзя, другое — можно. Дальше: „А сани скрипят в утро морозное, раннее“. А попозже, в морозное утро — не скрипят? Морозным вечером — не скрипят? Лишняя фраза, и ничего хорошего в ней нет. Сани у Вас „пошли“. Тоже нехорошо и неверно»².

Таким образом, несмотря на то, что и в практике выдающихся писателей, и в литературоведческой науке и даже в широких кругах языковедов распространено убеждение в необходимости различать историю литературного языка и историю художественно-литературного искусства, в нашей отечественной науке о языке есть тенденция к неоправданному расширению границ истории русского литературного языка новейшего периода и к механическому включению в нее картин из истории индивидуально-художественного словесного искусства. Это нередко ведет к подмене изучения общих процессов литературно-языкового развития отдельными характеристиками художественных стилей выдающихся деятелей русской литературы, писателей-классиков.

9

Языковой материал из литературно-художественных произведений может и должен входить в историю литературного языка лишь под строго определенным историко-лингвистическим углом зрения и в рамках тех категорий — грамматических, лексических, фразеологических, семантических и стилистических, которые лежат в основе анализа всех других языковых фактов, извлекаемых из разных других областей и видов литературно-речевой деятельности. Изучение «языка писателя» в плане истории словесного искусства, изучение стиля литературных произведений связано с анализом композиционной структуры художественного целого, с анализом приемов и принципов сочетания и объединения элементов разных стилей речи в этом сложном целом, с исследованием законов

¹ Там же, стр. 439.

² Там же, стр. 489.

построения образов персонажей, форм их речевой характеристики. Все эти проблемы выходят за границы, за круг задач истории литературного языка. Вот несколько иллюстраций того, как многогранны и сложны взаимоотношения и взаимодействия между литературным языком и художественной литературой.

1) В. Г. Белинский ввел в русский научно-теоретический словарь слова *замкнутый*, *замкнутость* в отвлеченном значении. В статье «Русская литература в 1840 году» он так характеризовал новшества своего публицистического лексикона: «... „Отечественные записки“ употребляют еще следующие, до них никем не употреблявшиеся (в том значении, в каком они принимают их) и неслыханные слова: *непосредственный*, *непосредственность*, *имманентный*, *особный*, *обособление*, *замкнутый в самом себе*, *замкнутость*, *созерцание*, *момент*, *определение*, *отрицание*, *абстрактный*, *абстрактность*, *рефлексия*, *конкретный*, *конкретность* и пр. В Германии, например, эти слова употребляются даже в разговорах между образованными людьми, и новое слово, выражающее новую мысль, почитается приобретением, успехом, шагом вперед»¹. Слова — *замкнутый*, *замкнутость* в философском и публицистическом употреблении 30-х годов укрепились в соответствии с немецкими *verschlossen*, *Verschlossenheit* (ср. чешск. *zamknutyj*, польск. *zamknięty*).

Ср. у Гоголя в «Мертвых душах» (т. 2, гл. III) насмешливую характеристику философской терминологии (20—40-х годов: «Что ни разворачивал Чичиков книгу, на всякой странице: *проявление*, *развитие*, *абстракт*, *замкнутость* и *сомкнутость*, и чорт знает, чего там не было!». В языке художественной литературы эти слова получают новые оттенки значений и вступают в новые фразеологические контексты. Например, у А. Ф. Писемского в романе «В подворотне»: «Видно было, что тут жил человек не замкнутый, а следами некоторого образования». У Д. В. Григоровича в рассказе «Столичный воздух»: «Холодна, замкнута, сосредоточенна, но очаровательна».

И. С. Тургенев писал о Ф. И. Тютчеве: «Галант его не состоит из бесвязно разбросанных частей: он замкнут и владеет собою»². В «Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского: «Европейский дух... не так многообразен и более замкнуто-своеобразен, чем наш»³. В этих случаях художественная литература лишь отражает интеллигентское словоупотребление. Но в художественной литературе слова *замкнутый*, *замкнутость* в применении к человеку, к его характеру получили образное конкретно-метафорическое раскрытие и осмысление. У Тургенева в «Дневнике лишнего человека» (1849) читаем: «...я вообще не глуп; мне даже иногда в голову приходят мысли довольно забавные, не совсем обыкновенные, но так как я человек лишний и с замочком *внутри*, то мне и жутко высказать свою мысль, тем более что я наперед знаю, что я ее прескверно выскажу. Мне даже иногда странным кажется, как это люди говорят, и так просто, свободно... Экая прить, подумаешь. То-есть, признаться сказать, и у меня, *несмотря на мой замочек*, частенько чесался язык: но действительно произносил слова я только в молодости, а в более зрелые лета почти всякий раз мне удавалось переломить себя; скажу, бывало, вполголоса: „а вот мы лучше немножко помолчим“, и успокоюсь. На молчанье-то мы все горазды...»

2) Слово *злыщ* в современном русском литературном языке относится к лексике разговорного стиля. Оно имеет яркую экспрессивную окраску

¹ В. Г. Белинский, Полное собр. соч., т. IV, М., 1954, стр. 438.

² И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 10, М., 1949, стр. 445.

³ Пример взят из «Словаря русского языка, сост. Вторым отд. Акад. наук», т. II, СПб., 1907, стр. 1457—1458.

прозрения, пренебрежения, выражая значение: «франтоватый, но лишенный глубокого внутреннего содержания шалопаи, эгоистический и неспособный к серьезному делу фат». Это слово пушено в широкое литературное обращение И. И. Панаевым, который в середине 50-х годов XIX в. напечатал целую серию фельетонов о хлыщах: «Великосветский хлыщ», «Провинциальный хлыщ», «Хлыщ высшей школы». Сам же Панаев заимствовал это слово из кружкового жаргона писательской среды 40-х годов, куда оно попало из живой народно-областной речи.

В заключение очерка «Великосветский хлыщ» дается объяснение значения слова *хлыщ* в такой сцене:

«Спрашивается, как же назвать такого молодца? — спросил глубоко-мысленно Пруденский...

В числе присутствующих тут в эту минуту находился господин, чрезвычайно веселый, юморист и славный рассказчик.

— Я знаю, как, — возразил он. — Это *хлыщ*! Таких господ надобно непременно звать *хлыщами*.

— Что такое? воскликнул Алексей Афанасьич, расхохотавшись, — Как?

— Как? Как? повтори-ка еще.

— *Хлыщ*!

— Да что же такое это значит? Какое это слово? Откуда оно? Я в первый раз его слышу.

— Ну, об этимологии его вы меня, пожалуйста, не спрашивайте. Я не знаю. Это сорвалось у меня с языка; но, мне кажется, что оно совершенно характеризует такого рода господ, как, например, ваш барон.

Нам всем очень понравилось это слово; мы приняли его без возражений и пустили в ход. Теперь оно, по нашей милости, начинает распространяться¹.

И действительно, слово *хлыщ*, неизвестное в русской художественной литературе 30—40-х годов, после повестей и очерков И. И. Панаева стало употребляться в разных стилях русского литературного языка. Еще раньше это слово укрепилось в кружке «Современника». Например, И. С. Тургенев употребляет его в письме к Е. М. Феофтистову (27 декабря 1852 г.): «Бокар действительно хлыщ первой величины — он бывал в доме моей матери в Москве — и потом в деревне, когда оборовывал казну на Тульском шоссе»². В письме к Н. А. Некрасову (ноябрь — декабрь 1858 г.): «Мы увидимся вероятно у хлыща Бурдина»³.

У Н. Г. Помяловского в романе «Брат и сестра»: «Отец хвастает, что из его сына не выйдет хлыща, полотера или человека, помешанного на чинах, кутиль»⁴. А. С. Дружинин писал в «Заметках петербургского туриста»: «Приятель мой... неблагозвучного имени *хлыща* не заслуживал, ...не имея в себе нахальства, дерзости, сухости *хлыща*... слабость его состояла

¹ И. И. Панаев, Собр. соч., т. IV, М., 1912, стр. 121—122. Характерны названия глав этого очерка: «О том, каким образом великосветские хлыщи пускают пыль в глаза перед людьми простыми, и как простые люди робеют и делаются неловкими перед великосветскими хлыщами» (гл. II); «Биографический очерк барона Шелкалова, из которого наблюдательный читатель может догадаться, что такое подразумевается под словом „хлыщ“» (гл. III); «Глава V, из которой проныцательный читатель усмотрит многое: во-первых, что хлыщи бывают различных родов; во-вторых, что великосветские хлыщи в свою очередь робеют и иногда делаются неловкими, и, в-третьих, что они разоблачаются и обнаруживают себя вдруг, совершенно неожиданно даже для самих себя, причем также вполне объясняется читателю значение не всеми употребляемого, но приятного для слуха слова „хлыщ“».

² «Тургенев и круг „Современника“. Неизданные материалы. 1847—1861», М.—Л., 1930, стр. 155.

³ Там же, стр. 123.

⁴ Н. Г. Помяловский, Полное собр. соч., т. II, СПб., 1912, стр. 242.

в том, что он мог назваться фанатиком, ... слепым почитателем, отчаянным поклонником моды»¹.

Слово *хлыщ* не было отмечено ни одним из словарей русского литературного языка до «Толкового словаря» В. И. Даля. Однако в «Опыте областного великорусского словаря» приведена целая группа слов той же основы — с подходящим сюда кругом значений: «Хлыстать, гл. ср. Шататься по дворам, ходить из дома в дом без дела. Нижегород. Новгород. Тихв. Хлыстка, и, с. ж. 1) Плетка, Псков. Опоч. 2) Бранное слово: непотребная женщина или девка, волочага. Псков. Опоч. Хлыстун, а, с. м. Шатающийся по дворам, ходящий из дома в дом без дела. Нижегород. Новгород. Тихв. Хлыстунья, и, с. ж. Шатающаяся по дворам, недомоседка. Новгород. Тихв. Хлыст, а, с. м. 1) В торговле: целое дерево, но без сучьев. Тамб. Морш. 2) Скопец. Тамб. Морш»².

В Дополнении к «Опыту областного великорусского словаря»: «Хлыстать, гл. ср. 1) Силетничать. 2) Врать. 3) Ругать. Псков. Твер. Осташ. Хлыстка, и, с. ж. Сплетница. Псковск. Твер. Осташ. Хлыстовка, и, с. ж. и Хлыстовница, ы, с. ж. То же, что хлыстка. Псков. Твер. Осташ. Хлыстóвка, и, с. ж. Бродяга, шатающаяся по дворам. Владим. Хлыст, а, с. м. 1) Бродяга, шатающийся по дворам. Владим. 2) Взрослый парень. Такой вырос хлыст, а баклушничает. Новгород. Борович.»³

Судя по этим данным, слово *хлыст* в значении «враль, повеса, фат» свойственно преимущественно севернорусским народным говорам. Слово *хлыщ* связывается скорее с южновеликорусскими говорами. В «Толковом словаре» В. И. Даля наряду с *хлыст* как синонимом указывается и *хлыщ*. Значение этих слов определяется так: «фат, фронт, шеголь, повеса, ба-сист»⁴. Так русский литературный язык в середине XIX в. обогатился новым словом при посредстве языка художественной литературы.

3) Потоки разговорной народной, а также областной и жаргонной лексики чаще всего направлялись в национальный русский язык XIX в. через широкую область стилей русской художественной литературы. Яркая экспрессивность многих диалектизмов или арготизмов, попадавших в разговорную речь горожан, вызывала к ним живой интерес со стороны писателей-реалистов.

К числу профессиональных и областных народных слов, вошедших в русский литературный язык в 30-40-х годах XIX в., принадлежит глагол *влопаться*. На нем и сейчас есть экспрессивный отпечаток вульгарной разговорности, во всяком случае фамильярной развязности. В современном языке это слово выражает два значения: 1) попасть впросак, попасться в чем-нибудь; сделав ошибку, промах, очутиться в неприятном положении. || В небрежной устной речи иногда употребляется как синоним глагола *вляпаться* в значении «валиться, попасть во что-нибудь» (жидкое, мокрое); 2) С грубо шутливой или иронической экспрессией — влюбиться, втюряться.

Основным значением этого слова до последней четверти XIX в. было «попасться, попасть впросак». Именно с этим значением глагол *влопать-*

¹ А. В. Дружинин, Собр. соч., т. VIII, СПб., 1867, стр. 149; см. также М. И. Михельсон, Русская мысль и речь, т. 2, стр. 463.

² «Опыт областного великорусского словаря, изданный Вторым отд-нием Акад. наук», СПб., 1852, стр. 248.

³ «Дополнение к «Опыту областного великорусского словаря». Издание второго отд-ния Акад. наук», СПб., 1858, стр. 291.

⁴ В. [И.] Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, т. IV, 2-е изд., СПб. — М., 1882 (фототип. изд. — М., 1935), стр. 568.

ся попадает в стили так называемой «натуральной школы» 30—40-х годов. И. А. Некрасов применяет его в рассказе «Без вести пропавший пиита» («Пантеон», ч. III, СПб., 1840) в речи дворового человека, передающего слова лавочника: «Все долгу просит. „В полицию, говорит, явку подам, надзирателю пожалуюсь... Этак честные люди не делают... Вишь, твой барин подъехал с лясами: поверь, да поверь земляку — вот я и влопался“»¹.

Очевидно, на слове *влопаться* тогда лежал яркий отпечаток вульгарного просторечия, быть может, даже с областной, провинциальной окраской. Слово *влопаться* зарегистрировано как областное в «Опыте областного великорусского словаря»: «Влопаться, гл. об. сов. Попасть в беду от неудачи. Сиб.» (стр. 26). В качестве областного оно рассматривается и в «Толковом словаре» В. И. Даля: «Влопаться во что, твр. смб. попасть в беду, впросак, попасться в чем. Иногда говор. *влопать* кого, посадить, втянуть в беду»².

В «Дополнении к „Опыту областного великорусского словаря“»: «Влопать, гл. д. То же, что *вкряпать*. Псков. Твер. Осташ.» (стр. 23). Ср. «Вкряпать, гл. д. Ввести кого-нибудь в неприятную историю. Псков. Новоржев. Опоч. Порх. Псков.» (стр. 23).

По своей морфологической структуре слово *влопаться* однородно с *втрескаться*: отношение *влопаться* к *лопать* такое же, как *втрескаться* к *трескать* (ср. *лопаться* и *трескаться*). Из народно-областных говоров (повидимому, северо-западных) глагол *влопаться* попадает в жаргон воров и преступников. В этом своем качестве он также находит отражение в языке художественной литературы.

Так, в «Петербургских труппах» В. В. Крестовского было использовано употребление этого глагола в «блатной музыке», в воровском аргю: «...Молодой вор, повидимому из апраксинских сидельцев, тоненькой фистулой, молодцевато повестует о своих ночных похождениях: — Просто, братцы, страсть! Вечор было совсем-таки *влопался*! да спасибо, мазурик со стороны каплюжника (т. е. полицейского. — В. В.) дождевиком (т. е. булыжником. — В. В.) поздравил — тем только и отвертелся! А Гришутка — совсем облопался, поминай как звали!»

К этим словам сделано такое примечание автора: «Для народа, ходящего по музыке, т. е. принадлежащего к воровскому сословию, имеют важное значение слова: *влопаться*, *облопаться* и *сгореть*. *Влопаться* — значит попасться в воровстве, но не опасно, если попавший тут же на месте освобождается, благодаря или своей увертливости, или своей силе, или снисхождению поймавшего, или же, наконец, отсутствию *поличного*, т. е. ворованной вещи, которая у вора крадущего никогда почти в руках не остается, а тут же мгновенно передается исподтишка *подручному*, т. е. помощнику. *Подручный* же немедленно удаляется с нею на безопасный пункт. *Облопаться* — это уже степень выше. Если мазурик облопался, то это значит, что он попался более опасным образом, взят полицией и отведен в часть или тюрьму и находится под следствием, однако же с надеждой на освобождение. Когда же говорится про «музыканта», что он *сгорел*, то это означает либо дальний путь его по Владимирке, либо, по меньшей мере, препровождение по этапу на место родины»³.

Таким образом, слово *влопаться* укрепляется в сфере народно-разговорной речи со значением «попасться в чем-нибудь, попасть впросак». Но яркая экспрессивность этого слова содействует сближению его с различными эмоционально-окрашенными сериями слов: то оно притягивается

¹ Некрасов, Собр. соч., т. III, М.—Л., 1930, стр. 22.

² В. [И.] Д а л ь, Толковый словарь., т. I, 2-е изд., СПб.—М., 1880 (фототип. изд.—М., 1935), стр. 217.

³ В. В. К р е с т о в с к и й, Собр. соч., т. I, СПб., 1899, стр. 29.

к созвучному *вляпаться*, то по сходству вульгарной экспрессии — к *втюриться* (ср. *врезаться*, *втрескаться* в значении *влюбиться*). Ср. в комедии М. Попова «Притворный комедиант»:

...Сердчишко и свое хочу открыть вам смело.
Ведь я вас удивлю. Имея плоть и кровь,
Как вы, и все, я сам ведь вляпался в любовь¹.

Ср. в пьесе Н. Я. Соловьева «На пороге к делу»:

«[Буровин] Девиза она из себя... ничего... телосложения надежного... и с румянцем! [Тесов] Красоты неописанной, Степан Иванович, — ну, равнодушие чувств при этом жестокая! [Буровин] Хм... вляпался ты в нее!... [Тесов] Так я врезался, так врезался, — свет мне божий не мил!...»².

4) Процессы формирования отвлеченных значений у слов, которые вместе с тем служат обозначениями конкретно-бытовых предметов, недостаточно изучены. Они различны в разные периоды развития языка. Самые принципы аналогических соответствий, устанавливаемые общественным сознанием между разными сферами действительности, неоднородны. Особенно велика в течениях и развитии этих процессов роль языка художественной литературы.

Слово *пружина* в современном русском языке выражает значение: 1) прямое, конкретное: согнутая спиралью упругая стальная полоса, используемая как источник механической силы, как приспособление для ослабления ударов, толчков и т. п.; 2) переносное, книжное: движущая сила в каком-нибудь деле, процессе; орудие, вспомогательное средство, причина. В современном русском языке это переносное значение является связанным, фразеологически замкнутым. Оно осуществляется чаще всего с определениями — *главная*, *тайная*, *скрытая*, либо в форме составного сказуемого — *быть главной*, *тайной*, *скрытой пружиной* чего-нибудь, либо в форме приложения, либо в виде развернутой метафоры — *обнаружить самые скрытые пружины* чего-нибудь, *нажать все пружины*, *пустить в ход все пружины* и т. п.

Основное реальное значение слова *пружина* легко выводится из этимологии этого слова: *пружина* представляет собою образование от основы *пруг-* (**пржг-*; ср. *упржгий*, *схпржгъ*; ср. *пряжка*, *запряжка*, *запрягать*, *напрягаться* и т. п.) с помощью суффикса *-ин-а*. В древнерусском языке до XV—XVI в. слово *пружина* обозначало «силок», «сеть» (ср. старославянское и древнерусское *пржаль* — *пружаль* — «западня», «сеть»; др.-русск. *пружати* — «напрягать», «натягивать», «мучить»; *пружатися*, *пружитися* — «напрягаться», «делать усилия» и т. п.). Например: «...Избави душу мою от сѣти вражия, аки птицу от пружины, аки серну от тетета (Сбор. Салт. Молитв. покаян. 27)»³.

Из этого значения вырастает в XVII—XVIII в. более широкое и вместе с тем специальное значение: упругая металлическая полоса, прямая или гнутая, противодействующая давлению. Отвлеченное переносное значение «действующая сила, основная причина» образуется в слове *пружина* во второй половине XVIII в. на основе этого технического значения, не без влияния французского *ressort*. Показательны такие иллюстрации. В переводе «Опыта о человеке» Поца (перевод Евг. Болховитинова,

¹ М. Попов, Досуги, или собрание сочинений и переводов, ч. II, СПб., 1772, стр. 300.

² «Драматические сочинения А. Островского, Н. Соловьева», СПб., 1881, стр. 240—241.

³ См. И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, т. II, СПб., 1902, стр. 1613—1614.

1793—1799 г.): «Самолюбие пружина всех наших действий»¹. У Пушкина:

Пружина чести — наш кумир,
И вот на чем вертится мир!
(«Евгений Онегин»)

Соответствующие французские образы можно найти у Монтескье в «De l'esprit des loix»: «En un mot l'honneur est dans la république, quoique la vertu politique en soit le ressort; la vertu politique est dans la monarchie, quoique l'honneur en soit le ressort». Ср. в переводе В. Крамаренкова [«О разуме законов...», т. I, СПб., 1775, стр. I—II (Предупреждение сочинителю)]: «Одним словом, честь находится в общенародной державе, хотя пружина оная есть политическая добродетель, так равно и политическая добродетель находится в самодержавном государстве, хотя пружину оного и честь составляет».

Тот же круг образов отмечается исследователями в статье Радищева «Беседа о том, что есть сын Отечества»: «Нет ни одного из смертных толико отверженного от Природы, который бы не имел той вложенной в сердце каждого человека пружины, устремляющей его к люблению чести... Что бы такое представляла тогда Природа, кроме смеси нестройной (хаоса), ежели бы лишена была оной пружины? — Поистине она лишилась бы величайшего способа как к сохранению, так и совершенствованию себя... Рассматривающий деяния человеческие увидит, что се одна из главнейших пружин всех величайших в свете произведений!»².

В «Почте духов» И. А. Крылова встречается то же выражение: «Тебя, может быть, удивляет слово *честь*, против которой я вооружаюсь; но знай, что это не та честь, которую разумели древние, и я не знаю, почему сию пружину называют ныне честью. Древняя повелевала быть обходительну, а нынешняя подымает у всех своих машин вверх носы» («Почта духов», ч. II, письмо XLVI)³.

Слово *пружина* в этом переносном значении вошло в средний стиль русского литературного языка со второй половины XVIII в. и широко употреблялось в прозе и стихах. Так, у П. А. Вяземского в стихотворении «К С. Ф. Безобразовой»:

Нужнее воздуха красавице мужчины —
Желанье правиться с ней вместе родилось;
Оно — вторая жизнь и нравственная ось,
На коей движутся все женские пружины.

У Н. В. Гоголя в «Мертвых душах» (т. 1, гл. II): «Хотя конечно они лица не так заметные, и то, что называют, второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где касаются и легко зацепляют их, — но автор любит чрезвычайно быть обстоятельным во всем...» У Н. И. Греча в «Записках о моей жизни»: «...Эта самая необходимость и была отчасти пружиною великих и блистательных дел ее»⁴. «Павел вскоре заметил истинную пружину его действий»⁵.

У Н. С. Лескова в «Захудалом роде»: «Она верно сообразила, чьи пружины могли тут действовать».

¹ См. Е. Шмурло, Митрополит Евгений как ученый, СПб., 1888, стр. 196.

² «Беседующий гражданин», ч. III, СПб., 1789, декабрь, стр. 315—318.

³ Весь этот материал можно найти в статье Б. И. Коплана «Философические письма «Почты духов» (1789 г.)» (сб. «А. Н. Радищев. Материалы и исследования», М.—Л., 1936, стр. 375—377).

⁴ Н. И. Греч, Записки о моей жизни, М.—Л., 1930, стр. 124.

⁵ Там же, стр. 149.

Конечно, на отдельных примерах трудно показать все многообразие форм и видов взаимодействия русского литературного языка и языка русской художественной литературы. Примеры из области лексики и фразеологии наиболее бросаются в глаза. Однако и в сфере развития экспрессивно-синтаксических конструкций в русском литературном языке XIX в. легко обнаружить огромное влияние языка художественной литературы. Иллюстрации из круга морфологических категорий (например, из истории обогащения функций категории числа имен существительных в художественной литературе и т. п.) также можно привести в большом количестве, обратившись к языку литературных произведений XVIII—XX вв. Но и из того, что сказано выше, ясно, как глубоко, разнообразны и актуальны задачи изучения языка литературно-художественных произведений в плане общих тенденций и закономерностей развития русского литературного языка и как важно направить работу по изучению индивидуально-художественного мастерства отдельных русских писателей в сторону установления исторических законов и тенденций развития русского литературного искусства.

Большая, важная проблема взаимоотношений и взаимодействий истории литературного языка и истории литературно-словесного искусства, нередко «снимаемая» буржуазным языкознанием то в пользу «словесного искусства», «эстетики слова» (В. Кроче, неолингвисты), то в пользу истории литературного языка (Ф. Брюно, пражский структурализм) или механически рассекать и «разрешать» посредством передачи области художественно-стилистического мастерства в полное распоряжение литературоведения¹, нуждается для всестороннего освещения в многообразных конкретно-исторических исследованиях.

¹ Л. Вейсгербер в статье «Неоромантизм в языкознании» [L. Weisgerber, «Neoromantik» in der Sprachwissenschaft («Germ.-rom. Monatsschrift», XVIII (1930), Heft 7/8] доказывал необходимость для лингвистики совсем отказаться от изучения индивидуальной речи. Исследование «языка писателя», индивидуального стиля выводится за пределы языкознания и отдается литературоведению: «погружаться в личный мир поэта» свойственно только историком литературы.

А. Г. ШИРОКОВА

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

1

Национальный чешский язык в силу своеобразия исторического развития чешского народа как носителя и создателя этого языка отличается сложностью своего состава и значительными структурными различиями входящих в него компонентов. В сложной, неоднородной структуре национального чешского языка, включающей в себя различные языковые образования, служащие средством общения, понимания и мышления всего чешского народа, следует выделить такие ее компоненты, как литературный язык со всеми его функциональными ответвлениями (например, разговорный язык), с одной стороны, и диалекты с их наддиалектными образованиями (народно-разговорная речь, см. ниже), — с другой. Указанные компоненты национального чешского языка имеют глубокие различия, касающиеся не только лексики, фразеологии и синтаксиса, но также грамматики и звукового строя языка. Кроме того, следует отметить различное назначение каждого из этих компонентов национального языка, выступающих в присущей им функции.

Одним из основных компонентов национального чешского языка является выполняющий роль общенародного языка литературный чешский язык (*spisovná čeština*), который отличается широтой своих функций и богатством выразительных средств. Литературный чешский язык является средством общения чешской нации во всех областях ее духовной, политической и культурной жизни. Это язык школы, печати, музыки, радио, театра и пр. При определении функций литературного языка следует иметь в виду как его письменную форму (язык художественной, научной и политической и др. литературы), так и устную (язык радио, школы и пр.). От устного литературного чешского языка, воспроизводящего нормы книжного, письменного языка, следует отличать разговорный литературный чешский язык (*hovorová čeština*¹), который является средством устного общения носителей литературного чешского языка, т. е. образованной части населения в повседневной жизни, в дружеской, семейной, интимной обстановке. Ниже мы будем называть его разговорной формой литературного чешского языка.

Разговорная форма литературного чешского языка отличается от собственно литературного чешского языка (в его устной и письменной форме) рядом фонетических, грамматических, синтаксических, лексических особенностей. Некоторые чешские ученые считают ее даже особым структур-

¹ См. В. Navránek, *Nářečí česká*, «Československá vlastivěda», díl III — Jazyk, Praha, 1934, стр. 87; F. Trávníček, *Úvod do českého jazyka*, Praha, 1952, стр. 59—61; его же, *O jazykovém slohu*, Praha, 1953, стр. 13.

ным образованием, имеющим свой основной словарный фонд и особый грамматический строй¹. С нашей точки зрения, разговорная форма литературного чешского языка является функциональным ответвлением литературного языка, появившимся в результате взаимодействия, взаимовлияния архаического письменного языка с народно-разговорной речью (о которой см. ниже) и с чешскими диалектами. Являясь отпочкованием литературного языка, разговорная форма содержит также элементы народно-разговорной речи.

Различия между разговорной и письменной формами литературного языка имеют место во многих языках, но в чешском языке они выступают резче, чем в других славянских языках, и весьма специфичны по своему характеру. Объясняется это причинами исторического развития. Литературный чешский язык возник и сформировался в основных своих чертах на основе среднечешского наречия еще в XIV—XV вв. Однако, возникнув на народной основе, в дальнейшем в силу особых исторических условий развития (которые будут освещены ниже) литературный язык стал значительно отличаться от народно-разговорной речи и чешских диалектов. Книжный, архаический характер литературного чешского языка, его оторванность от народно-разговорной речи не позволили ему стать разговорным языком широких слоев чешского населения.

Между тем разговорная форма литературного чешского языка в своем развитии, начиная с момента возникновения, находится в тесной связи с народно-разговорной речью, а в некоторых своих аспектах и тесно сливается с ней².

Следует также отметить, что разговорная форма литературного языка имеет свои территориальные варианты. Наибольшее распространение получил пражский разговорный язык, который в своей основе представляет литературный язык, в большей или меньшей степени содержащий народные, главным образом пражские и среднечешские элементы. Это наиболее стабилизовавшаяся языковая структура. Кроме пражского варианта намечается образование разговорной формы литературного языка и в Моравии — брненский вариант.

Лингвисты еще мало сделали для описания состава, определения границ и норм разговорной формы литературного языка. Те немногие чешские авторы, которые занимались этим вопросом, не высказывают единой точки зрения. Одни из них приписывают разговорной форме литературного языка многие черты народно-разговорной речи, другие — лишь некоторые из них³. Уже это является свидетельством того, что границы между разговорной формой литературного языка и народно-разговорной речью очень подвижны, условны и переменчивы, что в процессе дальнейшего развития эти две формы разговорной речи должны слиться.

Кроме литературного чешского языка в широком смысле слова (со всеми его функциональными ответвлениями), компонентом национального чешского языка являются также наречия (диалекты) с их наддиалектными образованиями. Под все углубляющимся влиянием чешского литературного языка диалекты постепенно теряют свое значение на тех территориях, где раньше они служили единственным средством языкового общения, причем в процессе нивелировки между близкими наречиями стираются наиболее специфические, наиболее резкие различия и развивается особый

¹ См. F. Trávniček, O jazykovém slohu, стр. 13—14.

² См.: V. Navránek, Nářečí česká стр. 87; F. Trávniček, Úvod do českého jazyka, стр. 59; F. Kopečný, Spisovný jazyk a jeho forma hovorová, «Naše řeč», XXXIII (1949), č. 1—2, стр. 17.

³ См. работы: F. Trávniček, Úvod do českého jazyka, стр. 59—61; F. Kopečný, указ. соч., стр. 17—20.

тип народно-разговорной речи (интердиалект, который в чешской лингвистике принято называть *obesná čeština*), лишенный целого ряда локально-ограниченных особенностей и представляющий широкое развитие тех черт, которые являются общедиалектными, общенародными. Так, в Чехии возникла народно-разговорная чешская речь, близкая по своей грамматической структуре и звуковому составу к среднечешскому наречию, в Моравии — ганацкая народно-разговорная речь, в Силезии — ляшская¹. Народно-разговорная чешская речь (*obesná*) является средством устного общения и взаимного понимания тех слоев населения, которые в недавнем прошлом являлись и в известной степени являются носителями диалектов и которые если и владеют литературным языком, то пассивно, в силу его книжного архаического характера. Следует отметить, что лица, активно владеющие литературным чешским языком, в общении с лицами, говорящими на диалектах, также прибегают к народно-разговорной речи, ибо ее нормами практически владеет все чешское население.

Различные стороны языкового строя народно-разговорной речи, являющейся одним из существенных компонентов национального чешского языка, в лингвистической литературе почти не освещены. Между тем народно-разговорная речь существенно отличается от литературного языка не только лексическими и синтаксическими особенностями, но также своим звуковым и грамматическим строем. Назовем хотя бы некоторые отличия:

В области звуков: звук *ě* (орф. *é*) литературного языка соответствует в народно-разговорной речи *i* (орф. *í, ý*) (*chlěb//chlib*); *ī* (орф. *y, i*) соответствует *ej* [*celý týden* (лит.) — *celej tejdén*]; начальному *o* соответствует *vo* (*on odešel — von vodešel*); *ū* (орф. *ú*) в начале слов соответствует *ou* (*úroda — ouroda*). В народно-разговорной речи широко представлено упрощение группы согласных. Ср. в литературном *však, půjdu, kdalec, hřbitov* — в народно-разговорной речи *šak, puđu, kadlec, řbitov* и пр.

В области форм:

1. В соответствии с разными окончаниями творительного падежа множественного числа существительных всех трех родов литературного языка в народно-разговорной речи распространено окончание *-ma* (*-ama, -ema, -ima*): ср.: в литературном *domy, ženami, dušemi, městy, moři* — в народно-разговорной речи *domama, ženama, dušema, mořema*.

2. В отличие от литературного языка, сохраняющего в именительном падеже множественного числа у прилагательных, местоимений и причастий различие по родам, а в мужском роде также различие по одушевленности и неодушевленности, в народно-разговорной речи для всех трех родов употребляется одна форма.

В литературном языке *noví dělníci, nové domy, nová okna* — в народно-разговорной речи *nový (dělníci, domy, vokna)*; в литературном *tí dělníci přišli, ty ženy přišly, ta děvčata přišla* — в народно-разговорной речи: *ty (dělníci, ženy, děvčata) přišly*.

3. Притяжательные прилагательные на *-ův, -in* склоняются в народно-разговорной речи по образцу полных форм прилагательных (ср. *bratrův-bratrových, bratrovým* и пр.)

4. Полные прилагательные женского рода, а также притяжательные местоимения в родительном, дательном и местном падежах единственного числа имеют в народно-разговорной речи иные окончания, чем в литературном языке (в литературном *té hodné* — в народно-разговорной речи *tej hodnej*).

¹ См.: В. Наврánek, *Nářečí česká*, ср. 87; F. Trávníček, *O jazykovém slohu*, стр. 12.

5. В 1-м лице единственного числа и в 3-ем лице множественного числа в соответствии с окончаниями *i* (1-е лицо ед. числа) и *i* (3-е лицо множ. числа) литературного языка в народно-разговорной речи употребляются только *и* и *ои* (в литературном *miluji, milují, šiji, šiji* — в народно-разговорной речи *miluju, milujou, šiju, šijou*).

6. В народно-разговорной речи широко проводится обобщение звукового вида основ в формах глаголов настоящего времени и повелительного наклонения. Ср. в литературном *peku, pečeš, upec!* (повел.) — в народно-разговорной речи *peči, pečeš, upeč!*

7. Сослагательное наклонение в литературном языке образуется при помощи вспомогательных форм *bych, bys, by, bychom... (přišel bych)*, а в народно-разговорной речи употребляются формы *ja by sem přišel, ty by si...¹*

2

Для уяснения причин глубоких различий между литературным языком (в его устной и письменной форме) и народно-разговорной речью, а также для уяснения того, почему разговорная форма литературного языка значительно отличается от норм самого литературного языка, необходимо обратиться к закономерностям исторического развития чешского языка, которые находятся в зависимости от закономерностей развития общества, ибо «... язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если он изучается в неразрывной связи с историей общества, с историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка»².

Указанное различие между разными компонентами чешского национального языка существовало не всегда. Как уже говорилось, литературный чешский язык возник и сформировался на основе среднечешского наречия. Язык произведений XIV—XV вв. не обнаруживает значительных диалектных различий, а свидетельствует, напротив, о том, что в пределах чешских земель уже существовал более или менее единый литературный язык. Следует отметить тем не менее, что литературный язык до XV в. обслуживал главным образом определенные социальные слои населения: духовенство, дворянство, верхушку городского населения, которые сознательно пытались сохранить в литературном языке множество старых форм, вышедших из употребления в народной речи. Однако в период гуситского движения произошло значительное сближение литературного языка с разговорным языком широких слоев населения, так как простой разговорный язык в это время становится средством пропаганды реформаторских идей. Этому сближению способствовали также многочисленные переводы священного писания и комментарии, написанные простым, доступным для народа языком, распространение духовных песен (многие из них сочинял Гус), чтение библии на чешском языке и пр. К концу XV и началу XVI в. письменный литературный язык достигает значительной стабильности, так что к концу XVI столетия можно говорить о едином, достигшем большого расцвета и распространения языке. Период с 1520 по 1620 г. называют «золотым», классическим веком в развитии чешской литературы. Особая заслуга в подготовке этого периода принадлежит «Чешским братьям» — национальной и культурной организации, поднявшей языковую

¹ Подробнее см.: М. Веу, Morphologie du tchèque parlé, Paris, 1946; А. Г. Широкова, К вопросу о различии между литературным чешским языком и народно-разговорной речью, сб. «Славянская филология», вып. 2, [М.], 1954, стр. 6—14.

² И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1954, стр. 22.

культуру на необычайную высоту. Выдающимся произведением «Чешских братьев» является «Кралицкая библия», сыгравшая в дальнейшем большую роль в истории развития литературного чешского языка.

Однако после поражения чехов на Белой горе в 1620 г. Габсбургская династия, под власть которой перешла полностью вся Чехия, пыталась уничтожить политическую, экономическую и национальную независимость чешского народа.

В условиях национального угнетения, сочетающегося с тяжелейшим феодальным гнетом и полной экономической и политической зависимостью, шло резкое наступление на чешскую культуру, проводилась борьба с любыми формами проявления национальной самостоятельности (гонения против протестантов, против представителей различных братских кружков и корпораций). Школы, в которых учились чешскому языку, закрывались, а чешская литература беспощадно уничтожалась. Функции литературного чешского языка на протяжении последующих периодов значительно суживаются. В связи с денационализацией, онемечиванием чешского дворянства, духовенства и верхушки буржуазии разговорным языком этих социальных групп становится немецкий язык, который выступает в это время в качестве своеобразного социального жаргона. В функции научного языка восстанавливается латынь, а позже — немецкий и французский языки. Немецкий язык постепенно вытесняет чешский также в качестве официального и административного языка.

Хранителем и носителем чешского языка остается простой народ, развивающий свое творчество. Однако углубление местных, диалектных черт и окончательное оформление территориальных групп¹ не содействовало успешному взаимодействию диалектов с литературным языком. Письменный литературный язык этого периода, представленный незначительным количеством произведений (убогая литература религиозного содержания, предназначенная главным образом для сельского населения, и литература, созданная народом), характеризуется неустойчивостью грамматических норм и звукового строя, что объясняется влиянием диалектной речи на литературный язык, а также отсутствием должной разработки самих грамматических норм, незнанием авторами того времени законов чешской грамматики. Так, грамматика Росы (1672), написанная на латинском языке, но содержащая параллельный чешский текст, изобилует диалектными элементами, характерными для среднечешского наречия, и представляет все изменения, которые были к тому времени проведены в народном языке. Кроме того, в грамматике содержится ряд неверно образованных форм.

О непонимании законов развития чешского языка свидетельствуют и пуристические попытки ряда грамматистов. Так, на протяжении XVII—XVIII вв. блюстителями «чистоты» чешского языка велась борьба с заимствованными словами, в большом количестве проникшими в чешский язык. Представители этого пуристического направления В. Роса, А. Фроцип, Поль и Шимек вместо иностранных слов образовывали новые чешские слова, но делали это без достаточного знания законов чешской грамматики, без понимания закономерностей развития чешского языка. Стремление сделать свой родной язык более чешским нередко приводило их к произвольным, механическим словообразованиям, не соответствующим духу чешского языка. Так, например, Вузин (1700 г.) вводит слова *knihovtipník* вместо *student*, *měsicopis* вместо *kalendář* и даже *vonocit* вместо *nos*, так как последнее напоминало ему немецкое *Nase* и латинское *nasus*.

¹ См. В. Havránek, *Přehled vývoje českého jazyka s hlediska marxistického*, «Naše řeč», т. XXXV (1951), сеš. 5—6, стр. 90.

Поль и Шимек в своих грамматиках и сочинениях второй половины XVIII в. вводят *jezlin* вместо *talíř*, *letodník* вместо *kalendář* и т. д.¹

Упадок чешской культуры, литературы и языка зашел, таким образом, так далеко, что истинные защитники чешского языка потеряли надежду на его дальнейшее развитие и возможность его дальнейшего существования. Так, в 1790 г. известный чешский историк Пельцель писал: «...через 50 лет нам едва ли удастся найти чеха», а известный деятель Возрождения Иозеф Добровский писал в 1811 г. словенскому ученому Копитару: «дело нашего народа, если не поможет бог, совершенно безнадежно»².

3

Возрождение чешского языка, связанное с общим возрождением чешской культуры, началось не благодаря влиянию просветительных идей, распространявшихся из Франции, или же деятельности узкого круга лиц — представителей высшего общества, а было тесно связано с обострением классовых и национальных противоречий в Чехии в конце XVIII и в начале XIX в. Борьба за национальное возрождение, начавшаяся в связи с тем, что Чехия вступила на путь капиталистического развития, вылилась прежде всего в борьбу за национальный язык, за права родного языка во всех областях общественно-политической и культурной жизни, ибо «единство языка и беспримесное развитие есть одно из важнейших условий действительно свободного и широкого, соответствующего современному капитализму, торгового оборота, свободной и широкой группировки населения по всем отдельным классам, наконец — условие тесной связи рынка со всяким и каждым хозяином или хозяйчиком, продавцом и покупателем»³.

Развитие капитализма породило многочисленную буржуазию, которая активно включилась в национально-освободительную борьбу. Однако для понимания характера этой борьбы следует учитывать особенности государственного и политического положения чешских земель в составе Австрийской империи, приведшие к тому, что крупная промышленность находилась в руках немцев, а мелкая и средняя — в руках чехов. Поэтому «борьба началась и разгорелась, собственно, не между нациями в целом, а между господствующими классами командующих и оттесненных наций. Борьбу ведут обыкновенно или городская мелкая буржуазия угнетенной нации против крупной буржуазии командующей нации (чехи и немцы), или сельская буржуазия угнетенной нации против помещиков господствующей нации...»⁴.

Усилия передовой части буржуазной чешской интеллигенции, которая стояла во главе буржуазно-национального движения, были направлены прежде всего на возрождение родного языка, на возрождение национальной культуры, что получило отражение в ряде лингвистических, литературоведческих и исторических работ того времени.

Начало чешского Возрождения характеризуется прежде всего обращением к историческим памятникам прошлого, которые в это время усиленно издаются и переиздаются. Так, Ф. Прохазка и В. Дурих издали библию, образцом для которой послужил перевод Кралицкой библии — выдающегося произведения XVI в. Появление библии было встречено очень тепло. И. Юнгманн — один из крупнейших деятелей Возрождения — писал, что

¹ См. В. Наврának, *Vývoj spisovného jazyka českého*, «Československá vlastivěda», R. II, Praha, 1936, стр. 68.

² Hošák, *Nové československé dějiny*, Praha, 1947, стр. 380.

³ В. И. Ленин, *Соч.*, т. 20, стр. 368.

⁴ И. В. Сталин, *Соч.*, т. 2, стр. 305.

для того, кто не имеет Кралицкой библии, библия Прохазки в отношении языка вполне может заменить ее¹. Появляется ряд грамматик чешского языка (Томсы, Пельцеля и др.).

Подъему национальной культуры и укреплению национального самосознания чешского народа в высшей степени способствовало появление к концу XVIII и начале XIX в. различного рода национально-просветительных учреждений, обществ, кружков. В 1792 г. в Пражском университете открывается кафедра чешского языка, в 1798 г. был открыт постоянный немецкий пражский театр, в котором в определенные дни разрешалось ставить спектакли на чешском языке. На развитие чешской национальной культуры и пробуждение славянского самосознания оказали также влияние чешско-русские культурные связи.

Особенно плодотворной и значительной в первый период Возрождения оказалась деятельность патриарха славистики И. Добровского. Добровский, как и другие выдающиеся «будители», понял необходимость создания общенародного литературного языка как основной предпосылки для подъема чешской культуры и дальнейшего развития чешского народа. Но источником этого возрождения Добровский считал не современный народный чешский язык, а язык лучших произведений XVI в. — язык Кралицкой библии и произведений Д. А. Велеславина. Свою задачу И. Добровский видел в том, чтобы продолжить прерванное развитие литературного чешского языка, защитить его от позднейших изменений и новообразований, появившихся не только в грамматиках и словарях XVII—XVIII вв., но и в произведениях писателей-современников. Языку своего времени И. Добровский предписывает велеславинские языковые нормы, и любое отклонение от этой нормы он встречает в штыки. Поэтому И. Добровский горячо рекомендует чтение старых книг. Понимая при этом, что для изучения языка XVI в. недостаточно одного только чтения старых книг, желая облегчить изучение языка старшей поры и способствовать его распространению среди интеллигенции и широких слоев населения (для которых и предназначались литературные произведения, написанные на чешском языке), Добровский написал «Граматику чешского языка» («Ausführliches Lehrgebäude der Böhmisches Sprache»: 1-е Aufl. — 1809; 2-е Aufl. — 1819), образцом для которой послужил язык «классического периода» чешской литературы. Грамматика Добровского имела огромное значение для нормализации и узаконения грамматических норм литературного чешского языка.

В своей грамматике И. Добровский не только описал систему языковых норм XVI в., но и провел определенную работу по их унификации и упорядочению. Он вводит, например, старое различие деепричастий по числам и родам, отсутствовавшее в языке Кралицкой библии и в произведениях Я. А. Коменского, устраняет множество диалектизмов и новообразований, которые проникли в язык на протяжении XVII и XVIII вв. За существенными мужского и среднего рода в творительном падеже множественного числа и в некоторых других падежах снова закрепляются старые славянские окончания (ср. твор. падеж множественного числа *zuby, meči*), хотя в народном языке существовала уже совершенно определенная тенденция к их унификации, устанавливается различие полных прилагательных в именительном падеже множественного числа по родам, хотя в народном языке форма прилагательных среднего рода совпадает с женским родом; вводятся инфинитивы на *ti* и т. д.

С другой стороны, Добровский устраняет некоторые вышедшие из

¹ См. J. Jungmann, O různých českého písemního jazyka, «Časopis českého musea», т. 6 (1832), sv. 2, Praha, стр. 169.

употребления явления: он пишет одно *l* [в Кралицкой библии и в некоторых грамматиках периода Возрождения (Пельцеля) писалось два *l*: *l* и *ll*], ограничивает употребление форм двойственного числа и т. д. Добровский, по существу, создал первую научную грамматику чешского языка, в которой описал основные закономерности грамматической системы и осветил законы чешского словообразования.

Признавая положительное значение грамматики Добровского для создания прочной основы литературного чешского языка, следует в то же время подчеркнуть, что появление ее имело серьезные последствия: началось оживление языковых норм старшей поры, узаконение архаического чешского языка в качестве литературного, что обусловило огромный разрыв между нормами литературного чешского языка и народно-разговорной речи — разрыв, который не ликвидирован до настоящего времени.

Известный чешский лингвист В. Матезиус, говоря об основе литературного чешского языка, справедливо указывал: «Создатели нового литературного языка, к сожалению, не были так отважны, как 400 лет тому назад Гус, поэтому не исключили из него грамматических архаизмов. Новый литературный чешский язык стал, таким образом, самым архаическим членом почетной семьи славянских языков и трагически отделился от разговорного чешского языка»¹.

Тем не менее кодификация Добровского была принята и младшим и старшим поколением чешских «будителей», она ревностно охранялась и удерживалась в принципе на протяжении всего XIX в., что объяснялось, разумеется, не только огромным авторитетом Добровского, а более глубокими причинами. Как уже говорилось выше, чешский язык на протяжении почти двух столетий усиленно вытеснялся из всех сфер употребления. Он не был разговорным языком всех слоев населения, не был языком науки и культуры; постепенно он вытеснялся и как административный, официальный язык. В 1781 г. одним из симптомов окончательной ликвидации остатков политической самостоятельности чешских земель, входивших в состав Габсбургской монархии, было провозглашение немецкого языка в качестве государственного. Таким образом, чешский язык фактически на протяжении длительного времени, а официально с 1781 г. не был и государственным языком, что, естественно, вело к его упадку. Этим объясняется значительное колебание норм чешского литературного языка, представленного немногочисленными произведениями XVII—XVIII вв. Язык этих произведений содержит множество различных диалектизмов, характер которых зависел от того, носителем какого диалекта являлся автор. Разговорный язык простых слоев населения не соответствовал задачам культурного возрождения, которые были поставлены в этот период. Так, например, язык городского населения был настолько насыщен германизмами, что И. Юнгманн писал о том, что нельзя писать так, как говорят, так как «иначе такие чудовища, как *miti recht, jiti furt, byti auf, jiti aus* и т. п., к сожалению ежедневно слышимые, мы без колебания должны употреблять»².

Достаточно указать также, что первые деятели Возрождения, выступавшие в защиту чешского языка, писали на немецком или латинском языках.

Таким образом, становится понятным стремление иметь такой литературный язык, который отличался бы стабильностью грамматической струк-

¹ V. Mathesius, Problémy české kultury jazykové, сб. «Čeština a obecný jazykozpyt», Praha, 1947, стр. 442.

² J. Jungmann, Napominatel omylů v písemný jazyk československý se vluzujících, «Časopis českého musea», r. XVII (1843), sv. 2, стр. 408.

туры, мог бы стать языком науки и литературы и отличался бы от существующего разговорного языка богатством выразительных средств, который, наконец, можно было бы противопоставить господствующему немецкому языку. Этим и объясняется стремление опереться на культурные достижения своих предков, использовать высокую книжную культуру добелогорского периода, ибо с этим периодом связано представление о расцвете чешского языка и литературы, о национальной самобытности и независимости чешского народа.

В силу резких диалектных различий, вызванных к жизни эпохой феодальной раздробленности, в силу жестокого национального, политического и социального гнета ни один из диалектов не мог сыграть роли объединяющего диалекта, лечь в основу литературного чешского языка. Поэтому, чтобы избавить язык от неустойчивости, колебаний, диалектизмов, Добровский выступал против попыток приближения литературного языка к народному. Именно боязнь расшатать систему литературного языка не позволила Добровскому опереться на разговорный язык, несмотря на то, что в Средней Чехии к концу XVIII и началу XIX в., возможно, уже существовала обеснá čeština, хотя она еще и не была общенародным разговорным языком¹.

Нормализация и даже частичная архаизация литературного языка в первый период Возрождения была возможна и потому, что литературный чешский язык был в этот период исключительно книжным и отношение к нему со стороны теоретиков было научно-объективистским: к нему относились как к готовой, законченной системе, без учета тенденций его развития. Разговорной формы литературного чешского языка в этот период еще не было. Она возникла не раньше середины XIX в., когда литературный чешский язык начал проникать в различные сферы общественной и культурной жизни.

Вероятно, прав Ф. Копечный, который в своей интересной и свежей по постановке вопроса статье указывал, что разрыв между литературным чешским языком и народно-разговорной речью препятствовал появлению разговорной формы литературного языка². Но, несмотря на этот разрыв, кодификация И. Добровского была горячо принята и ревностно охранялась многими выдающимися деятелями Возрождения. Попытки приблизить литературный язык к диалектам, использовать элементы народной речи наталкивались на категорические протесты, так как образцом литературного языка с точки зрения звукового состава и грамматики (а для Добровского — и лексики) почти всеми признавался язык старой литературы.

Так, в 1832 г. в статье «О различии чешского литературного языка» Юнгманн писал: «Сочинения XVI в., а среди них на первом месте „Кралцкая библия“, национальная сокровищница нашего народа, должны считаться источником и законом для письменного языка в Чехии, в Моравии и в Уграх»³. Выступая против крайнего крыла реформаторов чешского языка, которые пытались ввести в литературный язык диалектные моравские элементы, Юнгманн в той же статье писал: «Если так пойдет и дальше, у нас будут книжки на пражском, домажлицком, краконошском, оломоуцком, турчанском и бог знает еще на каких наречиях»⁴.

Точку зрения Добровского и Юнгманна на памятники старшей поры как на основу литературного языка разделяли и другие выдающиеся

¹ J. Bělič, K otázce vzniku nové spisovné češtiny, «Slovo a slovesnost», r. XII (1950), č. 1, стр. 11.

² См. Ф. Копечный, указ. соч., стр. 16—17.

³ J. Jungmann, O různěhni českého písemního jazyka, стр. 169.

⁴ Там же, стр. 168.

деятели Возрождения, как, например, Палацкий или Эрбен, несмотря на то, что последний был прекрасным знатоком народного языка и народного творчества. С теми же, кто считал возможным использование в литературном языке элементов диалектной речи, вели борьбу не только Добровский, но и представители более поздних этапов Возрождения (ср. полемику Палацкого с Трнкой, выступавшим за сближение литературного языка с моравскими говорами)¹.

Однако для периода Возрождения было характерно не только любовное изучение литературного прошлого своей страны, но и обращение к народному творчеству чешского и других славянских народов, изучение истории языков и литератур этих народов. Все это в высшей степени способствовало росту национального самосознания чешского народа, укреплению его национальной культуры и идеи единства всех славян.

Выдвигая идею единства славянских народов, деятели чешского Возрождения неизменно обращали свои взоры в сторону России в надежде на помощь русского народа. Установлению тесных чешско-русских культурных связей этого периода способствовало не только изучение русского языка, переводы произведений русской и древнерусской литературы², но и личные связи чешских и русских ученых, установленные ими во время посещения Чехии и России и оказавшие благотворное влияние на развитие чешской национальной культуры. Потребность создания национальной литературы находит выражение в тесной связи со славянскими литературами, в собирании и обработке произведений народного творчества.

4

Изменения социального, экономического и политического характера, развитие науки и техники, интенсивная переводческая деятельность, завоевание литературным языком новых областей культурной жизни, литературы и поэзии рождает потребность в новых словах, понятиях, терминах. Чешскому языку становится тесны рамки языка XVI в., которые не отвечают запросам нового времени. Поэтому новое поколение чешских «будителей» во главе с Юнгманном выдвигает задачу не только возрождения, но и обогащения словарного состава чешского языка.

И. Добровский возможными источниками лексического обогащения языка считал обновление устаревших слов, заимствование слов из других славянских языков и народной речи; при этом он резко выступал против новообразований. Юнгманн и его ученики шли дальше Добровского. Своеобразно различая в языке форму и содержание, они понимали под формой звуковую строй и грамматическую структуру, под содержанием — лексико-семантическую сторону слов. Форма в языке должна была оставаться, по их мнению, неизменной, в связи с чем юнгманновцы не считают нужным отступать от фонетических и грамматических норм, установленных Добровским, но содержание должно развиваться и изменяться в зависимости от конкретных задач развития языка³. Поэтому Юнгманн считал, что источниками обогащения чешского языка могут быть: 1) памятники древнейшей литературы (XVI в.); 2) чешские диалекты и народный язык, который недостаточно известен писателям и недостаточно оденен ими; 3) произведения новейших писателей, к языку которых, впрочем, Юнгманн рекомендовал относиться очень осторожно, так как эти произ-

¹ См. F. Palacký, O českém jazyku spisovném, «Časopis českého musea», г. 6 (1832), sv. 3, стр. 352—373.

² Имеются в виду переводы произведений Пушкина, Кольцова, Батюшкова, Жуковского, а также перевод «Слова о полку Игореве», сделанный И. Юнгманном.

³ См. A. Jedlička, Josef Jungmann a obrozenská terminologie literárně vědná a linguistická, Praha, 1948.

ведения являются рассадником множества ошибок; 4) другие славянские языки и диалекты; среди последних Юнгманн отмечает моравские и словацкие; 5) дословный перевод с других языков (калькирование), если это не противоречит духу чешского языка; 6) создание новых слов путем словосложения или при помощи словообразования.

Стремление к обогащению чешского языка Юнгманн реализовал в своей обширной практической деятельности: при переводах иностранной литературы и при составлении пятитомного словаря («*Slovník českoněmecký*», 1835—1839). Этот словарь явился ценным практическим руководством, так как не только охватывал словарный запас языка, но, определяя закономерности словообразования и регулируя выбор слов и выражений, положил конец индивидуальному, а иногда и произвольному словообразованию. Опираясь в своем словотворчестве на закономерности словообразования, указанные еще Добровским, деятели юнгманновской генерации создали новую научную терминологию: литературоведческую (ею занимался сам Юнгманн), естественную, математическую, философскую и эстетическую (ими занимался Палацкий). Было создано большое количество специальных терминов. Многие слова, заимствованные из иностранных языков (главным образом немецкого), были в этот период заменены собственно чешскими (ср. *mord* — *vražda*, *grunt* — *základ*, *handl*—*obchod*, *plac* — *místo* и т. д.).

Множество новых слов было создано в целях развития синонимии (ср. у Юнгманна: *chmara* — *mrak*, *ohromný* — *veliký*). Многие древнечешские слова в этот период были обновлены, возрождены. Большое количество слов было заимствовано из русского языка и из других славянских языков. Так, в этот период из русского языка были заимствованы следующие слова: *přiroda*, *bodrý*, *nutný*, *obzor*, *dějství*, *nápěv*, *vzduch*, *nářecí* и др.

Особенно большое внимание в этот период уделялось образованию специальной, научной терминологии, в результате чего позже появились два терминологических словаря: один вышел в 1851 г. под редакцией Эрбена, другой — в 1853 г. под редакцией Шафарика.

Но стремления Юнгманна и его последователей к обогащению словарного состава литературного языка не получили всеобщей поддержки. Образовалась оппозиция во главе с Я. Неедлым, Гневковским и Я. Пальковичем (так называемые «старомильцы»), которые считали, что язык произведений XVI в. представляет вполне надежную основу для дальнейшего развития чешского языка. Борьба по вопросам лексического обогащения языка, словообразования, а затем и правописания получает отражение в печати: возникает полемика на страницах журналов — сначала журнала «Крок», а затем «Журнала чешского музея». Победили в конце концов «новомильцы», т. е. направление Юнгманна, как наиболее тесно связанное с потребностями современной жизни. Статьи Юнгманна и Палацкого являются определяющими в понимании языковой культуры первой половины XIX в.

Однако следует при этом иметь в виду, что юнгманновцы в своем словотворчестве не всегда учитывали требование общепонятности слов. Язык их произведений, переполненный новыми словами, язык поддельных рукописей Ганки, огромный археологический и культурно-исторический инвентарь Коллара — все это не находилось в достаточном контакте с конкретными потребностями жизни¹. Слишком быстрый рост числа слов, недостаточная их употребительность и устойчивость привели к тому, что жизнь многих новых слов была недолговечна; они довольно быстро исчезли из обихода.

¹ См. F. Vodička, *Vztah obrozenské literatury k literárnímu dědictví*, «*Studie a práce lingvistické*», I, Praha, 1954, стр. 452.

Первая половина XIX в. имела исключительно важное значение для создания основы литературного чешского языка. Она характеризуется бурным ростом словарного состава этого языка, стабилизацией, а в деталях и архаизацией (даже по сравнению с Добровским) фонетической и морфологической его системы. Так, фонетическая система все больше стабилизируется в соответствии со старыми нормами: не допускается *v* перед начальным *o* (*von*), *i* вытесняется звуком *ě* (*mléko* вместо *mlíko*), во флексиях почти всюду появляется *ý* вместо *ej* (*dobrý* вместо *dobrej*) и *é* вместо *ý* (*dobrého* вместо *dobrý ho*), *ej* (*tý*) сохраняется в некоторых случаях лишь внутри слов (*bejval*). В грамматике часто употребляются, особенно в поэтическом языке, такие формы, которые даже Добровский считал устаревшими: *dadí* вместо *dají* (3-е лицо мн. числа), устаревшие формы деепричастий на *-eci* (*slyšeci*). В поэзии получают распространение краткие формы прилагательных в атрибутивной функции: *z černá lesa*, *z kamenná srdce*, *stíny modrá nebe* (Марек, Челаковский, Маха). Иногда даже употребляются формы аориста и имперфекта¹.

В области синтаксиса и стилистики первой половины XIX в. следует отметить: сложные периоды, обилие партиципных конструкций, постановку глагола и возвратного компонента на конце предложения, наличие определения за определяемым словом, употребление типичных для латинского языка конструкций именительного и винительного с инфинитивом (*vidím se seděti*, *ukázala se povolnou bjti*), безличного пассива (*mluveno se*) и т. д.

Все указанные особенности, представленные в произведениях Палацкого, Юнгманна, Коллара и др., являются продолжением традиций литературного языка XVI—XVII вв. (см. произведения Я. А. Коменского, Велеславина и чешских братьев).

Однако уже в 30—40-е годы XIX в. наблюдается значительное расширение сфер применения чешского языка, который выступает уже как средство общения и взаимного понимания, как необходимый компонент в образовании чешской нации, нового чешского общества.

Так как чешский язык не мог распространяться через школу, проводником воспитательной языковой политики были прежде всего журналы, научная и художественная литература, читательские «беседы» и кружки. Большую роль в распространении чешского языка, особенно в его разговорной форме, играл чешский театр, который был школой языка, так как о повседневных сторонах жизни в нем говорилось по-чешски. Большая заслуга в этом принадлежит писателю и драматургу Тылу, который писал: «Говорите, пойте, декламируйте, танцуйте по-чешски»². Требование «понятности» чешского языка, выдвигаемое в это время, несомненно, было связано с его демократизацией, вытеснением из него книжных элементов и проникновением народных; оно было связано со стремлением к естественности, простоте и непринужденности при выборе языковых средств.

Отражение указанных требований можно найти прежде всего в произведениях Тыла. Именно к этому периоду относятся зародыши разговорной формы литературного языка, нормы которой были еще весьма неустойчивы и значительно отличались от архаической кодификации Добровского. Следует отметить, что единый литературный чешский язык создавался медленно и постепенно. Живая языковая практика еще долгое время находилась в отрыве от установленных кодификацией Добровского норм, так как писатели, адресующие свои произведения народу, писали на языке, близком и понятном народу (Тыл, Немцова и др.).

¹ См. В. Navránek, *Vývoj spisovného jazyka českého*, стр. 96.

² См. Jedlička, *K otázce jazykové kultury v třicátých a čtyřicátých letech XIX století*, «*Studie a práce lingvistické*», I, стр. 461.

К середине XIX в. предпосылки для успешного национального развития Чехии становятся еще более определенными. Богатый событиями 1848 г. открывает новую страницу в истории Чехии, страницу политической борьбы сначала за национальную автономию, а позже — за полную национальную самостоятельность чешского народа. 1848 г. принес изменения в политической и социальной жизни Чехии: отмену барщины и других феодальных повинностей, ликвидацию ряда привилегий чешского дворянства, усиление развития капитализма. Особенности развития капитализма, определявшиеся сосредоточением крупной промышленности в руках немцев, а мелкой и средней — в руках чехов, экономическим и политическим господством немцев во всех областях, вызвали ожесточенную борьбу чешской буржуазии против немецкой; борьба эта носила характер национально-освободительной борьбы, перераставшей в политическую¹.

Указанные обстоятельства не могли не отразиться на дальнейшей судьбе чешского языка и литературы. В 1849 г. была открыта первая чешская школа; чешский язык и чешская литература были введены как учебные предметы в некоторых средних школах. С 1866 г. обучение в школах начинает производиться на чешском языке. Были открыты народные школы и введено обязательное обучение (в некоторых школах с 1848—1849 гг.). Открываются высшие технические учебные заведения. В 1882 г. Пражский университет был разделен на две части: чешскую и немецкую, что оказалось весьма благотворным для развития, изучения и научной обработки чешского языка. Широко развертывает свою деятельность Академия наук.

Национально-политическая борьба, вызвавшая общий подъем чешской культуры, дает толчок развитию чешской публицистики и журналистики. Функции чешского языка начинают расширяться, чешский язык постепенно отвоевывает себе все новые и новые области: проникает в школу, в учреждения, в общественную жизнь. Литературный чешский язык перестает быть привилегией писателей и просветителей, языком только художественной и научной литературы, он становится языком общения, начинает обслуживать все общество. Этому в высшей степени способствовало введение всеобщего обучения и бурное развитие литературы, особенно публицистической, трактующей различные вопросы хозяйственной, политической и культурной жизни и обращенной к широким слоям городского и сельского населения.

В связи с этим с середины XIX в. литературный чешский язык в произведениях наиболее передовых, связанных с народом писателей освобождается от книжного архаического словаря и фразеологии; сложный синтаксис «классического» периода уступает в них место простым и ясным предложениям, более близким живой речи широких народных масс. Стремление к ясности, простоте, освобождение от искусственности, т. е. в конечном счете демократизация языка, становятся все более насущными требованиями этого периода. В связи с проникновением литературного чешского языка в различные сферы общественной жизни, в связи с его демократизацией рождается разговорная форма, которая является как бы связующим звеном между литературным чешским языком и народно-разговорной речью, очертания которой как наддиалектного образования уже вырисовываются в это время.

Разговорная форма чешского литературного языка рождается, вероятно, первоначально в пражском центре, в довольно узком кругу, еще до 1850 г. и получает свое дальнейшее развитие по мере демократизации литературного языка и расширения его функций². Развиваясь, она на-

¹ См. И. И. Удальцов, 1848 год в Чехии, в кн.: «История Чехии», под ред. акад. В. И. Пичета, Госполитиздат, 1947.

² См. J. Vělič, указ. соч., стр. 14.

чинает оказывать в свою очередь влияние на письменный литературный язык, что сказывается прежде всего на синтаксисе, лексике и фразеологии.

На дальнейшее развитие чешского языка оказало влияние и то обстоятельство, что чешская интеллигенция, стремившаяся к пробуждению национальных идей в чешском народе, сильно пополняется в это время за счет выходцев из среды сельского населения, которое потянулось в города. Под влиянием этих слоев интеллигенции общественная и культурная жизнь Чехии приобретает более демократический характер. Важно и то, что деятели науки и культуры этого времени сами одновременно являлись носителями живой разговорной речи.

Все это находит выражение в языке публицистических и художественных произведений лучших и наиболее прогрессивных писателей, публицистов и общественных деятелей того времени. Начало этих процессов относится, несомненно, еще ко времени до 1850 г. Так, язык сочинений К. Тыла уже более близок к живому языку своего времени, чем язык его предшественников и современников. Но настоящим рубежом в этом отношении являются произведения Б. Немцовой (особенно ее «Бабушка», 1855 г.), которую Ю. Фучик справедливо называет революционеркой слова, так как язык ее произведений, свободный от всего искусственного и надуманного, полностью опирается на народную речь¹.

Следует сказать, что сближение норм литературного языка с разговорным выражалось не только в использовании элементов народной речи, но и прежде всего — в отходе от архаизмов предшествующей эпохи. Характерными в этом отношении являются публицистические произведения К. Гавличка-Боровского, язык которого выгодно отличается отсутствием архаизмов от языка его современников (например, Ф. Палацкого). Вместе с тем в языке Гавличка-Боровского наблюдается использование элементов разговорного языка, свободного от вульгаризмов, германизмов и просторечных элементов, которыми была переполнена пражская разговорная речь этого периода.

Говоря о сближении литературного языка с разговорным, следует упомянуть и о Яне Неруде, язык произведений которого характеризуется умелым соединением средств литературного языка с естественной легкостью и простотой разговорной речи. Чешский критик Ф. Шальда очень образно сказал о Неруде, что тот имел страшное мужество взять слова с улицы, немытые и нечесанные, такие, какими он их захватил, и сделать из них послов вечности.

Прогрессивные писатели середины XIX в. черпали демократические элементы своего языка из разных источников [ср. элементы языка сельского населения у Немцовой или городского (пражского арга) у Неруды], но всех их объединяет то, что они освободили язык от тяжеловесности, архаичности, искусственности, приблизили его к живой народной речи, а тем самым к потребностям реальной жизни общества. В произведениях Тыла, Гавличка, Немцовой, Неруды и др. уже определяются основы современного литературного языка. Позже эту линию развития продолжили представители передовой чешской литературы, такие, как А. Ирасек, С. И. Нейман, И. Ольбрахт, М. Майерова, И. Волькер и др.

Но литературный язык этого периода, лексически и синтаксически близкий народному языку, не отличался стабильностью звуковой и грамматической системы. В употреблении тех или иных звуковых или грамматических форм были представлены колебания: *y(i) — ej* (*prý — prej, výskal — vejskal*), *ú* и *ou* в начале слов (*úplný — ouplný*), колебания в ко-

¹ J. Fučík, Božena Němcová bojující, сб. «Tři studie...», Praha, 1947.

личестве (*uhel—úhel, usta—ústa*); в области форм) (*abychom—abychme—abyšme, řici—řict, džkuju—džkují*)¹.

Указанные колебания являются свидетельством того, что практически литературный язык не имел еще единой, установившейся нормы. Во всяком случае эта последняя значительно отличалась от нормы, предписываемой теоретическими пособиями по языку.

Таким образом, вторая половина XIX в. является периодом становления и развития разговорной формы литературного языка, сближения письменного литературного языка с народным, разговорным, появления нового типа литературного языка.

Изменения в экономической и политической жизни страны, быстрое развитие науки и техники не могли не отразиться на изменении словарного состава языка. Интенсивное словообразование, развитие фразеологии и терминологии в связи с новыми потребностями жизни, большое количество заимствований, производимых без достаточного контроля и теоретических оснований,— все это вызвало среди теоретиков чешского языка тревогу и опасения за дальнейшее развитие родного языка. В 1870 г. в обращении «Чешской матицы» читаем: «для того, кто внимательно следит за развитием нашей литературы и языка в последние десятилетия, не может быть тайной, что хотя письменность чешская отличается от предшествующего периода множеством разнообразных плодов, язык наш все больше утрачивает первоначальный характер... есть все основания опасаться, что настоящий чешский дух в нем окончательно исчезнет и останется только пустой звук».

Ревнителю «первоначальной чистоты» чешского языка выступили за его очищение от заимствований, новообразований и пр. Начали появляться «Брусы» — специальные пособия, в которых обращалось внимание на неправильное значение, употребление отдельных форм слов и выражений, вместо которых предлагались «правильные». Первые «Брусы» были неудачны, но затем дело «исправления» чешского языка взяла в свои руки специальная комиссия, созданная при «Чешской матице». Деятельность этой комиссии была направлена на создание пособий (т. е. тех же «Брусов») по чешскому языку, которые могли бы служить руководством практического характера. Первое издание этих «Брусов» вышло в 1877 г., второе — в 1881 г., третье — измененное и дополненное — в 1894 г.

Определяющим для деятельности «брусичей» было признание того, что современный им литературный чешский язык находится в состоянии глубокого упадка.

В обращении к чешским писателям в предисловии к 1-му и 2-му изданиям «Брусов» читаем: «Наши писатели при существующей организации школ... получили недостаточное знание своего языка... Они переливают чужие мысли в наш язык чужими оборотами, которые противоречат духу чешского языка». В связи с этим выдвигались принципы «исторической чистоты» и «прямолинейной правильности», которые привели к тому, что мерилом языковой правильности современного языка были объявлены: 1) литературный язык старшей поры, которым были написаны произведения XVI и XVII в.; 2) народные диалекты и другие славянские языки, которые признавались источником познания и пополнения современного чешского языка. Последнего направления придерживался моравский лингвист Бартош, который считал, что первоначальное, ничем не нарушенное наречие сохранилось только в народе.

¹ «Učebnice jazyka českého pro IV. třídu gymnasií a vyšších odborných škol», Praha, 1953, стр. 30—31.

«Брусы» содержали 2 части: морфологическую и фразеологическую. Во фразеологической части мы находим попытку внедрить слова и обороты, взятые из старого языка и из словаря Юнгманна. Комиссия отбирала также различные обороты из народных говоров, но проводилось это в более ограниченных масштабах. Морфологическая часть, несмотря на представленные в ней архаизмы, все-таки способствовала некоторой стабилизации грамматических норм рассматриваемого периода. В целом же консервативная, реакционная точка зрения, проводимая в «Брусах», отрицательно сказалась на сближении литературного языка с его разговорной формой. «Была надежда, — пишет В. Матезиус, — что и разговорный язык начнет влиять на литературный и что в результате этого уменьшится опасный разрыв между ними, который возник вследствие архаизации литературного языка. Но тут вдруг началось злополучное вмешательство чешских пуристов»¹.

Действительно, противопоставляя существующей языковой норме якобы ничем не нарушенную норму языка старой литературы и искусственно обработанную народную речь эпохи феодализма, отказываясь от употребления иностранных слов вообще, «брусичей» не учитывали потребностей языкового развития, в конечном счете выступали против тех завоеваний, которых добилась чешская буржуазия за минувшее столетие, не учитывали силы сопротивления национального языка, не поняли основных тенденций его развития. В результате потребности развития современного языка расходились с его теоретической обработкой.

Поэтому литературные школы данного периода мало обращали внимания на призывы к соблюдению традиционной чистоты языка, принимая «Брусы» с таким же недоверием, с каким «брусичей» относились к их языку. Во многих случаях усилия «брусичей» не принесли никаких результатов, так как изгоняемые ими слова и обороты до сих пор живут в языке.

Языковая практика, развитие чешского языка шли помимо «Брусов», авторитет которых померк уже в 80-е годы. Чешские писатели, журналисты не придерживались рекомендованных «Брусами» норм. Литературный чешский язык этого периода поэтому не отличается стабильностью; языковые нормы были сильно расшатаны.

Выступление в конце XIX в. известного филолога и лингвиста Я. Гебауера сыграло большую роль в истории нормализации и научной обработки чешского языка. В своей монументальной исторической грамматике (J. Gebauer «Historická mluvnice jazyka českého», d. I—III, 1894—1898), а также в своих школьных и практических грамматиках («Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské», «Příruční mluvnice jazyka českého pro učitele a studium soukromé») Гебауер поставил на научную историческую основу фонетику и морфологию чешского языка. Его работы — это, по существу, первая попытка пересмотреть кодификацию литературного языка после И. Добровского. Однако деятельность Гебауера не приблизила языковую теорию к языковой практике. Интерес Гебауера к истории языка, а также стремление избавить чешский язык от колебаний определили то, что описанная им норма литературного языка (особенно в области фонетики и морфологии) была довольно архаической; диалектизмы и народно-разговорные элементы в грамматике устранялись; некоторые архаизмы узаконивались. В принципе Гебауер не отошел от Добровского; проведенная им нормализация фонетики, грамматики, синтаксиса и даже орфоэпии касалась лишь деталей.

Тем не менее работы Гебауера, как в свое время и работы Добровского, имели огромное влияние на современников и надолго определили их линг-

¹ V. Mathesius, указ. соч., стр. 443.

вистическую практику. Эти работы были исходными при выработке правил чешского языка, вышедших в 1902 г. с предисловием Гебауера: «Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví». Хотя в предисловии к «Правилам» нет жалоб на упадок языка, в них определяются принципы нормализации литературного языка, допускаются даже параллельные формы и колебания, но в самих «Правилах» представлено бесспорное стремление к архаизмам, которые своим появлением обязаны не только интересам Гебауера к историческим исследованиям, но и тем, что среди его помощников были ярые пуристы. Пуристические тенденции «Правил» в дальнейшем еще больше усилились: были устранены допускаемые ранее колебания и увеличено количество архаизмов.

Таким образом, теоретические работы по языку, появившиеся во второй половине XIX в., хотя и сыграли некоторую положительную роль в нормализации грамматики чешского языка, но своим стремлением сохранить «первоначальный дух» и «традиционную чистоту» способствовали не только консервации литературного чешского языка, но и его архаизации, в связи с чем углубился тот разрыв между письменным литературным языком и разговорной речью, который в силу исторических условий развития чешского языка возник в конце XVIII — начале XIX в.

Пуризм в чешской лингвистике снова усилился во время первой мировой войны. Представители пуристического направления сосредоточили свою деятельность в журнале «Наша речь» («*Naše řeč*»), который начал выходить в конце 1916 г. Отрицательное отношение к живым тенденциям развития современного литературного языка в послевоенный период, в связи с расширением функций литературного чешского языка, возросло еще больше. Поэтому журнал «Наша речь» в отношении к языку продолжал линию «Брусом» на сохранение норм старого книжного языка. Стремясь сохранить чистоту языка, а тем самым и национальную индивидуальность, «Наша речь» хотя и не вводила уже в литературный язык архаизмы и диалектизмы, но препятствовала введению новых слов и оборотов, хотела очистить язык от иностранных слов и заменить их чешскими. Произведения современных писателей считались ненадежным источником познания языка, ибо, как говорил И. Зубатый, этот язык из-за неблагоприятных исторических условий вырос без надежной исторической традиции¹.

В это же время возникает новая точка зрения. Известный чешский ученый Эртль в статье «Хороший автор» впервые заговорил о том, что источником познания современного языка может быть язык современных писателей, язык «хорошего» автора. Таким автором, по мнению Эртля, может быть тот, кто никогда не нарушал и не нарушает норму, которую находим у авторов абсолютно хороших, т. е. у большего числа выдающихся писателей². Теория «хорошего автора» Эртля является первым проблеском доверия к нормам современного языка.

Переработка грамматики Гебауера, проведенная Эртлем, отразила его теоретические позиции. Ряд примеров из старого чешского языка он заменил примерами из современных писателей. Однако после смерти Эртля и Зубатого, когда ответственным редактором «Нашей речи» становится Галлер (1930), журнал начинает проводить линию воинствующего пуризма. Назначение теоретика-лингвиста Галлер видел в том, чтобы внедрить старую языковую кодификацию в писательскую практику. Поэтому «Наша речь» не переставала поучать писателей и современников в этом направлении, подвергая разбору их произведения с точки зрения правильности языка. Многие чешские писатели, увидев в этом опасность для развития

¹ J. Z u b a t ý, O úpadku našeho knižního jazyka, «*Naše řeč*», r. IV (1920), č. 1, стр. 1—9.

² V. E r t l, Dobrý autor, «*Národní listy*», Praha, 1927.

языка и литературы, резко выступили против деятельности «Нашей речи». Так, один из лучших художников слова, известный чешский писатель И. Ольбрахт, в своей статье «Языковое смятение» (1931 г.), осуждая позицию «Нашей речи», где был, в частности, проведен разбор книги Фишера, писал о том, что чешский поэт, драматург, писатель, переводчик, журналист, доктор философии, университетский профессор, филолог по призванию, Фишер сделал в своей книге «Душа и слово» более двухсот орфографических, синтаксических, грамматических и пр. ошибок. «Почешки не умеют правильно писать не только такие писатели, как Неруда, Гавличек, Чех, Райс, Ирасек, как это бесповоротно в 9-м и 10-м номерах прошлого года доказала „Наша речь“, но по-чешски не умеют писать ни университетские профессора, ни молодые филологи, как это показано разбором книги О. Фишера. Кто же в Чехии знает чешский язык?»¹. Далее Ольбрахт пишет:

«Очевидно, что правильно по-чешски умеют писать только редакторы „Нашей речи“. Но разве язык, который знает всего несколько человек, это живой язык? Это еще чешский язык? Если так, то к чорту его! Это какой-то мертвый балтийский язык, это старопрусский язык, который знает хорошо только господин профессор Эндзелин, а кроме него — еще около 6 человек»².

Приведенная цитата красноречиво свидетельствует о том, в каком противоречии находились языковая теория и языковая практика. К протесту писателей (Фишер, Эйсер, Ольбрахт, Ванчура и др.) присоединился давно уже назревавший протест чешских лингвистов, филологов. В 1932 г. в полемику о культуре чешского языка включились представители пражского лингвистического кружка: Матезиус, Гавранек, Мукаржовский, Якобсон, Вейнгарт. Сформулированные ими принципы понимания языка они изложили в своих «Тезисах» еще в 1929 г. на международном съезде славистов в Праге. В начале 1932 г. ими был организован цикл лекций, посвященных вопросам языковой культуры, и в том же году выпущен в свет сборник «Литературный язык и языковая культура»³.

Представители пражского лингвистического кружка исходили в своей практике из следующих принципов: 1) последовательная синхрония, т. е. изучение норм современного литературного языка, причем нормы эти нельзя искать ни в произведении старшей поры, ни в народной речи. Источником познания современного литературного языка могут служить произведения литературы за последние 50 лет, с учетом произведений и таких писателей, которые закладывали основу литературного языка (Тыл, Немцова, Гавличек); 2) функциональная точка зрения: строгое различие задач, которые поставлены перед языком, различными его аспектами и проявлениями (норму литературного языка нельзя рассматривать с точки зрения диалектной нормы, так как перед литературным языком и диалектом стоят совершенно различные задачи); 3) структуральное понимание языка, т. е. понимание языка как системы.

Исходя из этих принципов, представители пражского лингвистического кружка отрицают пуристический тезис об упадке литературного языка, выступают против принципов «исторической чистоты» и «прямолинейной правильности». Выдвигая требование стабильности языковой нормы литературного чешского языка, структуралисты отказывались постигать современную языковую систему с точки зрения прошлого, ибо с этой точки зрения современный язык содержит много неправильностей, представляет упадок.

¹ J. Olbracht, O jazyce a literatuře, Praha, 1953, стр. 12.

² Там же, стр. 13.

³ «Spisovná čeština a jazyková kultura», Praha, 1932.

На определенном этапе требование структуралистов о синхронном изучении языка сыграло, безусловно, положительную роль. Смолкли жалобы на всеобщий удачок литературного языка. В новых «Правилах чешского правописания» 1941 г. уже были выброшены архаические неологизмы, исторический пуризм во многом был регламентирован, была сделана попытка опереться на живой литературный язык. В «Правилах» допускаются уже параллельные формы в случае отсутствия стабильности в употреблении тех или иных слов. В морфологии выступает совершенно определенная тенденция к закреплению форм, общих с живым разговорным языком; в синтаксисе — отход от сложных периодов, характерных для периода Возрождения. «Правила», выпущенные в 1946 г. и в 1948 г., содержат лишь незначительные изменения по сравнению с изданием 1941 г. Таким образом, деятельность членов пражского лингвистического кружка способствовала сближению языковой практики и языковой теории, делала более возможным сближение архаической формы письменного литературного языка с его разговорной формой.

Однако принципы пражского лингвистического кружка, проводимые в теоретических работах членов этого кружка, с точки зрения современного марксистского языкознания страдают рядом пороков и недостатков. Требование синхронного, статического изучения языка в сочетании с функциональной точкой зрения, согласно которой язык, языковые средства, различные языковые проявления рассматриваются и оцениваются с точки зрения выполняемых ими задач (функций), не позволяло пражским структуралистам правильно понять взаимоотношение языка и мышления, связь языка с историей общества, сделало невозможным для структуралистов установление закономерностей языкового развития, выявление исторических причин и путей развития языка. Идеалистическим является также признание автономности развития литературного и особенно поэтического языка, нашедшее свое выражение, в частности, и в очень богатой фактическими данными, широкими обобщениями и глубоким анализом конкретного материала «Истории литературного языка» Б. Гавранека, где читаем: «...литературный язык имеет свое автономное развитие и свою автономную систему, которая не покрывается, да и не может покрываться в своих тенденциях системой какого-либо наречия»¹. Признание автономности литературного языка находится в противоречии с положением о том, что язык — это общественное явление, что он живет и развивается вместе с развитием общества. Признание особых закономерностей развития поэтического языка, так привлекавшего внимание чешских структуралистов, позволило им прийти к убеждению, что язык художественной литературы имеет право на деформацию, которая будто бы выполняет особую функцию, но которая в действительности приводила к разрушению его норм.

Подчеркивание функционального использования тех или иных языковых средств, исключительности употребления тех или иных выражений в различных областях языкового общения, признание особых закономерностей, автономного развития различных пластов языка приводило к тому, что язык как единый, общий переставал существовать: переставала ощущаться органическая связь составляющих его частей, терялись внутренние закономерности развития, свойственные всему языку в целом.

Возвращаясь к вопросу о существующем до сих пор разрыве между литературным письменным языком и его разговорной формой, с одной стороны, между литературным языком в целом и его народно-разговор-

¹ В. Havránek, Vývoj spisovného jazyka českého, стр. 138. Позднее В. Гавранек отошел от указанной точки зрения. См. его статью «Přehled vývoje českého jazyka s hlediska marxistického» и ряд других статей.

ной речью, с другой, можно сказать, что разрыв этот не мог быть ликвидирован в условиях капитализма. Причины этого заключались в следующем: сложный путь формирования национального чешского языка в условиях ожесточенной борьбы с языком господствующей нации, наличие латинского языка как языка церкви, а на протяжении многих столетий и языка науки, господствующее положение немецкого языка как государственного, официально-канцелярского и разговорного (для определенной части населения), противоречия, заложенные в самой системе капитализма (невозможность равномерного распространения грамотности и культуры, неравномерная нивелировка местных диалектов), ограниченность буржуазно-национального движения, дававшая себя знать в специфических уклонах языковой политики (идеализация исторического прошлого, стремление «законсервировать» литературный язык старшей поры, отгородить его от влияния народно-разговорной речи), — все это стимулировало и поддерживало большое расхождение между нормами письменного языка и устной речи.

Говоря о перспективах дальнейшего развития чешского литературного языка, можно предположить, что развитие это пойдет по линии уничтожения противоречия между письменным литературным языком и народно-разговорной речью. Подобные тенденции наметились еще в середине XIX в. и нашли отражение в произведениях наиболее талантливых и прогрессивных чешских писателей, они развивались по мере расширения функций чешского литературного языка.

Усиление влияния литературного чешского языка на диалекты, приводящее к нивелировке этих последних, сближение с разговорной формой литературного языка и народно-разговорной речью — вот единственно плодотворная основа развития и обогащения литературного чешского языка.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Т. И. ГРУНИН

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

(На материалах турецкого языка)

1

Проблема классификации словаря тюркских языков по частям речи лишь в последнее время вызвала заслуженный интерес в кругах тюркологов СССР. Однако специальных работ по вопросу о частях речи в тюркских языках появилось весьма мало. Судя по обзорной статье Э. В. Севортыяна, эта проблема как будто не разрабатывалась даже в качестве диссертационных тем аспирантами и докторантами, работающими в области тюркологии¹.

Конечно, все авторы грамматик тюркских языков в той или иной мере касаются проблемы частей речи в тюркских языках, но всюду наблюдается тенденция разрешить ее с позиции русского языка и тем самым облегчить понимание строя языка русскими читателями. Своеобразную, хотя и известную уже науке точку зрения высказал Г. Д. Санжеев в своей статье «К проблеме частей речи в алтайских языках»², где автор стремится разрешить вопрос о частях речи в алтайских языках, включая и тюркские, с учетом специфики строя этих языков.

Этой проблеме были посвящены доклады Э. В. Севортыяна и Н. А. Баскакова, зачитанные ими в июне 1954 г. на расширенном заседании Ученого совета Института языкознания АН СССР, посвященном дискуссии о проблеме частей речи в языках разных типов³. Хотя вопрос о частях речи в тюркских языках в этих докладах и не был разрешен, все же в них были вскрыты основные ошибки в методологических приемах при изучении этой проблемы и сделаны попытки выдвинуть новые критерии распределения словаря тюркских языков по частям речи. Однако попытки эти не привели к единому мнению хотя бы о том, что считать критерием для определения категории прилагательных в тюркских языках. Можно ли, например, форму слова считать решающим критерием при отнесении его к категории прилагательных или же этот признак только помогает разрешению вопроса.

¹ См. Э. В. Севортыян, Советская тюркология в последискуссионные годы, ИАН ОЛЯ, 1953, вып. 6. Э. В. Севортыян почему-то не упомянул о таких кандидатских диссертациях, как «Категория имени прилагательного в современном казахском языке» Дж. Чекенова (Алма-Ата, 1953) и «Имя прилагательное в современном киргизском языке» Б. Д. Уметалиевой (М., 1953).

² ВЯ, 1952, № 6.

³ См. «Тезисы докладов на открытом расширенном заседании Ученого совета [Ин-та языкознания АН СССР], посвященном дискуссии о проблеме частей речи в языках разных типов, 28—30 июня 1954 г.», М., 1954.

Некоторые тюркологи полагают, что в современных тюркских языках наметилась тенденция к возникновению имен прилагательных, отличающихся от прочих частей речи формальными признаками, т. е. наличием специальных аффиксов, дающих возможность рассматривать эти слова как имена прилагательные. При этом имеют в виду не те исконно существующие в тюркских языках аффиксы, посредством которых образуются слова, имеющие в какой-то мере сходство с именами прилагательными, например, русского языка, а новые, заимствованные из других языков. К числу таких аффиксов относят, например, аффиксы *-аль*, *-ик*, *-ион* в словах *социаль* «социальный», *астрономик* «астрономический», *информацион* «информационный» и т. п., широко используемые тюркоязычными народами СССР. Однако в отношении слов *социаль*, *астрономик*, *информацион* и им подобных следует сказать, что они осознаются как имена прилагательные не по формальному признаку (аффиксам *-аль*, *-ик*, *-ион*), а в целом, как заимствованные прилагательные, так же, как во многих тюркских языках до сего времени находятся в употреблении заимствованные из арабского языка прилагательные на *i*. Известно, однако, что аффикс *i* не используется как средство для образования имен прилагательных от слов тюркского происхождения, вследствие чего количество прилагательных на *i*, ранее заимствованных из арабского языка, не увеличивается, а даже уменьшается.

Количество прилагательных на *-аль*, *-ик*, *-ион* в тюркских языках СССР, конечно, будет расти, но не за счет образования посредством этих аффиксов прилагательных от тюркских слов, а за счет заимствования готовых слов через посредство русского языка в связи с культурным ростом тюркоязычных народов СССР.

Как известно, в Турции делались попытки оживить давно омертвевший аффикс *-al* (*-el*, *-l*) для образования прилагательных типа *kültürel* «культурный», *siyasal* «политический» и т. п. Эта попытка не нашла поддержки в широких кругах турецкой общности, и в настоящее время новые прилагательные на *-al* не появляются.

Какие пути морфологического развития категории имен прилагательных в тюркских языках окажутся наиболее продуктивными в будущем, пока что сказать трудно. Одно ясно: каждый тюркский язык будет развиваться по собственному пути, который в конечном счете будет определен исторической судьбой народа, говорящего на данном языке.

2

Некоторые тюркологи считают, что и м е н а вне контекста не могут быть отнесены ни к одной категории слов¹ и выделяют тем самым г л а г о л в особую именованную категорию. Вместе с тем во всех грамматиках тюркских языков выделяется группа слов, именуемая прилагательными, часто с оговоркой, что эти слова, наряду с основной функцией выражения определения, могут быть также и другими членами предложения² (имеется в виду субстантивизация имен прилагательных — явление, свойственное, например, русскому языку; ср. *белые*, *красные* и т. п.).

Большую часть слов, относимых к категории имен прилагательных, составляют слова, имеющие определенный формальный показатель, т. е. аффикс, посредством которого от именных или глагольных основ образуются новые слова, близкие по значению к именам прилагательным. Мы говорим б л и з к и е, потому что, как нам кажется, ни один аффикс, на-

¹ См. А. Н. Кононов, Грамматика турецкого языка, М.—Л., 1941, стр. 38.

² См. Н. А. Баскаков, Ногайский язык и его диалекты, М.—Л., 1940, стр. 69.

пример в турецком языке, не может служить средством образования имен, равных по значению именам прилагательным другого языка. Такой, например, общетюркский аффикс, как *-li* (*-li*, *-lu*, *-lü*), в турецком языке используется для образования отименных и глагольных основ категории слов, имеющих лишь приблизительное сходство с именами прилагательными.

Используемые как определения, слова с аффиксом *-li* всегда вносят характерный оттенок обладания именем-определяемым тем, что означает основа имени на *-li*. Такого свойства прилагательные, например, русского языка не имеют. Поэтому имена на *-li*, выступая в качестве определения, требуют, чтобы определяемое имя по своей семантике допускало обладание тем, что означает основа имени на *-li*. Так, имя на *-li* от *akıl* «ум» — *akıllı* может выступать как определение только перед такими словами, семантика которых допускает обладание умом. Поэтому сочетание *akıllı adam* «умный человек» возможно, но *akıllı hareket* «умный поступок» невозможно, так как поступок не может обладать умом.

То же можно сказать и об именах с аффиксом *-siz* (*-siz*, *-suz*, *-süz*), используемых со значением, обратным именам на *-li*, т. е. содержащих указание на отсутствие у определяемого имени того, что означает основа имени на *-siz*. Поэтому допустимо сочетание *akılsız adam* «неумный, глупый человек», но не допустимо *akılsız hareket* «неумный, глупый поступок».

Аффикс агентивности *-ci* (*-ci*, *-cu*, *-cü*, *-çi*, *-çi*, *-çu*, *-çü*) также используется для образования имен, могущих выступать в значении прилагательных. Однако значение имени на *-ci* как прилагательного устанавливается не аффиксом *-ci* и даже не синтаксической его функцией как определения, а так же, как и имен на *-li*, семантикой сочетающихся слов. Именно поэтому можно сказать *inkılâpçı talebeler* «революционное студенчество», но нельзя сказать *inkılâpçı hareket* «революционное движение».

Далее, именные образования на *-lik* (*-lik*, *-luk*, *-lük*) в значении имен прилагательных употребляются лишь в том случае, если определяемое имя предназначается для того, что означает основа имени на *-lik*. Следовательно, функция аффикса *-lik* в образовании имен, способных выступать как прилагательные в качестве определения, весьма ограничена. Основой для образования подобного рода прилагательных обычно служат имена, означающие отрезок во времени или пространстве, сами же прилагательные обычно сопровождаются именем числительным, как, например, *beş senelik plân* «пятилетний план» (буквально: «план, рассчитанный на пять лет»), *yazlık kumaş* «летняя материя» (буквально: «материя, предназначенная на лето») и т. п. Такие образования, как *satılık* «продажный, предназначенный на продажу», *kiralık* «сдаваемый в аренду», в современном турецком языке весьма редки, что свидетельствует о незначительной продуктивности аффикса *-lik* в образовании имен прилагательных.

Аффиксы, употребляемые в турецком языке для образования имен от глагольных основ, тоже имеют свою специфику. Так, например, аффикс *-ik* (*-ik*, *-uk*, *-ük*; *-ek*, *-k*) используется для образования как имен прилагательных, так и существительных. Значит, в этом отношении он не выполняет какой-то специальной функции. Зато при образовании прилагательных от основ переходных глаголов он придает этим основам пассивное значение, как, например, *kır-ık* «сломанный, разбитый» (от *kırmak* «ломать, разбивать»), *boz-uk* «испорченный» (от *bozmak* «портить») и, наоборот, основам непереходных глаголов он придает активный характер, например: *titre-k* «дрожащий» (от *titremek* «дрожать»), *kork-ak* «боящийся, трусливый» (от *korkmak* «бояться») и т. п.

То же можно сказать и об аффиксе *-kin* (*-kin*, *-kun*, *-kün*; *-gin*, *gin*, *-gun*, *-gün*), например: *ger-gin* «натянутый» (от *germek* «натягивать»), *ol-gun* «созревший» (от *olmak* «зреть») и т. п.

Здесь мы не будем перечислять все аффиксы, которые используются в турецком языке для образования новых имен от именных и глагольных основ, и характеризовать их специфические свойства. Многие из них служат средством для образования от именных и глагольных основ таких слов, которые принято считать производными именами существительными в силу их особых функций в предложении, хотя известно, что функции слов в предложении могут быть различными, а это означает, что не всякая функция слова в предложении может быть принята как критерий отнесения его к категории существительных.

Перечисленные выше отыменные и отглагольные образования мы отнесли к категории прилагательных как по формальному признаку, так и потому, что взятые вне связи с другими словами они вызывают в сознании в первую очередь представление о признаке. Однако ни формальный признак слова, ни вызываемое им представление не могут окончательно решить вопрос о его грамматической категории. Например, слова *köylü*, *şehirli*, *inkılâpçı*, *korak* означают не только «деревенский», «городской», «революционный», «трусливый», но и «крестьянин», «горожанин», «революционер», «трус». Причем последнее значение этих слов не является результатом их субстантивизации как имен прилагательных, так как они в одной и той же функции в предложении ведут себя по-разному (ср. *köylü hastalar* «деревенские больные» и *köylü kızı* «крестьянская дочь, дочь крестьянина», *inkılâpçı talebeler* «революционное студенчество» и *inkılâpçı fikri* «революционная мысль» и т. д.), т. е. сочетаются с определяемым различными способами. Но если бы мы слова *köylü*, *inkılâpçı* в словосочетаниях *köylü kızı* «крестьянская дочь», *inkılâpçı fikri* «революционная мысль» отнесли к категории имен существительных только потому, что они вызывают необходимость оформления определяемого аффиксом *-ı*, что не имеет места в словосочетаниях *köylü hastalar* «деревенские больные», *inkılâpçı talebeler* «революционное студенчество», то мы допустили бы ошибку, так как эти слова в обоих словосочетаниях являются выразителями признака и не могут быть носителями его, а следовательно, и не являются именами существительными.

Однако следует сказать, что в языке образования на *-lı*, *-сі*, *-sız*, *-lik* и др., если они выступают не как определения, весьма часто осознаются как имена существительные и как таковые сами могут быть носителями признака.

Можем ли мы все-таки считать именные образования на *-lı*, *-sız*, *-сі*, *-lik* и др. именами прилагательными? На этот вопрос, нам кажется, следует дать положительный ответ в том случае, если подобные имена в первую очередь вызывают представление о признаке, а не о носителе признака. На этом основании мы вправе отнести к категории прилагательных и такие слова, которые, обозначая признак предмета, по форме ничем не отличаются, например, от имен существительных, т. е. слов, обозначающих предмет.

Так, например, слова *kalin* «толстый» и *kadın* «женщина», *mavi* «голубой» и *kedî* «кошка» по морфологическим признакам не дают основания отнести их к различным частям речи. Но в нашем сознании *kalin* «толстый» и *mavi* «голубой» вызывают представление о признаках, а не о предметах, тогда как *kadın* «женщина» и *kedî* «кошка», наоборот, в первую очередь вызывают представления о предметах, а не о признаках.

Некоторые производные слова, как, например, *küçük* «маленький», *büyük* «большой» и т. п., формально ничем не отличаются от *biçak* «нож», *çocuk* «ребенок» и т. п., однако первые осознаются как выразители признаков, а вторые — предметов.

И все же делать вывод о грамматической категории того или иного слова

лишь на основании вызываемого им в сознании представления было бы ошибочно, ибо слово в сознании может представлять и предмет, и признак. Так, *köylü*, ассоциирующееся обычно с понятием «крестьянин», может вызывать представление и о признаке («деревенский»), *soğuk* и *sıcak* наряду с «холод», «тепло» означают также «холодный», «теплый». Даже такие слова, как *kadın*, *kedî*, *çocuk*, которые изолированно осознаются как имена существительные, в языке все же могут выражать и признаки, т. е. выполнять функцию имен прилагательных.

Из сказанного следует, что и семантический критерий не может быть положен в основу отнесения того или иного слова к категории прилагательных, хотя значение его в этом весьма важно. В а ж н о с т ь э т о г о к р и т е р и я подчеркивается еще и тем, что слова со значением качественного признака в предложении ведут себя отлично от других слов.

Качественные признаки, выражаемые этими словами, могут быть сравнимы, усилены или ослаблены как аналитическим, так и морфологическим способом. Так, от *büyük* «большой», *küçük* «маленький», *sarı* «желтый» мы аналитически можем образовать *daha büyük* «больше», *en büyük* «самый большой», *daha küçük* «меньше», *en küçük* «самый маленький», *daha sarı* «более желтый» и морфологически *büyükcek* «довольно большой», *küçücük* «очень маленький», *sarımsı* «желтоватый» и т. п. Качественный признак, передаваемый подобными словами, может иметь свой признак, выражаемый особыми количественными наречиями, как, например, *şiddetli* «сильный», *çok şiddetli* «очень сильный», *tuzlu* «соленый», *az tuzlu* «мало соленый, малосоленный», *geniş* «широкий», *iki misli geniş* «в два раза шире» и т. п. И, наконец, слова, передающие качественный признак, могут служить основой для образования качественных имен существительных посредством аффикса *-lık*: *büyüklik* «величие», *küçüklük* «мизерность», *sarılık* «желтизна» и т. п.

Все эти свойства дают нам основание отнести определенную группу слов к категории прилагательных, хотя следует сказать, что вопроса по существу они все-таки не решают, а лишь способствуют выяснению природы этих слов с иных позиций.

Основным критерием принадлежности слова к той или иной категории имен является сочетаемость слов в определительных словосочетаниях, причем решающим фактором выступает ф о р м а с в я з и определения с определяемым.

Действующая на данном этапе развития турецкого языка система в одинаковой степени распространяется как на словообразование, т. е. на порядок следования аффиксов в слове, так и на словосочетание, т. е. на порядок следования компонентов в словосочетании (наиболее важный элемент и в словообразовании, и в словосочетании помещается постпозиционно по отношению к менее важному). В определительных словосочетаниях слово, означающее субстанцию, занимает место после слова, выражающего признак данной субстанции.

Таким образом, слово, какой бы частью речи оно ни являлось и какой бы признак оно ни выражало, в атрибутивных словосочетаниях всегда занимает место перед словом, носителем признака, т. е. определение всегда будет предшествовать определяемому¹. Это основное правило распространяется на все типы определительных словосочетаний. Однако эта сторона связи определения с определяемым сама по себе не вскрывает внутреннего содержания самого словосочетания и поэтому не может способствовать разрешению вопроса о категории имен прилагательных. Любое слово,

¹ За исключением тех случаев, когда говорящий желает привлечь внимание слушающего не к носителю признака (определяемое), а к его признаку (определение).

использованное в качестве определения, будет занимать место перед определяемым, но не каждое из них можно отнести к категории имен прилагательных. Слова, выражающие количественные, или местоименные признаки, или признаки действия (и состояния), должны рассматриваться как числительные, местоимения и причастия, а не как прилагательные, хотя, будучи использованы как определения, они тоже занимают место перед определяемым.

Наличие имен прилагательных в турецком языке можно установить только в результате анализа формальной связи компонентов определительных словосочетаний. По формальному признаку связи компонентов определительных словосочетаний можно разделить на три типа.

Первый тип характеризуется тем, что связь определения с определяемым формально ничем не выражена; она осуществляется аналитически на основе семантики сочетающихся компонентов и смыслового содержания всего словосочетания, например *sarı çiçek* «желтый цветок»; *altın saat* «золотые часы» и т. п. Этот тип определительных словосочетаний мы назовем аналитическим.

Формальным признаком второго типа является наличие аффикса *-i* (*-i*, *-u*, *-ü*), *-si* (*-si*, *-su*, *-sü*) при определяемом, посредством которого устанавливается синтетическая связь определяемого с определением, например *kadın robası* «женское платье», *ekmek fiyatı* «цена на хлеб».

И, наконец, третий тип словосочетаний характеризуется наличием двухсторонней формальной связи компонентов, выраженной аффиксом родительного падежа *-in* (*-in*, *-un*, *-ün*; *-nin*, *-nin*, *-nün*) при определении, придающем ему possessивный характер, и аффиксом *-i* — *-si* при определяемом, который, как и во втором типе, является средством синтетической связи определяемого с определением, например, *kadının robası* «платье женщины». Этот тип словосочетаний мы считаем удобным назвать possessивно-синтетическим.

Наличие вышеописанных трех типов определительных словосочетаний, по нашему мнению, возникло на основе дифференциации слов по частям речи.

Слова *köylü*, *inkılâpçı*, *sarı*, *kalın*, *altın*, *ağaç*, которые имеют различные формальные признаки с точки зрения их морфологической структуры и взятые изолированно отражают в сознании то представление о признаке, то о предмете, или о том и другом, в определительных словосочетаниях при равных условиях, оказывается, ведут себя одинаково. Так, каждое из них может выступать в качестве определения в определительных словосочетаниях аналитического типа, например, *köylü hastalar* «деревенские больные», *inkılâpçı talebeler* «революционное студенчество», *sarı çiçek* «желтый цветок», *kalın kitap* «толстая книга», *altın saat* «золотые часы», *ağaç teneke* «деревянный ящик» и т. п.

Несмотря на то, что определения в этих словосочетаниях выражают постоянные, свойственные по природе признаки определяемого предмета, они могут быть разобщены с определяемым и перемещены. Разобщение возможно, например, путем вставки между сочетающимися компонентами слова *bir* с целью усиления признака, выраженного определением, например: *sarı bir çiçek* «очень желтый цветок», *kalın bir kitap* «очень толстая книга» и т. п. Перемещение же компонентов допустимо при изменении атрибутивной связи в предикативную, например: *hastalar köylü* «больные — деревенские», *talebeler inkılâpçı* «студенчество — революционное», *çiçek sarı* «цветок — желтый», *saat altın* «часы — золотые» и т. п.

Перемещение компонентов определительных словосочетаний аналитического типа и превращение атрибутивной связи в предикативную оказалось возможным благодаря отсутствию формальной связи между компонен-

тами, сама же формальная связь не нужна потому, что слова *köylü*, *inkilârci*, *sarı*, *kalın*, *ağaç* в определительных словосочетаниях в одинаковой мере способны выражать признаки, и именно качественные признаки.

Многие тюркологи полагают, что такие словосочетания, как *altın saat* «золотые часы», *ağaç teneke* «деревянный ящик», допустимы потому, что первый компонент является названием материала, из которого сделано то, что означает второй компонент. Нам кажется, что это не совсем верно. Если допустить такое понимание подобных словосочетаний, то необходимо будет признать, что в сознании говорящего эти словосочетания вызывают представление о двух предметах, а именно: в *altın saat* о «золоте» и «часах», в *ağaç teneke* о «дереве» и «ящике». Если бы это действительно было так, то тогда допускалась бы возможность постановки определения перед каждым компонентом словосочетания, и таким образом возможен был бы разрыв словосочетаний¹.

Словосочетания же *altın saat*, *ağaç teneke* и т. п. не допускают разрыва путем вклинивания особых определений к *saat* или *teneke* и постановки определения к *altın* или *ağaç*. Это означает, что подобные словосочетания аналитического типа отражаются в сознании говорящего как представления об одном предмете с качественным признаком.

Поскольку всякое иное определение, поставленное перед определительным словосочетанием аналитического типа, будет выражать признак главного члена словосочетания, т. е. определяемого, тем самым устанавливается и грамматическая природа второстепенного члена словосочетания, т. е. определения как выразителя признака, а не носителя его. А так как в определительных словосочетаниях аналитического типа определение выражает только качественный признак, то любое слово, выступающее как определение в таких словосочетаниях, вне зависимости от его морфологической структуры и лексических особенностей, должно рассматриваться как имя прилагательное качественное.

3

В турецком языке формальный признак, как мы уже выше говорили, не может служить основным критерием отнесения слов к той или иной грамматической категории имен, а тем более к категории имен прилагательных качественных или относительных. Поскольку значение слова, как имени прилагательного качественного, раскрывается по его синтаксической функции определения в определительных словосочетаниях аналитического типа, то же слово как определение в словосочетаниях иного типа не будет именем прилагательным качественным.

Так, в словосочетании *köylü hastalar* «деревенские больные» слово *köylü* передает качественный признак, в сочетании же *köylü kıızı* «крестьянская дочь, дочь крестьянина» то же слово передает иной, не качественный признак. Это же можно сказать о словах *ağaç*, *altın* в словосочетаниях *ağaç teneke* «деревянный ящик» и *ağaç yaprakları* «древесный лист», *altın saat* «золотые часы» и *altın madeni* «золотая руда».

Таким образом, если в русском языке качественные и относительные прилагательные распознаются или в словосочетании, или по морфологическим признакам, в турецком языке качественное или относительное значение прилагательного распознается лишь по форме сочетания компонентов определительного словосочетания.

¹ Разрыв аналитических словосочетаний возможен только путем вставки *bir* с целью усиления качества, выраженного определением. В словосочетаниях же *altın saat*, *ağaç teneke* и т. п. вклинивание *bir* недопустимо потому, что слова *altın* «золотой» и *ağaç* «деревянный» выражают абсолютные признаки.

Значение относительного прилагательного слово приобретает в том случае, если определяемое определительного словосочетания оформляется аффиксом *-i* (*-si*), синтетически связывающим оба компонента словосочетания — носителя признака и признак — в одно неразделимое целое.

Выше мы говорили о таких словах, которые в словосочетании способны выражать и качественные, и относительные признаки. Разберем теперь такие словосочетания синтетического типа, как *kadın robası* «женское платье» и *ekmek fiyatı* «цена на хлеб». Обычно принято считать, что в определительных словосочетаниях синтетического типа определением выступает имя существительное неопределенное, а определяемое имя (существительное же) принимает местоименный притяжательный аффикс 3-го лица *-i* (*-si*). Последний из тюркологов, анализировавший этот тип словосочетаний (релятивный, как он его называет), С. С. Майзель, считает, что словосочетание *kadın şapkası* «женская шляпа» следует рассматривать как «женщина — шляпа + ее», хотя и признает, что подобного рода сочетания представляют «стойкое комбинативное сочленение»¹.

И действительно, компоненты словосочетаний *kadın robası* «женское платье», *ekmek fiyatı* «цена на хлеб» настолько тесно спаяны, что не допускают ни разрыва, ни изменения атрибутивной связи в предикативную, и нередко такие словосочетания передают значение одного слова, как, например, *binbaşı* (из *bin* «тысяча» и *baş* «голова») «майор», *ayakkabı* (из *ayak* «нога» и *kap* «футляр») «обувь» и т. п.

Учитывая эти особенности словосочетаний синтетического типа, нет оснований связывать эти словосочетания с категорией неопределенности и понимать указанные выше примеры как «платье какой-то неопределенной женщины» или «цена неопределенного хлеба».

Турецкие словосочетания *kadın robası* «женское платье», *erkek paltosu* «мужское пальто», *ev hayvanı* «домашнее животное» отличаются от соответствующих русских не по содержанию, а по форме выражения связи определения с определяемым. И если в русском языке эта форма связи осуществляется благодаря аффиксации определения, в турецком языке морфологический показатель связи аффикс *-i* (*-si*) принимает на себя определяемое. Именно благодаря тому, что аффиксом *-i* (*-si*) оформляется определяемое и тем самым устанавливается его синтетическая связь с предыдущим словом как определением, компоненты определительных словосочетаний синтетического типа невозможно перемещать, изменяя атрибутивную связь в предикативную.

Перемещение компонентов русских определительных словосочетаний «женское платье», «домашнее животное» и т. п. из атрибутивной связи в предикативную «платье — женское», «животное — домашнее» оказывается возможным потому, что формальная связь компонентов, выраженная аффиксацией определения, остается ненарушенной. Но если бы мы захотели так же переместить компоненты турецких словосочетаний *kadın robası* и *ev hayvanı* в виде *robası — kadın*, *hayvanı — ev*, получилась бы бессмыслица, так как аффикс *-i* (*-si*) связывает слова с предыдущими, а не с последующими словами.

Таким образом, совершенно одинаковые по своему смысловому содержанию русские словосочетания «женское платье», «домашнее животное» и турецкие *kadın robası*, *ev hayvanı* и т. п. отличаются друг от друга лишь по формальным признакам связи компонентов, в чем и заключается проявление сущности специфики русского и турецкого языков, характеризующей самобытность их развития.

¹ См. С. С. Майзель, Категория дефинитивности в турецком языке. Сб. «Академику Владимиру Александровичу Гордлевскому к его семидесятипятилетию», М., 1953, стр. 179.

Что первый компонент определительных словосочетаний синтетического типа не является именем существительным (хотя бы и неопределенным), подтверждается и тем, что сам он, будучи выразителем признака, не может быть определяем. Ввиду этого всякое определение, поставленное перед синтетическим словосочетанием, будет относиться ко второму его компоненту, а не к первому, как, например, *yeni kadın robası* «новое женское платье», *yüksek ekmek fiyatı* «высокая цена на хлеб (высокая хлебная цена)» и т. п.¹

Из всего сказанного относительно определительных словосочетаний синтетического типа можно сделать вывод о том, что формальный показатель связи аффикс *-ı (-sı)* при определяемом делает слово-определение выразителем конкретного признака, сама же форма связи предопределяет и характер признака, выражаемого определением.

В отличие от словосочетаний аналитического типа (*köylü hastalar* «деревенские больные», *büyük ev* «большой дом», *sarı çiçek* «желтый цветок», *inkılâpçı talebeler* «революционное студенчество», *altın saat* «золотые часы», *çelik irade* «стальная воля»), в коих определения выражают качественные признаки, в словосочетаниях синтетического типа [*köylü kıızı* «крестьянская дочь (дочь крестьянина)», *inkılâpçı fikri* «революционная мысль», *altın madeni* «золотая руда», *çelik fabrikası* «сталелитейный завод», *ekmek fiyatı* «хлебная цена (цена на хлеб)» и т. п.] определения никакого представления о качестве не вызывают; в этих словосочетаниях определения благодаря аффиксу *-ı (-sı)* при определяемом превратились в выразителей конкретных признаков, а именно, относительных признаков.

Следовательно, любое слово, выступающее как определение в определительных словосочетаниях синтетического типа, будет выражать относительный признак, а поскольку само оно в таких словосочетаниях не может быть носителем признака (и, значит, не является субстанцией), оно должно быть отнесено к категории имен прилагательных относительных.

Нас, конечно, не должно смущать то обстоятельство, что определения многих синтетических словосочетаний не находят себе соответствия в русском языке в виде имени прилагательного. Так, например, турецкие словосочетания *imha muharebesi*, *hayat pahalılığı*, *sandaliye ayacı* по-русски передаются не как «уничтожающий бой», «жизненная дороговизна», «стульная ножка», а как «бой на уничтожение», «дороговизна жизни», «ножка от стула».

Даже целые синтетические определительные словосочетания могут выступать в качестве определений и, в зависимости от того, передает ли данное словосочетание качественный или относительный признак, оно сочетается с определяемым или аналитически или синтетически и, следовательно, должно быть отнесено к категории прилагательных качественных или относительных.

Такие словосочетания нередко и в русском языке передаются сложными прилагательными, как, например, *harpsonrası (hadiseler)* «послевоенные (события)», *milletlerarası (münasebetler)* «международные (отношения)», но *dış işleri bakani* или даже *dışişleri bakanı* «министр иностранных дел» (буквально: «внешнеделский министр»).

Изложенный выше способ выражения относительного признака предмета или явления является одной из специфических черт турецкого языка, и было бы по меньшей мере ошибочно объяснять его с позиций русского или какого-либо другого, не родственного турецкому языку.

¹ Определение перед синтетическими словосочетаниями будет относиться к первому компоненту только в том случае, если вторым компонентом является слово, выполняющее служебную функцию.

Предпринятые до сего времени попытки установить наличие в турецких (в том числе и турецком) языках категории имен прилагательных на основе формальных признаков и смыслового содержания слов, рассматриваемых изолированно, не дали положительных результатов потому, что слова, взятые отдельно, вне связи, являются лишь «строительным материалом», значение же их раскрывается только в предложении, т. е. тогда, когда они вступают в синтаксическую связь друг с другом.

Конечно, формальный признак слова может служить предварительным условием отнесения его к той или иной части речи, но окончательно это устанавливается все-таки особенностью его синтаксической связи с другими словами.

Не касаясь здесь вопроса о наличии в турецком языке заимствованных слов, которые по формальным признакам могли бы быть отнесены к категории имен прилагательных относительных, мы скажем, что имена числительные порядковые могут рассматриваться как прилагательные относительные по формальному признаку. Окончательно это устанавливается все же особенностью синтаксической связи этих имен с определяемым. Несмотря на то, что порядковые числительные никакого представления о качественном признаке в сознании говорящего не вызывают, они сочетаются с определяемым аналитически. Такому способу сочетания способствует аффикс *-(i) nci* (*-inci*, *-uncü*, *-üncü*), присоединяемый к количественным числительным, который и превращает последние в прилагательные относительные. Благодаря этому аффиксу в определительных словосочетаниях устанавливается синтаксическая связь между порядковым числительным, как определением, и определяемым. Поскольку эта связь оказалась осуществленной посредством аффикса *-(i) nci*, аффикс *-ı(-sı)* при определяемом оказался излишним. Именно благодаря наличию аффикса *-(i) nci* при определении связь оказывается не нарушенной и при перемещении компонентов определительных словосочетаний из атрибутивной связи в предикативную, например *beşinci mesele* «пятый вопрос» и *mesele beşinci* «вопрос — пятый» и т. п.

Что касается компонентов possessивно-синтетических определительных словосочетаний, то они должны рассматриваться как имена существительные, так как оба они выражают конкретные понятия предметности и каждый из них может быть носителем и качественного, и относительного признака. Оформление аффиксом родительного падежа первого компонента таких словосочетаний, на наш взгляд, не имеет никакой связи с категорией определенности, как это многие полагают, так как аффикс родительного падежа служит лишь средством выражения принадлежности и может присоединяться к любому имени существительному, способному обладать тем, что означает второй компонент словосочетания, синтетически связанный с ним посредством аффикса *-ı (-sı)*. Поэтому в турецком языке возможны как словосочетания *bu kadının robası* «платье этой женщины», так и *bir kadının robası* «платье какой-то женщины», и *her bir kadının robası* «платье любой женщины», и даже *kadının robası* «платье женщины».

В результате всего сказанного нам кажется, что морфологические признаки слов и их семантика, благодаря чему мы априори относим некоторую группу слов к категории прилагательных, окончательно этого вопроса не решают, а лишь способствуют разрешению его в синтаксическом плане.

Грамматическая природа слова как имени прилагательного окончательно проявляется в его способности передавать качественный или относительный признак в определенной формальной связи с определяемым.

С. С. КАКАБАДЗЕ

О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ХЕТТСКО-ИБЕРИЙСКИХ» ЯЗЫКАХ

Теория о так называемых «хеттско-иберийских» языках за последние 20 лет стала популярной среди грузинских кавказоведов¹, хотя эта концепция всегда излагалась лишь общими декларативными фразами и никакими доказательствами не подкреплялась². Тем не менее категорический характер этих заявлений вводит в заблуждение некоторых ученых (не специалистов по кавказским и переднеазиатским языкам), которые положения данной теории и вытекающие из нее этнологические концепции рас-

¹ О генетическом родстве кавказских языков с шумерским, хеттским, хурритским, урартским и другими говорил, например, А. С. Чикобава еще в 1939 г. (см. А. С. Чикобава, *Общее языковедение*, I, Тбилиси, 1939, стр. 122—123 [на груз. языке]). О работе кавказоведов в этом направлении С. Н. Джанашиа положительно отзывался еще в 1937 г. (см. С. Н. Джанашиа, *Общественные науки в Советской Грузии к 20-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции*, «Известия Ин-та языка, истории и матер. культуры [Груз. филиала АН СССР]», I, Тбилиси, 1937, стр. XXIII—XXIV [на груз. языке]). В том же томе указанных «Известий» напечатано несколько статей, касающихся этих вопросов (см.: А. С. Чикобава, *Сравнительно-исторические очерки картвельских языков*, § 1 [на груз. языке]; А. Г. Шанидзе, *К этимологии названия «Топата»*; С. Н. Джанашиа, *Тубал-Табал, Тибарен, Ибер* [на груз. языке]).

² См., например: сб. «Иберийско-кавказское языковедение», II, Тбилиси, 1948, стр. VII, IX, 255; Ари. Чикобава, *Труды И. В. Сталина по вопросам языкознания и их значение для науки о языке*, Тбилиси, 1951, стр. 9—10; К. В. Ломтадидзе и А. С. Чикобава, *Иберийско-кавказские языки*, БСЭ², т. 17; Ари. Чикобава, *Сталинское учение о языке и наши задачи в области сравнительно-исторического языкознания*, «Заря Востока» (Тбилиси) 20 I 53. См. также Н. Бердзенишвили, И. Джавахишвили, С. Джанашиа, *История Грузии*, ч. I, Тбилиси, 1950, стр. 16—17; А. С. Чикобава, *Введение в языкознание*, ч. I, М., 1952 (2-е изд. — 1953), стр. 224—227; то же — Тбилиси, 1952, стр. 375—381 [на груз. языке].

В наиболее общем виде эту теорию излагает акад. С. Н. Джанашиа в книге «История Грузии» (об этом см. Е. А. Бокарев, *Задачи сравнительно-исторического изучения кавказских языков*, ВЯ, 1954, № 3, стр. 52). А. С. Чикобава же, не излагая этой теории, просто заявляет, что «ныне общепризнанным (!) считается мнение..., согласно которому иберийско-кавказские языки представляют собою — подобно баскскому языку в Пиренеях — пережиток некогда многочисленной семьи языков, имевших распространение не только на Кавказе, но и к югу от Кавказа...» («Введение в языкознание», ч. I, М., 1952, стр. 224). Или: «Как морфологический строй, так культурно-исторический контекст говорит об историческом единстве «хеттско-иберийских» языков (там же, груз. изд., стр. 378). После таких заявлений А. С. Чикобава прямо приступает к перечислению «хеттско-иберийских» языков.

Подобной же точки зрения последнее время придерживается в своих работах Г. А. Меликишвили, также защищающий концепцию о «хеттско-иберийских» языках (см.: Г. А. Меликишвили, *Урарту*. Науч.-попул. очерк по истории предков грузинского народа, Тбилиси, 1951, стр. 9 [на груз. языке]; е го же, *О происхождении грузинского народа*, Тбилиси, 1952, стр. 12—13; е го же, *Древневосточные материалы по истории народов Закавказья*. I — Наири — Урарту, Тбилиси, 1954, стр. 403).

смаатривают как ценный вклад в науку¹. Поэтому будет не лишним показать, как представляют себе сторонники подобного взгляда «культурно-исторический контекст», якобы подтверждающий существование «хеттско-иберийской» семьи языков².

*

Отправной точкой для теории о «хеттско-иберийских» языках послужили главным образом взгляды главы тбилисской школы историков и языковедов акад. И. А. Джавахишвили на происхождение грузинского народа, а также гипотетические соображения ряда ученых (Н. Я. Марра, А. Тромбетти, А. Дирра и др.) о мертвых языках Передней Азии³.

И. А. Джавахишвили еще в 1908—1913 гг. писал, что малоазийские племена — мушки, табалы и кашки (упоминаемые в ассирийских источниках) являются грузинами, шумеры родственны грузинам, а прародиной последних является Халдея (= Урарту), так как, по его словам, жившие в долине Тигра кардухи античных писателей, а также грузины и халды (урарты) — один народ⁴.

В 1920—1930 гг. новые исследования потребовали коренного изменения этой схемы. Но И. А. Джавахишвили, пересмотрев свои взгляды, пришел к еще более невероятным выводам. Теперь он стал утверждать, что «родственные грузинские, картвельские и скифо-сарматские племена могли действительно попасть на свою позднейшую родину лишь с юга. Поэтому-то тубал-табалы и мосох-мушки не могли быть индоевропейцами⁵. При этом сарматов И. А. Джавахишвили считал племенами северокавказского населения на том основании, что одним из наименований скифо-сарматских племен якобы является название малоазийских племен — кашк, по его мнению, сохранившееся в грузинском и русском средневековом наименовании черкесов (кашаки, касоги). Вместе с тем И. А. Джавахишвили утверждал, что в скифо-сарматском языке имелись лишь отдельные иранские имена и слова, но что сам язык был северокавказским; Малую Азию он рассматривал как место временного пребывания этих племен на пути их переселения с юга, а прародину грузин (следовательно, судя по контексту, и кавказских народов) предлагал искать в Африке⁶.

С этими положениями, выводимыми из сходства этнических наименований, очень трудно согласиться. В действительности же скифо-сарматский язык уже определен как индоевропейский⁷, и поэтому скифы и сарматы

¹ См., например: Б. Д. Д а ц ю к, Первобытное общество на территории нашей страны, М., 1954, стр. 23; С. А. Т о к а р е в, О классификации языков в учебном пособии проф. А. С. Чикобава «Введение в языковедение», «Сов. этнография», 1953, № 3, стр. 207; Е. И. К р у ц и н о в, Об этногенезе осетин и других народов Северного Кавказа, сб. «Против вульгаризации марксизма в археологии», М., 1953, стр. 145.

² Что морфологический строй указанных языков говорит против теории о «хеттско-иберийских» языках, достаточно ясно показано в статье В. Георгиева («Вопросы родства средиземноморских языков», ВЯ, 1954, № 4), И. М. Дьякова («О языках древней Передней Азии», ВЯ, 1954, № 5) и И. М. Дунаевской («О характере и связях языков древней Малой Азии», ВЯ, 1954, № 6).

³ Об этих теориях см. Е. А. Б о к а р е в, указ. соч., стр. 45 и сл.

⁴ См. И. А. Д ж а в а х и ш в и л и, История грузинского народа, кн. I, Тбилиси, 1908, стр. 26—31 [на груз. языке]. Эти же положения повторены во всех изданиях книги (см. то же, кн. I, Тбилиси, 1913, стр. 21 и сл.; то же, кн. I, Тбилиси, 1928, стр. 1; то же, кн. I, Тбилиси, 1951, стр. 3, 392 и сл.).

⁵ И. А. Д ж а в а х и ш в и л и, Основные историко-этнологические проблемы истории Грузии, Кавказа и Ближнего Востока древнейшей эпохи, ВДИ, 1939, № 4, стр. 47—48.

⁶ См. там же, стр. 44, 47—48.†

⁷ Об этом см. В. И. А б а е в, Осетинский язык и фольклор, I, М.—Л., 1949, стр. 147 и сл.

не могли быть северокавказскими племенами, по языку родственными грузинам; если даже признать, что эти племена переселились из Малой Азии (чему противоречат историко-археологические данные), это никак не могло бы определить и этническую принадлежность табалов и мушков, которые все-таки, очевидно, индоевропейцы; также нет и в Африке никаких следов грузин и других названных народов.

Таким образом, И. А. Джавахишвили предков кавказских народов искал среди культурных народов Передней Азии. Поэтому он в 1937 г. перед грузинскими языковедами и историками поставил задачи: 1) выяснить природу и родство «картвельских и кавказских языков и их отношение к халдско-хеттско-шумерскому языкам» и 2) выяснить, где находилась первоначальная родина грузин и кавказцев. Он считал, что эти вопросы, тесно между собой связанные, должны быть разрешены параллельно¹.

Результатом работы по такому плану и явилась теория о «хеттско-иберийских» языках, вдохновителями которой в Грузии были акад. С. Н. Джанашиа и проф. А. С. Чикобава. По словам С. Н. Джанашиа, термин «хетто-иберийский» образован по наименованию главных представителей группы: хеттов — в Малой Азии, иберов — в Европе и иберов-субаров — в области от Месопотамии до Кавказа².

Но, во-первых, как увидим ниже, «хеттско-иберийскими» С. Н. Джанашиа считал три различных народа, причем два из них индоевропейские: во-вторых, вовсе не доказано, что пиренейских иберов в какой-либо мере можно сближать с кавказскими народами; в-третьих, грузины (иберы) и хурриты (субары) — два разных народа и, наконец, неправилен ни термин «хеттский», ни термин «иберийский» в таком сочетании.

В огромной научной литературе хеттами называют индоевропейский народ — хеттов-неситов, а хеттским языком — индоевропейский неситский язык. Правда, А. С. Чикобава, оправдывая название «хеттско-иберийский», предлагает, во избежание «терминологической путаницы», не называть неситский язык хеттским и «собственно хеттский» язык — протохеттским, а хеттами и хеттским языком называть протохеттов и их язык, так как египтяне хеттами, якобы, называли протохеттов³. Но А. С. Чикобава упускает из вида, что терминами «hatti» или «hetta» египтяне, да и другие древние народы называли население Малой Азии и позже Сирии без различия племен и языков. Поэтому, именно во избежание путаницы, термином «протохеттский» или «хаттский» в науке обозначают определенный малоазийский неиндоевропейский язык, термином же «хеттский» — индоевропейский неситский, а термином «хеттские языки» — вообще ряд языков древней Малой Азии⁴.

Из-за этого невнимания к историческим фактам А. С. Чикобава вносит не только терминологическую путаницу, но и путаницу в существо вопроса. Так, по его словам получается, что клинообразное письмо употребляли протохетты (стр. 225, 227), хотя протохеттские тексты встречаются только в хеттско-неситских клинообразных надписях. Связующую роль между Востоком и Западом играли хетты-неситы, а не протохетты, как можно заключить из текста А. С. Чикобава (стр. 225). Хеттской культурой А. С. Чикобава считает протохеттскую (стр. 225—226), хотя под названием хеттская культура в науке известна хеттско-неситская культура.

¹ См. И. А. Джавахишвили, Наши задачи в области языковедения и истории культуры, «Известия Ин-та языка, истории и матер. культуры [Груз. филиала АН СССР]», 1, Тбилиси, 1937, стр. 2—3, 8 [на груз. языке].

² См. «История Грузии», ч. 1, стр. 17.

³ См. А. С. Чикобава, Введение в языковедение, ч. I, стр. 227; груз. изд. — стр. 378 (в дальнейшем ссылки на страницы этой книги даем в тексте в скобках).

⁴ А. С. Чикобава хеттскими языками называет неиндоевропейские языки, считая тем самым, что их было несколько (см. там же, стр. 225, 227), что неверно.

Живые кавказские языки многие грузинские языковеды называют «иберийско-кавказскими». А. С. Чикобава этот термин оправдывает тем, что так «легче... различить языки Кавказа и собственно кавказские языки и точнее отобразить состав их» (стр. 220). На это следует возразить, что, например, термин «индоевропейские языки» имеет в виду определенную семью языков — никто не смеивается с ними венгерский, чувашский, дагестанские или дравидские языки и все относят к ним персидский и хеттский.

Термин «иберийский» происходит от названия восточной Грузии — Иберия. А этот термин (как признавалось и раньше) И. А. Джавахишвили, С. Н. Джанашиа, Г. А. Меликишвили считают параллельной формой названия Сперы (соврем. Испир, в средние века грузинская провинция в бассейне реки Чорох)¹. Но вряд ли это так. В действительности грузинской традиции совершенно чужды названия Иберия и иберы. Иберы-грузины себя так никогда не называли (они именовали себя картвелами, а страну — Картли)². С другой стороны, название Иберия встречается (по крайней мере в этой форме) только в древнегреческой и римской литературе.

В связи с этим интересен следующий факт: Евсевий, перечисляя племена Передней Азии и Причерноморья, говорит, что названные им племена живут от Мидии до Сперии (судя по контексту, под Сперией здесь подразумевается Причерноморье). Действительно, грузины в древности Черное море называли Сперским и реку Чорох — Сперской рекой (оба названия образованы от названия области Сперы). В том же тексте у Евсевия упоминаются иберы (т. е. иберы)³. Кстати, в жизнеописании Александра Македонского псевдо-Каллисфена упоминаются рядом иберы и споры (правда, в других рукописях этого текста вместо споров упоминаются боспорцы, но нужно думать, судя по контексту⁴, что здесь имеются в виду именно сперы)⁵. Очевидно, античная традиция различала Сперию от Иберии, и в таком случае отпадает отождествление термина «Спер» с «Ибером». Против отождествления этих терминов говорят также историко-географические данные: Иберия — только восточная Грузия, современная Карталиния, Сперы — только провинция в бассейне реки Чорох⁶. Поэтому представляется более вероятным, что под именем Иберия и иберов восточная Грузия и ее жители были известны вообще у не грузин (ср. древнеармянское *vir-k* — «грузины», очевидно, того же корня).

Кроме того, — и это особенно важно для языковедов — термином «иберийский» кавказские языки увязываются с древними языками Пиренейского

¹ При этом предполагается переход *Hiber* → *Siber* → *Sper* (см., например, И. Джавахишвили, История грузинского народа, кн. I, Тбилиси, 1951, стр. 394 [на груз. языке]); см. об этом же в кн.: П. К. Услава, Древнейшее сказание о Кавказе, Тифлис, 1881, стр. 299—301, а также у других авторов.

² Впервые в грузинских текстах название «Иберия» приводит географ XVIII в. Вахушти (см. В а х у ш т и, Описание царства грузинского, Тбилиси, 1941, стр. 28 [на груз. языке]), но именно его крайне наивное разъяснение этого термина говорит о том, что это — не грузинское название и грузины лишь старались каким-нибудь образом вывести его из грузинского языка. Сам Вахушти также все время применяет термин «Картли».

³ См. В. В. Л а т ы ш е в, Известия древних писателей о Скифии и Кавказе, ВДИ, 1948, № 3, стр. 221—222.

⁴ Племена перечисляются в таком порядке: скифы, иберы, споры, халдеи, агрофаги; в другой рукописи: иберы, боспорцы, бастарны, азаны, халибы.

⁵ См. В. В. Л а т ы ш е в, указ. соч., стр. 246.

⁶ Г. А. Меликишвили говорит, что сперские племена около VI в. до н. э. распространили свою власть на восточнотуркские племена и поэтому название Сперы закрепилось за восточной Грузией (см. Г. А. М е л и к и ш в и л и, Наиря—Урарту, стр. 420). Но Г. А. Меликишвили не приводит никаких данных в пользу этого. Таких данных и нет.

полуострова, хотя ни о каком родстве между ними нельзя говорить. Надо еще сказать, что при нынешнем этапе изученности кавказских языков — при отсутствии сравнительно-исторических грамматик отдельных кавказских языковых групп (нет таких грамматик и для картвельских языков) — трудно со всей категоричностью утверждать, что кавказские языки произошли от общего языка-основы, особенно если этим языком считать язык-основу картвельских языков — положение, как будто вытекающее из терминов «хеттско-иберийские» и «иберийско-кавказские» языки.

Оперируя термином «Иберия», как мнимым самоназванием грузин, делают самые невероятные этнологические выводы. Поэтому лучше отказаться от этих терминов и вернуться к традиционному названию «кавказские языки». Что же касается «культурно-исторического контекста», то надо сказать, что некоторые грузинские кавказоведы, игнорируя одни факты, подгоняют другие под свою схему. Так поступает и А. С. Чикобава.

А. С. Чикобава считает, что «иберийско-кавказскими языками» являлись иероглифический «хеттский» и палайский (стр. 225—227). Это неверно, так как иероглифический «хеттский»¹ язык был индоевропейским, а палайский слишком мало известен. Поэтому, если даже принять отождествление иероглифического «хеттского» языка с палайским (стр. 225), это не дает повода для причисления палайского к «хеттско-иберийским» языкам.

Неверно, что «экспансия индоевропейских племен в Малую Азию датируется вторым тысячелетием до н. э., но не раньше» (стр. 226), так как нет никаких данных об их переселении в Малую Азию и во всяком случае они уже были там в III в., возможно, даже в IV тысячелетии². Неверно также утверждение, что неситский и лувийский языки имеют неиндоевропейскую лексику (стр. 211, 225).

Наличие общих знаков в иероглифическом «хеттском», критском и протоиндийском письме, якобы установленное Б. Грозным, не может свидетельствовать о большом влиянии протохеттской культуры на протоиндийскую (стр. 225), так как иероглифический «хеттский» и критский являются индоевропейскими языками и поэтому протохетты и их культура здесь ни при чем. Дешифровка Б. Грозным протоиндийского письма не может быть проверена за отсутствием данных, дешифровка им иероглифического «хеттского» письма вызывает сильные возражения специалистов, а в чтении критского письма Б. Грозный потерпел неудачу.

Еще одна ошибка А. С. Чикобава заключается в следующем. Желая показать исключительную роль «хеттско-иберийских» народов, автор, ссылаясь на Ч. Лоукотку, утверждает, что протоиндийская культура «произошла целиком из Передней Азии» (стр. 225—226), хотя никакая культура не может происходить целиком из другой страны. Неверно также, что лийдский, ликийский, карийский и другие мелкие древние языки Малой Азии неиндоевропейские (стр. 226). Наоборот, эти языки — индоевропейские.

А. С. Чикобава почему-то отделяет друг от друга близкородственные хурритский и урартский языки, ввиду чего получается, что урартский ближе к эламскому, чем к хурритскому (стр. 226). Временем распространения хурритского языка автор указывает II тысячелетие (там же). Между тем древнейшие памятники хурритского языка относятся к III тысячеле-

¹ Название описательное — этот народ в науке называют хеттами потому, что он продолжал хеттскую традицию (само название их неизвестно).

² Вообще неверно мнение, что «хеттско-иберийские» народы во всем бассейне Средиземного моря предшествовали индоевропейцам и семитам, как утверждают С. Н. Джанашия (см. «История Грузии», ч. I, стр. 16) и А. С. Чикобава (см. «Введение в языкознание», I, стр. 227).

тию. А. С. Чикобава употребляет неправильное название урартского языка — халдский (там же), а хурритский ошибочно называет харийским (от *hari* вместо *hurri*, груз. изд., стр. 377).

А. С. Чикобава во всех изданиях книги выправлял ошибку о времени распространения эламского языка: в первом русском издании указывается время XV—XIII вв. (стр. 226), в грузинском — XV—VIII вв. (стр. 377), а во втором русском — с XXIII в. (стр. 226). Правильно будет: с XXIV в. до IV в. до н. э.

Следует отметить, что эти мертвые языки, как мало изученные, специалистами сравнивались с самыми различными языками. А. С. Чикобава из научной литературы выбирает только примеры сравнения их с кавказскими языками. Такая однобокость, конечно, не может способствовать решению проблемы, так как игнорируются все другие возможные попытки решения вопроса. Вместе с тем в этом коренится причина и ряда новых ошибок. Так, А. С. Чикобава приводит схему деления мертвых языков Передней Азии А. Тромбетти и А. Дирра (груз. изд., стр. 379—380), считавших их родственными кавказским языкам. Между тем эта схема составлена в двадцатых годах XX в. и ссылаться на нее теперь — значит не считаться с последними достижениями науки. Так, в эту схему языков, якобы родственных кавказским языкам, включен ряд индоевропейских языков (хеттский, ликийский, лидийский, карийский, критский и др.). Кстати, языка арзави (стр. 380) нет: была в составе Хеттского царства страна Арзава, в которой был распространен индоевропейский лувийский язык, относимый и самим А. С. Чикобава к индоевропейской семье языков (стр. 376). Урартский язык нельзя называть протоармянским (стр. 379). Если А. С. Чикобава считает, что индоевропейцы переселились в Малую Азию, то нельзя ликийский, лидийский, карийский и другие малоазийские языки считать языками абorigенов (стр. 380).

Вред для науки концепции о «хеттско-иберийских» языках хорошо виден на примере теории происхождения грузинского народа, принадлежащей акад. С. Н. Джанашиа. Эта теория создавалась одновременно с теорией о «хеттско-иберийских» языках и целиком из нее вытекает. С. Н. Джанашиа, исходя из положения, что кавказские народы — «перезиток» «хетто-иберийских» народов, считал предками грузин хетто-субаров, т. е. хеттов и хурритов¹.

Неоснованность этой теории видна уже из следующего. По утверждению С. Н. Джанашиа, предки грузин, хетто-субары, создали ряд государств: во II тысячелетии в Малой Азии и Северной Месопотамии — Хеттское и Митаннийское царства; одновременно с этим культурные области указанных народов находились и в Закавказье; тогда же эти народы вторглись в Египет (стр. 18); в конце II тысячелетия они создали объединения мушков и табалов (стр. 32), а в IX—VIII вв. — Урарту (стр. 33). Однако нельзя считать самые различные народы одним народом — хетто-субарами. Ведь Хеттское царство создали индоевропейцы неситы, а Митанни — «азианический» народ хурриты; Закавказье нельзя считать культурными областями хеттов и хурритов; также и вторгнувшись в Египет гиксосов нельзя считать хетто-субарами; государство Урарту создали урарты, родственные хурритам народ; мушков и табалов в большей мере можно считать индоевропейскими племенами².

С другой стороны, С. Н. Джанашиа никакого различия между про-

¹ См. «История Грузии», ч. I, стр. 17 (в дальнейшем ссылки на страницы этой книги даем в тексте в скобках).

² С. Н. Джанашиа неоднократно говорит о «хетто-субарских странах», «хетто-субарских рудниках», «хетто-субарской культуре» и т. д. (стр. 18—21 и др.), причем для иллюстрации приводит примеры чаще из истории хеттов.

тохеттами и хеттами-неситами не делал. Так, он говорит о войнах хеттов с Египтом (стр. 18—19), о хеттских законах (стр. 22), о борьбе хеттов и субаров (стр. 18) и т. д., относя все это к предкам грузин. Между тем воевали с Египтом индоевропейцы хетты-неситы, хеттские законы написаны на индоевропейском неситском языке и они были законами царства неситов, хетты-неситы боролись за гегемонию против хурритов (субарейцев). Все это, таким образом, никакого отношения к грузинам или к их «предкам» не имеет.

Вместе с тем С. Н. Джанашиа, не различая так называемых пероглифических «хеттов» от хеттов-неситов, писал, что хетто-субары пользовались клинописью и иероглифами (стр. 21), хотя клинописью пользовались хетты-неситы, а иероглифами — совсем другой народ — иероглифические «хетты». Другое утверждение С. Н. Джанашиа, что около VII в. до н. э. грузины оставили пероглифическое и клинообразное письмо и перешли к фонетическому письму (стр. 95), основано на недоразумении: под грузинами, употреблявшими иероглифическое и клинообразное письмо, подразумеваются не грузины, а иероглифические «хетты» и хетты-неситы. Но какие грузины перешли к фонетическому письму в VII в. до н. э., неизвестно — ведь древнейшая грузинская надпись датируется V в. н. э.

Такая же путаница у С. Н. Джанашиа и в вопросе о хурритах (субарейцах). Неверно, что страна хурритов называлась «Субарети»: этот термин С. Н. Джанашиа переделал на грузинский лад из аккадского «Субарту»¹, обозначавшего страну хурритов, чтобы доказать, что хурриты — предки грузин².

По мнению С. Н. Джанашиа, название саспейров, упоминаемых Геродотом, возможно, происходит от грузинской (впрочем не засвидетельствованной) формы Сасубаро (означало бы «страна субаров»), а саспейры — те же иберы (стр. 42). Но это неверно: саспейры жили в Великой Армении, где грузинских племен никогда не было. Суби не самоназвание, а одна из областей страны маннеев, и, конечно, Суби не «то же самое древнее название Субарти» (стр. 37). Неверно, что хурриты (субары) жили от Месопотамии до Кавказского хребта (стр. 17). Закавказье нельзя называть «Северным Субарти» (стр. 50), так как оно хурритами (субарами) никогда не было заселено и в состав ни одного хурритского государства не входило.

По словам С. Н. Джанашиа, «южная Субарти называлась Хари» (стр. 17, 60), а Хари — та же «расположенная где-то на юге» Ариан-Картли (стр. 60—61). Здесь что ни слово, то ошибка: С. Н. Джанашиа употребляет неправильное *hari* вместо правильного *hurri*, чтобы связать его с Ариан-Картли древнегрузинской хроники³; Хурри не только «южная часть» Субарту, а общее название хурритских племен; в науке есть предположение, что термин «*hurri*» имел также узкое значение царства Хурри, но эта страна всеми учеными локализуется на северной окраине хурритской территории; наконец, в грузинской хронике нет никаких указаний, где находилась Ариан-Картли.

Утверждение С. Н. Джанашиа, что «этническая принадлежность халдов (урартов) бесспорна», что «они составляли часть грузинской народности» (стр. 38) — противоречащая всем фактам общая декларация⁴.

¹ *-eli* — грузинский суффикс географических названий.

² Основание для этого С. Н. Джанашиа видел в том, что Subar и Iber, якобы, параллельные формы (см. С. Н. Джанашиа, Труды, т. II, Тбилиси, 1952, стр. 61 [на груз. языке]). Но, помимо прочего, как было сказано, Iber — не самоназвание грузин и потому использовано быть не может.

³ *hari* → *ari*, *ari-an*. Такое ослабление действительно характерно для грузинского языка, но здесь оно ни при чем.

⁴ По С. Н. Джанашиа, от *hald/kart* происходит самоназвание грузин *kart-ueli*. Такое мнение высказывалось и раньше, но теперь оно устарело.

Нельзя согласиться также с утверждением С. М. Джанашиа (из-за отсутствия соответствующей аргументации), что мушки и табалы являлись грузинами (месхами и иберами), и тем более нельзя называть их хеттосубарами (стр. 32).

*

В результате всего сказанного мы приходим к выводу, что авторы концепции о «хеттско-иберийских» языках не учитывают достижений науки последних 25 и более лет: все приводимые ими факты отражают состояние науки в 20-х годах. Именно поэтому при изложении данной теории ее авторы не приводят почти ни одного правильного факта. Хотя древние языки Передней Азии все еще изучены недостаточно, а многие из них известны только по названию¹, тем не менее весь имеющийся материал говорит против теории о «хеттско-иберийских» языках: в древней Передней Азии была не одна, а, повидимому, несколько семей несемитских и неиндоевропейских языков². Отсутствие же фактов сторонники «хеттско-иберийского» единства восполняют априорными декларативными заявлениями об исторической общности этих языков. Ясно, что эта теория советской науке может принести лишь вред.

¹ То же самое следует сказать и о некоторых живых кавказских языках.

² Об этом см. И. М. Дьяконов, О языках древней Передней Азии, ВЯ, 1954, № 5.

К. В. ЛОМТАТИДЗЕ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИБЕРИЙСКО-КАВКАЗСКОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

На страницах журнала «Вопросы языкознания» были опубликованы дискуссионные статьи Е. А. Бокарева, В. Георгиева, И. М. Дьяконова и И. М. Дунаевской относительно вопросов генетической связи иберийско-кавказских языков с древними языками Передней Азии и Средиземноморья, а также живым баскским языком¹. Поскольку в первой статье (Е. А. Бокарева), открывающей дискуссию, рассматривались задачи сравнительно-исторического изучения иберийско-кавказских языков, постольку считаем необходимым высказать свое мнение по поводу выдвинутых в статье положений.

Основные положения статьи Е. А. Бокарева таковы: иберийско-кавказские языки (у автора — кавказские языки) недостаточно изучены; далеко не все языки описаны. Для полной убедительности в родстве этих языков неотложной задачей является составление сравнительно-исторических грамматик как отдельных групп, так и в целом иберийско-кавказских языков и установление между этими языками звуковых соответствий. Положение ряда ученых о генетическом родстве иберийско-кавказских языков с древними языками Передней Азии и Средиземноморья лишено всякого основания.

Е. А. Бокарев считает, что родство этих языков, существование хеттско-иберийской семьи, как лишенное реального обоснования, не может выдвигаться в настоящее время даже как рабочая гипотеза. Более того, по мнению автора: «Постановка вопроса об исторической общности хеттско-иберийских языков дезориентирует специалистов по кавказским языкам (подчеркнуто нами. — К. Л.), отвлекает их от очередных насущных задач, имеющих решающее значение для развития современного кавказоведения» (стр. 53).

Положение о родстве иберийско-кавказских языков с древними языками Передней Азии и Средиземноморья Е. А. Бокарев сравнивает с попытками связывать иберийско-кавказские языки с индоевропейскими, семитическими, угро-финскими и тюркскими. Как известно, предположение о родстве иберийско-кавказских языков с индоевропейскими, семитическими, угро-финскими или тюркскими высказывалось в разное время отдельными учеными. Предположения эти не находили сторонников. Что же касается родства иберийско-кавказских языков с древними языками Передней Азии и Средиземноморья, вряд ли найдется специалист по ука-

¹ Е. А. Бокарев, Задачи сравнительно-исторического изучения кавказских языков (1954, № 3); В. Георгиев, Вопросы родства средиземноморских языков (1954, № 4); И. М. Дьяконов, О языках древней Передней Азии (1954, № 5), И. М. Дунаевская, О характере и связях языков древней Малой Азии (1954, № 6). В дальнейшем в тексте в скобках даем ссылки на страницы рассматриваемых нами статей.

занным языкам, который бы не относился положительно к вопросу о родстве той или иной группы этих древних языков с иберийско-кавказскими языками.

Если иберийско-кавказское языкознание имеет право на существование как научная дисциплина (в чем никто уже не может сомневаться), то его основной целью должно являться изучение вопросов генетического порядка. Иных задач—кроме всестороннего сравнительно-исторического исследования этих языков, выяснения их генетической связи—и не может быть. Иначе и не представляется нам настоящее сравнительно-историческое изучение языков.

На современном этапе развития советского языкознания странным кажется утверждение автора дискуссионной статьи о том, что такая постановка вопроса может «дезориентировать специалистов» по кавказским языкам, отвлечь их от очередных насущных задач, имеющих решающее значение для развития современного кавказоведения. Что такой подход к данному вопросу ни в какой мере не может отвлекать специалистов от насущных задач кавказоведения, видно из справедливого признания самого Е. А. Бокарева: именно специалистами, стоящими на упомянутой точке зрения, «многое сделано... для развития сравнительно-исторического метода в применении к кавказским языкам с учетом ряда их специфических особенностей...» (стр. 51).

Как выше было сказано, вопрос о родстве этих языков в статье Е. А. Бокарева решается отрицательно по той причине, что между данными языками не установлены звуковые соответствия; вместе с тем он предлагает прекратить исследование в этом направлении.

Когда исследователь иберийско-кавказских языков говорит об их генетической общности с древними языками Передней Азии и Средиземноморья, он учитывает авторитетное мнение специалистов по этим вопросам, а также то бесспорное сходство в структурном отношении, которое проявляют эти древние языки с иберийско-кавказскими языками.

Не вызывает никакого сомнения тот факт, что вопросы родства этих языков пока еще не разработаны должным образом, что при решении их мы наталкиваемся на большие затруднения из-за скудости достоверно толкуемых материалов, но тем более неотложным является изучение данных вопросов. Решающее слово в этом деле, как часто отмечают специалисты, принадлежит исследователям, компетентным в вопросах иберийско-кавказского языкознания. Чтобы иметь правильное представление об историческом процессе развития этих языков и их взаимоотношения, нужно учесть характерные данные разных групп иберийско-кавказских языков.

Определение генетической связи между языками, как это известно из истории языкознания, никогда не начиналось с установления звуковых соответствий между ними. При выделении родственной группы языков исследователи исходили не из уже установленных звуковых соответствий, а из общих для определенных групп языков грамматических явлений. Звуковые соответствия выявляются в процессе сравнения и в дальнейшем служат опорой для него. Тот же аргумент, т. е. отсутствие звуковых соответствий, приводится часто некоторыми языковедами, особенно специалистами других языков, и для отрицания родства между отдельными группами иберийско-кавказских языков.

Родство отдельных групп иберийско-кавказских языков (в частности, картвельских языков с горскими иберийско-кавказскими языками) отрицал и Н. Трубецкой, которому приходилось изучать лишь северокавказские языки. Совершенно иную позицию занимал, как известно, в этом вопросе замечательный русский ученый, выдающийся исследователь кавказских языков П. К. Услар. В его время ничего не было известно о звуковых со-

ответствиях между отдельными группами данных языков (даже между картвельскими языками). Он хорошо видел также значительные расхождения между группами иберийско-кавказских языков в грамматическом строе, но это не мешало ему — основоположнику иберийско-кавказского языкознания — считать бесспорным родство указанных языков. П. К. Услар писал: «Теперь уже утвердительно можно сказать, что к великим семействам языков старого света: индоевропейскому, семитскому, кушитскому (коптский, эфиопский) и урало-алтайскому должно присоединить еще совершенно самостоятельное семейство языков кавказских, так как все эти языки, при изумительном разнообразии, представляют глубокие родственные черты. Армянский язык есть индоевропейский; грузинский, повидимому, есть язык кавказский и, по всей вероятности, самый замечательный в целом семействе. Без очерка грамматического строения грузинского языка замышляемый мною *Caucase polyglotte* будет незамкнут»¹.

Можно ли сомневаться в родстве иберийско-кавказских языков и считать это родство научно необоснованным, когда еще не установлены звуковые соответствия? Каково положение в этом отношении? На какой ступени находится развитие иберийско-кавказского языкознания?

Е. А. Бокарев указывает на то, что еще не все языки иберийско-кавказской семьи описаны; нет сравнительных грамматик даже по отдельным группам иберийско-кавказских языков, и то, что сделано, не собрано воедино.

Нельзя полностью согласиться с этим. Все иберийско-кавказские языки в настоящее время изучены, хотя не в одинаковой степени. Изучены языки: картвельские (грузинский, запский, сванский), абхазско-адыгские (абхазско-абазинский, убыхский, адыгейский, кабардинский), кистинские (чеченский, бацбийский, ингушский), дагестанские (аварский, андийский, ботлихский, каратинский, чамалальский, тиндийский, ахвазский, хваршинский, багвалальский, каучино-гунзибский, гинухский, дидойский, даргинский, лакский, лезгинский, агульский, рутульский, цахурский, будухский, удинский, табасаранский, арчинский). Более того, изучено большинство и диалектов названных языков. В результате исследования перечисленных языков и диалектов выяснилось, что ряд известных в специальной литературе как самостоятельные языки лингвистических единиц являются в действительности диалектами того или иного языка.

Особенно продвинулось вперед исследование общих генетических вопросов иберийско-кавказского языкознания у нас при советской власти. К сожалению, большинство трудов, выполненных за последнее время, не издано, но они известны специалистам и используются ими. Правда, нет еще обобщающих трудов в виде сравнительных грамматик как иберийско-кавказских языков в целом, так и отдельных групп этих языков, в их числе даже хорошо изученных картвельских, но это отнюдь не значит, что отдельные важные вопросы фонетической системы, грамматического строя и основного словарного фонда иберийско-кавказских языков не исследованы в сравнительно-историческом аспекте.

Именно в области сравнительно-исторического изучения общей фонетической системы, грамматических категорий, синтаксических конструкций, основного словарного фонда иберийско-кавказских языков получены за последнее время существенные результаты. Выявлены общие черты, объединявшие различные группы иберийско-кавказских языков на ранних этапах их развития. Успехи эти были бы невозможны, если бы специа-

¹ П. К. Услар, Письмо к А. П. Берге от 10 февраля 1864 г., в кн.: «Этнография Кавказа. Языкознание, II — Чеченский язык», Тифлис, 1888, стр. 35.

листы одной какой-либо группы иберийско-кавказских языков не велики исследований также и по другим родственным группам.

Результатом такого изучения является, в частности, нижеследующее.

Современная весьма сложная система консонантизма в различных группах иберийско-кавказских языков (как, например, дагестанских, а особенно абхазско-адыгских) получена в итоге усложнения исходной, более простой фонетической системы; путем такого усложнения в ряде этих языков сформировались новые ряды фонем: латеральные, лабиализованные, геминаты, губно-зубные спиранты и т. д.

Для исходной общей фонетической системы этих языков характерно обилие ларингально-фарингальных звуков, троечность системы смычных и парность системы спирантов. Дальнейшее усложнение этой системы коснулось главным образом переднеязычных¹.

Система вокализма иберийско-кавказских языков простая. В некоторых языках вокализм усложнился под влиянием разных фонетических процессов².

Для всех иберийско-кавказских языков характерна префиксация, хотя при образовании ряда категорий используются и суффиксы. Установлено, что суффиксация в определенных случаях, как, например, в формах падежей, личных формах глагола, окончаниях времен и т. п., вторичного происхождения.

В отношении склонения иберийско-кавказские языки ныне сильно расходятся; в ряде языков склонение имен богато представлено формами (дагестанские языки, картвельские языки), в других — система склонения простая (адыгские языки, убыхский язык) или же совершенно отсутствует (абхазский язык). Установлено, что в этом отношении исходное положение сохранилось в абхазском языке. Образование падежных форм и в других иберийско-кавказских языках — вторичное явление. В некоторых языках (как, например, аварском, андийском) сохранились формы классного склонения. Следы такого склонения прослеживаются и в картвельских языках³.

Особенностью морфологии всех иберийско-кавказских языков является наличие грамматической категории человека и вещей. В большинстве иберийско-кавказских языков категория грамматических классов является действующей; в некоторых языках (картвельских, убыхском, адыгских, лезгинском, удинском, агульском) эта категория ныне отсутствует. Установлено, что и в этих языках исторически действующими являлись грамматические категории человека и вещи. Вместе с тем установлено, что аф-

¹ См.: N. Troubetzkoу, Les consonnes latérales des langues caucasiennes septentrionales, «Bull. de la Société de linguistique de Paris», t. 23, fasc. 3, 1922; Арн. Чикобава, Отчетный доклад о работе над чарским диалектом аварского языка, «Известия Ин-та языка, истории и матер. культуры [Груз. филиала АН СССР]», IV, 1939 [на груз. языке]; И. И. Церцвадзе, Об одном латеральном согласном и соответствующим ему рефлексам в аварско-андийско-дидойской группе дагестанских языков, «Сообщения АН Груз. ССР», т. XIII, № 7, 1952; Т. Е. Гудавва, К вопросу о генезисе латерального звука *te* в языках аварско-андийско-дидойской группы и его фонетическое соответствие в картвельских языках, сб. «Иберийско-кавказское языковедение», VI, Тбилиси, 1954; К. В. Ломтадидзе, Об одной фонетической закономерности в абхазско-абазинских диалектах, «Сообщения АН Груз. ССР», т. III, № 8, 1942 и ряд других работ.

² См.: А. Шанидзе, Умлаут в сванском, сб. «Арили», Тбилиси, 1925 [на груз. языке]; В. Топурия, Еще об умлауте в сванском языке, «Известия Тифлисс. ун-та», VIII, 1928 [на груз. языке].

³ См.: Арн. Чикобава, Категория грамматических классов и генезис падежных окончаний в грузинском языке, «Сообщения АН Груз. ССР», т. VII, № 1—2, 1946; И. И. Церцвадзе, Дательный падеж с классными показателями в андуцском диалекте аварского языка, «Труды Тбил. ун-та», т. XXVII, 1946.

фиксы этой общей для всех иберийско-кавказских языков категории во всех этих языках одни и те же: для грамматической категории человека — *w*, а для класса вещей — *d*, *n*, *r*, *j*, *b* (и их фонетические разновидности)¹.

В спряжении глагола иберийско-кавказских языков наблюдаются три степени развития: исходное классное спряжение (в аварском, андийском и др.), классно-личное спряжение (в абхазском, кистинских языках, лакском и др.), личное спряжение (в картвельских языках, адыгском, убыхском языках). Углубленное изучение истории спряжения этих языков приводит к твердому убеждению, что исходным являлось классное спряжение: в классно-личном и личном спряжениях налицо последующие степени развития².

В языках с классным спряжением глагол бывает одноклассным: в непереходном глаголе выражен только класс субъекта, а в переходном — класс прямого объекта. В языках с личным спряжением имеется и полиперсональный глагол, т. е. выражаются как субъект, так и объекты. Но весьма интересно, что и в этих языках засвидетельствованы факты, характерные для классного спряжения: в переходном «полиперсональном» глаголе в определенных случаях отсутствует показатель субъекта³. В большинстве случаев личные аффиксы восходят к экспонентам грамматических классов.

Глаголы в иберийско-кавказских, как и в других, языках делятся на переходные и непереходные, но в отличие от других языков одни и те же основы глаголов в иберийско-кавказских языках могут быть и переходными, и непереходными; адыгск. непереходн. *çəfər ma-q'əta* «человек рубит (вообще)» и переходн.: *çəfəm je-q'ətə pxār* «человек рубит дрова».

Такая древнейшая лабильная конструкция постепенно замещается стабильной конструкцией, когда основа глагола становится или только переходной, или же только непереходной⁴.

Переходные глаголы во всех иберийско-кавказских языках имеют эргативную конструкцию. Эргативной конструкции в этих языках предшествовала индефинитная конструкция. Основа переходного глагола нейтральна. Иберийско-кавказские языки залогов (действительного, страдательного) не различали, не различаются они в большинстве языков и теперь. Зачатки залогов увязываются, с одной стороны, с появлением категории каузатива, а с другой стороны, с появлением категорий версии и потенциалиса⁵.

¹ См.: Арн. Чикобава, Древнейшая структура именных основ в картвельских языках, Тбилиси, 1942; Г. В. Рогова, О пережитках экспонентов грамматических классов в адыгейских языках, «Сообщения АН Груз. ССР», т. X, № 1, 1950 и др.

² См.: Арн. Чикобава, Категория грамматических классов и некоторые вопросы спряжения глаголов в грузинском языке, сб. «Иберийско-кавказское языкознание», V, Тбилиси, 1953 [на груз. языке; резюме на русск. языке]; Г. Рогова, указ. соч.

³ См.: Арн. Чикобава, Категория грамматических классов и некоторые вопросы спряжения глаголов в грузинском языке; К. В. Ломтатидзе, Бессубъектные формы абхазского переходного глагола, сб. «Иберийско-кавказское языкознание», II, Тбилиси, 1948 [на груз. языке; резюме на русск. языке] и др.

⁴ См. Арн. Чикобава, Проблема эргативной конструкции в кавказских языках: стабильный и лабильный варианты этой конструкции, «Известия Ин-та языка, истории и матер. культуры [АН Груз. ССР]», XII, 1942 [на груз. языке; резюме на франц. языке].

⁵ См.: А. С. Чикобава, Сравнительно-исторические очерки картвельских языков. II — К категории возможности (потенциалиса) в картвельских языках, «Известия Ин-та языка, истории и матер. культуры [Груз. филлала АН СССР]», I, 1937; А. Лекиашвили, Об образовании форм потенциалиса в абхазском глаголе, сб. «Иберийско-кавказское языкознание», II, Тбилиси, 1948; К. В. Ломтатидзе, Категории потенциалиса (возможности) и произвольности в абхазско-абазинском глаголе, «Сообщения АН Груз. ССР», т. XVI, № 3, 1955 и др.

Общей характерной чертой для всех иберийско-кавказских языков является эргативная конструкция переходного глагола: субъект при переходных глаголах стоит в эргативном падеже, а объект (прямой) — в именительном падеже; при непереходных глаголах субъект стоит в именительном падеже. Следовательно, субъект непереходного глагола и прямой объект переходного глагола выражены одним и тем же падежом — именительным. С такой конструкцией глагола внутренне связано отсутствие винительного падежа во всех иберийско-кавказских языках.

В абхазском языке, в котором не имеется падежных форм, наличие эргативной конструкции выявляется посредством личных аффиксов в самом глаголе¹.

Большая работа проведена по изучению основного словарного фонда иберийско-кавказских языков. Установлено, что в составе основы слов в этих языках (например, картвельских, абхазско-адыгских, индийском, даргинском и др.) был представлен обычно префикс, показатель грамматического класса человека или вещи, а также детерминативный суффикс. В дальнейшем эти аффиксы срослись с корневым элементом, и в таком виде они встречаются часто во всех иберийско-кавказских языках; ср., например, грузинск. *sa-x l-i* «дом», мегрельск. *do-x-or-i* «дворец, большой дом» и чанск. *o-x-or-i* «дом», глагол *x-or-ua* «поселиться», где корневым элементом выступает *x*, *sa* и *do* → *o* являются показателями грамматического класса вещи, а *-l* (← *al*) || *-or* — суффиксами детерминантами.

Установлено, что один и тот же корень может быть представлен как с префиксом грамматического класса, так и с детерминативным суффиксом или же с одним из них, а иногда налицо корень в чистом виде.

Ср.: грузинск. *si-s^{x1}-l-i*, занск. *zi-s^{x1}-ir-i* || ← *di-c^{x1}-ir*, сванск. *zi-s^{x1}* ← **di-s*, адыгейск. *l'ə*, абхазск. *a-ša* «кровь» и в абхазско-адыгских же языках этот же корень в слове «красный» с классным экспонентом *p* (← *b*): адыгейск. *p-l'ə*, абх. *qa-p-š* || *a-p-š*; в глагольной основе: грузинск. *de-g* (*aγ-w-de-g* — «я встал»), абхазск. *i-gə-la-up* «стоит», адыгейск. *tā-gə-n* ← **dā-gə-n* «стоять» и т. д.² В ряде случаев отсутствие указанных элементов и в первую очередь детерминативного суффикса объясняется действием интенсивного ударения.

Выделение в основах имен и отчасти глаголов окаменелых показателей грамматических классов и детерминативных суффиксов подготовило прочную основу для сравнительно-исторического изучения корневых элементов основного словарного фонда иберийско-кавказских языков. Установлено в ряде случаев единство на первый взгляд самых различных в звуковом отношении слов, как, например, грузинск. *da-t-w-i*, занск. *tu-n¹-t-i*, сванск. *de-šd-w*, адыгейск. *mə-s'ä*, абхазск. *am-š^o*, аварск. *ci*, кистинск. *či*, табасаранск. *še* и т. д.³

¹ См.: А. С. Чикобава, «Проблема эргативной конструкции...»; К. В. Ломтагидзе, Относительное местоимение в глагольных формах абхазского языка, «Сообщения АН Груз. ССР», т. III, № 4, 1942 и т. д.

² См.: И. А. Джавахашвили, Введение в историю грузинского народа, т. II — Первоначальный строй и родство грузинского и кавказских языков, Тбилиси, 1937; А. С. Чикобава, Древнейшая структура именных основ в картвельских языках; В. Т. Топуриа, Глаголы с префиксальным *-d-* в грузинском языке, «Труды Тбил. ун-та», XXV, 1943 [на груз. языке; резюме на русск. языке]; И. И. Кавтарадзе, К истории основных грамматических категорий глагола в древнегрузинском языке, Тбилиси, 1954, стр. 239, 291, 295; Г. В. Рогова, К вопросу о структуре именных основ и категорий грамматических классов в адыгских (черкесских) языках. Автореф. докт. дисс., Тбилиси, 1953 и др.}

Все больше и больше выявляется древнейший общий основной словарный фонд иберийско-кавказских языков. Чем глубже мы проникаем в историю этих языков, тем больше общих явлений обнаруживается между ними как в грамматическом строе, так и в основном словарном фонде.

В результатах, добытых путем уже проведенного исследования иберийско-кавказских языков, нашло подтверждение положение о генетической общности иберийско-кавказских языков; вещими оказались слова П. Услара, что эти языки «при изумительном разнообразии, представляют глубокие родственные черты».

Установление родства и выявление общего лингвистического материала между иберийско-кавказскими языками подготовило надежную почву для установления звуковых соответствий между ними, и, естественно, что проведенная за последние годы работа в этом направлении дает весьма ощутимые результаты.

Установлено, например, соответствие грузинск. *t*, занск. *t*, сванск. *šd*, абхазо-адыгейск. *s'//s* (*š*, *š'*):

Грузинск.	<i>da-t-w-i</i>	«медведь»
Занск.	<i>tu'n¹-t-i</i>	»
Сванск.	<i>de-šd-w</i>	»
Абхазск.	<i>a-m-š'</i>	»
Адыгейск.	<i>mə-s'š</i>	»
Грузинск. (др.-груз.)	<i>i-t-we</i> ← <i>*d-t-we</i>	«месяц, луна»
Занск.	<i>tu-t-a</i> . . . «луна, месяц», <i>tu-t-ašxa</i> . . . «понедельник» (буквально: «день луны»)	
Сванск.	<i>do-šd-ul</i> «луна, месяц», <i>de-šd-iš</i> «понедельник»	
Абхазск.	<i>a-š'a-x'a</i> «понедельник»	
Грузинск. (др.-груз.)	<i>t-el-i</i> «поросенок»	
Занск.	<i>t-u'l'</i> »	
Абхазск.	<i>a-s'a-s'</i> (<i>a-sə-s</i>) »	
Грузинск.	<i>t-ow-l-i</i> «снег»	
Занск.	<i>t-i</i> »	
Сванск.	<i>šd-uw-e</i> «снег идет» (буквально: «снежит»)	
Абхазск.	<i>a-s'a</i> (<i>a-sə</i>) «снег»	
Адыгейск.	<i>wā-sə</i> и т. д.	

Приведем также соответствия между грузинским и аварским языками:

Грузинск.	<i>qw</i> (<i>q</i>), аварск. <i>тѣ</i>
Грузинск.	<i>u-qw-ar-s</i> «любит», аварск. <i>ro-тѣ-i</i> «любовь»
Грузинск.	<i>qw-l-iw-i</i> «кость», аварск. <i>ra-тѣ-a</i> «кость»
Грузинск.	<i>si-t-qw-a</i> «слово», аварск. (ботлихск.) <i>hi-тѣ-u</i> «сказал» и т. д. ¹

С каждым годом все больше и больше выявляются новые звуковые соответствия между отдельными группами иберийско-кавказских языков.

¹ См. Т. Е. Гудава, указ. соч., стр. 61. См. также о звукосоответствиях: G. Dumézil, *Études comparatives sur les langues caucasiennes du Nord-Ouest. (Morphologie)*, Paris, 1932; Т. Е. Гудава, Д. С. Имнайтвили, Э. А. Ломтадзе, З. М. Магомедбекова, И. И. Церцвадзе, О звуковых соответствиях в языках аварско-андийско-дыкойской группы, в кн.: «III (IX) Научная сессия Ин-та языкознания... [АН Груз. ССР]. План работы и тезисы докладов», Тбилиси, 1952; Ш. Г. Гаприндашвили, О лакско-даггинских звукосоответствиях, сб. «Иберийско-кавказское языкознание», VI, Тбилиси, 1954 [на груз. языке; резюме на русск. языке]; К. В. Ломтадзе, К генезису одного ряда троечных спирантов в адыгских языках, «Доклады и сообщения [Ин-та языкознания АН СССР]», IV, М., 1953 и ряд др.

Фонетические закономерности и их особенности, выявляемые в звуковых соответствиях иберийско-кавказских языков, имеют значение не только для истории взаимоотношения различных групп иберийско-кавказских языков. Они представляют безусловный интерес и с точки зрения уточнения методики сравнительно-исторического анализа языков.

В иберийско-кавказских языках нередко звуковые соответствия охватывают только определенную группу слов, тогда как в других случаях, казалось бы, те же самые звуки дают иные соответствия. Если подобные примеры имели бы место в разных группах иберийско-кавказских языков, можно было думать, что перед нами случайные факты, не свидетельствующие о родстве сравниваемых языков. Но как быть, если подобные явления сплошь и рядом наблюдаются в ближайшерадственных языках или даже в диалектах одного и того же языка?

О каком регулярном звуковом соответствии можно говорить, например, когда звук *f* в абхазском языке встречается только в одном лишь слове: *aḥa* (→ *apa*) «тонкий». Ему в тапантском диалекте соответствует (а) *ḥa*. В других случаях фонеме *ḥ* тапантского диалекта в южноабхазских диалектах, а также ашхарском диалекте не соответствует *f* (налицо *ḥ* без изменения). В свое время нам удалось установить, что *f* абхуйско-(бзыбско)-ашхарского диалектов в слове «тонкий» ведет начало от лабиализованного звука *ḥ^o*, но вообще-то фонема *ḥ^o* не имеет соответствия в виде фонемы *f*¹. Было установлено, что корень слова «огонь» в одних и тех же диалектах абхазского языка представлен как в виде *e* → *e^o*, так и в виде *f*.

Грузинскому *ḥ* в занском и сванском языках соответствует *ḥ̄*: грузинск. *ḥma*, занск. *ḥ̄ma*, сванск. *ḥ̄mil* «брат»; в ряде случаев в сванском это *ḥ̄* перешло в *ḥ̄̇*, например: грузинск. *ḥaḥli*, занск. *ḥ̄oḥori* и сванск. *ḥ̄eḥ(w)* «собака»; но далеко не всегда сванское *ḥ̄* → *ḥ̄̇*.

Одно грузинское *s*, например, в ближайшерадственных языках имеет следующие соответствия:

- 1) грузинск. *s*, занск. *ḥ̄*, сванск. *ḥ̄*
asi *oḥi* *aḥir* «сто»
- 2) грузинск. *s*, занск. *ḥ̄*, сванск. *q(w)*
suli, suni *ḥ̄uri* *qwin* — «дух, запах» и т. д.
- 3) грузинск. *s*, занск. *s*, сванск. *ḥ̄*
te-s-aws *tasuns* *alaḥe* «сеет» и т. д.
- 4) грузинск. *s*, занск. *s*, сванск. *s*
sami *sumi* *semi* «три» и т. д.

Такое разнообразие в соответствиях наблюдается в одном и том же слове: грузинскому свистящему *s* обычно в занском соответствует шипящее *ḥ̄* (см. 1-й случай), но иногда встречается неожиданное обратное соответствие: свистящий вариант имеется в занском, тогда как в грузинском тот же корень предстает в шипящем виде; ср. грузинск. *ḥen* и занск. *sī* «ты».

Из сказанного видно, что звуковые соответствия имеются и в иберийско-кавказских языках, но они носят куда более сложный характер, чем это известно из индоевропейских языков. Все это учитывается и должно учитываться при обобщении данных о звуковых соответствиях.

¹ См. указ. статью автора «Об одной фонетической закономерности в абхазско-абазинских диалектах».

*

Выше нами был дан самый беглый обзор специфических черт грамматической структуры и основного словарного фонда иберийско-кавказских языков. Все это и ряд других достижений иберийско-кавказского языкознания должны быть учтены при исследовании родства иберийско-кавказских языков с древними языками Передней Азии и Средиземноморья.

После всего сказанного думается, ясно, что установление родства этих языков не может быть начато с поисков звуковых соответствий. Звуковые соответствия могут быть выявлены в процессе тщательного сравнительно-исторического изучения грамматического строя и структуры корнеслова вышеуказанных языков.

Как уже было отмечено, в статье Е. А. Бокарева категорически отрицалось всякое родство иберийско-кавказских языков с какими бы то ни было древними языками Передней Азии и Средиземноморья: Е. А. Бокарев считает неуместным вести какое-нибудь исследование в этом направлении. Однако другие участники дискуссии придерживаются противоположной точки зрения. Известный болгарский ученый акад. В. Георгиев хотя и отрицает родство иберийско-кавказских языков с баскским, этрусским (пелазгским) и т. д., но считает родственными с иберийско-кавказскими языками хаттский (т. е. протохеттский), хурритский, урартский. В. Георгиев пишет: «Важной задачей для кавказоведов является подробное изучение этих языков... в целях более точного установления их родственных отношений» (стр. 70). Для обозначения этих родственных языков он использует термин «хурритско-кавказский», «хаттско-кавказский», подразумевая под хаттским неиндоевропейский протохеттский (стр. 68—70). С другой стороны, В. Георгиев совершенно справедливо считает задачей кавказоведов «проверку кавказских элементов» в этрусском языке (стр. 56). Далее: относительно хеттского (неситского) акад. В. Георгиев говорит: «хеттский содержит в значительной мере хаттско-кавказский субстрат. Важной задачей кавказоведов является исследование этого субстрата» (стр. 68).

В своей дискуссионной статье и И. М. Дьяконов не может отрицать родства, например, хаттского языка с иберийско-кавказскими языками (стр. 47). Изучение генетических связей иберийско-кавказских языков с языками Древнего Востока, вопреки мнению Е. А. Бокарева, он считает важной задачей (стр. 64). И. М. Дьяконов считает сомнительным родство иберийско-кавказских языков с такими языками Передней Азии, как, например, хурритский, урартский, эламский, шумерский. Во-первых, он ставит под сомнение родство между собой отдельных древних языков Передней Азии, так как, по его мнению, указанные языки проявляют существенные расхождения; характерную же для всех этих языков эргативную конструкцию он считает не более важным аргументом для доказательства родства, чем номинативную конструкцию, которая является общей для неродственных языков (какими, например, являются индоевропейские, семитические и финно-угорские языки) (стр. 61). Однако сам И. М. Дьяконов подчеркивает ряд общих черт для всех древневосточных языков (стр. 61 и др.). Что же касается сравнения эргативной конструкции с номинативной, нам кажется, что такая аналогия неуместна. Номинативная конструкция не является специфической конструкцией, она имеется во всех языках (в частности, и в тех, в которых имеется эргативная конструкция, например, при непереходной глаголе); эргативная конструкция является специфической конструкцией переходного глагола лишь определенной группы языков.

С целью ознакомления широкой лингвистической общественности с грамматической структурой упомянутых языков И. М. Дьяконов приводит

конкретные сведения о грамматическом строе этих языков. Возьмем, к примеру, шумерский, родство которого с иберийско-кавказскими языками кажется специалистам более спорным, чем, например, хурритского или урартского. Как видно из приведенной П. М. Дьяконовым характеристики, в шумерском:

1. «Форманты присоединяются к основе по агглютинативному принципу, как суффиксально, так и в особенности префиксально» (стр. 48). Ср. аналогичные характерные явления во всех иберийско-кавказских языках.

2. «Различаются имена класса людей и класса вещей» (стр. 48). Ср. точно такое же положение и во всех иберийско-кавказских языках.

3. Падежные окончания помещаются после целой синтагмы, например, определяемого и определений (стр. 48). Ср. аналогичные факты в адыгских языках: им. падеж *una dax'a-r*, эрг. падеж *una dax'a-m* «хороший дом» и т. д.

4. Субъект непереходного глагола и объект переходного глагола особыми показателями не оформляются (стр. 49). Ср. полностью такое же положение в древнегрузинском языке, адыгских языках.

5. Наиболее сложной категорией грамматики является глагол. Спрягаемая форма глагола должна содержать по крайней мере: показатель направления (?) действия, показатель субъекта и основу глагола.

Однако, помимо этих необходимых элементов глагольной формы, в ней могут присутствовать, преимущественно в виде цепочки префиксов, показатель склонения, показатель, повторяющий отражение в предложении пространственные и некоторые другие отношения, показатель объекта действия (для переходных глаголов), показатель незавершенности (?) действия (стр. 49). Ср. аналогичную структуру глагола в иберийско-кавказских языках: в картвельских и абхазско-адыгских языках.

6. Употребление связки «быть», обычно приобретающей характер энклитики *-m*, которая спрягается как непереходные глаголы (стр. 49). Ср. аналогичное употребление связки во всех иберийско-кавказских языках.

7. «Чистая глагольная основа, повидимому, должна рассматриваться как именная основа» (стр. 49—50). Ср. историческую недифференцированность именной и глагольной основы в иберийско-кавказских языках.

8. Наличие эргативной конструкции (стр. 55). Ср. эргативную конструкцию во всех иберийско-кавказских языках (даже в абхазском языке, в котором отсутствует склонение).

9. «Типичным является... отсутствие противопоставления активного и пассивного залогов» (стр. 55). Ср. аналогичное явление в иберийско-кавказских языках и т. д.

В грамматическом строе различных неродственных языков вполне возможны совершенно случайные совпадения в отдельных грамматических явлениях, но совпадение в с е г о к о м п л е к с а я в л е н и й грамматической структуры в данном случае вряд ли может рассматриваться как простая случайность.

Так как специалистами признано родство ряда древних языков Передней Азии с иберийско-кавказскими языками, то необходимо для более углубленного изучения означенных языков и дальнейшего изучения их генетической связи учесть как современное состояние, так и историю развития иберийско-кавказских языков, с одной стороны, и древних неиндоевропейских и несемитических языков Передней Азии, с другой. А это нельзя не считать неотложным делом и специалистов по древним мертвым языкам Передней Азии, и специалистов по иберийско-кавказским языкам.

ИЗ ИСТОРИИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

П. Ю. КРАЧКОВСКИЙ

СЕМИТОЛОГИЯ В УНИВЕРСИТЕТАХ СССР *

Семитология — изучение семитских языков и народов в культурно-историческом отношении — с начала XIX в. была представлена в наших университетах, столичных и провинциальных, где вводилось преподавание восточных языков, обыкновенно только арабистикой; иногда, лишь на первых порах, делались попытки преподавания еврейского языка: так было в Харькове, в Казани и в Москве. Древнееврейский язык с XVIII в. систематически изучался в духовных академиях, но, ограниченный специфически узкой средой, не оказал сколько-нибудь значительного влияния на общее развитие нашей семитологии. Отдельные самородки, конечно, и здесь попадали иногда на широкую дорогу науки. Из этой среды вышли: первый у нас крупный ассириолог-автодидакт М. В. Никольский (1848—1917), выдающийся абиссиновед В. В. Болотов (1853—1900), знаток не только эфиопского классического языка Абиссинии, но и современного государственного — амхарского; переводчик Корана Г. С. Саблуков (1804—1880).

Планомерное преподавание семитологии было поставлено в Петербургском университете только с открытием факультета восточных языков в 1854 г. Наряду с существовавшей и раньше кафедрой арабской словесности, теперь впервые была учреждена самостоятельная кафедра «еврейской, сирийской и халдейской словесности», которую с ее открытия почти в течение полувека возглавлял и большую часть времени единолично представлял Д. А. Хвольсон (1819—1922), объединявший глубокое знание еврейской схоластической традиции с основательной школой западной гебраистики. В связи с его личными интересами преподавание строилось преимущественно под углом культурно-исторической точки зрения; лингвистика в собственном смысле играла меньшую роль. Основной упор делался на изучение памятников библейской и побиблейской талмудической литературы; изредка он затрагивал эпиграфику и палеографию. Значительное внимание уделялось также арамейским наречиям, преимущественно в соответствующих частях Библии и Талмуда, меньше — в памятниках сирийского языка, отчасти и еврейско-арабской философии, главным образом в классическом произведении М. Маймонида.

Ученик и преемник Д. А. Хвольсона П. К. Коковцов (1861—1942) еще до революции значительно расширил круг семитологических дисциплин, представленных на кафедре, создав в каждой области самостоятельную школу. Впервые он стал уделять систематическое внимание ассирийскому (аккадскому) языку, сильно углубил изучение арамейских наречий, выдвинув на первый план сирийский язык с литературой. Он широко развил занятия семитской эпиграфикой, арамейской папирологией и еврейско-арабской письменностью, особенно филологической, связанной с расцветом культуры в Испании. Он и после Великой Октябрьской социалистической

* Статья написана в августе 1947 г.

революции почти 25 лет неустанно продолжал свою работу преподавателя и руководителя; благодаря его трудам удалось сохранить непрерывность семитологической традиции даже в моменты спада интереса к ней в университетской среде. Развитие нашей науки в области общей семитологии за послереволюционный период связано со школой Коковцова, который фактически оставался во главе ее до Великой отечественной войны.

Развитие арабистики в такой же мере связано со школой В. Р. Розена, которую к 1917 г. в Петроградском университете представляли его ученики не только в сфере прямой специальности (Н. А. Медников, А. Е. Шмидт, И. Ю. Крачковский), но и в сопредельных областях, где выделялись такие крупные фигуры, как Н. Я. Марр, В. В. Бартольд и тот же П. К. Коковцов. Арабистика в университете, по традиции Розена, была представлена также преимущественно историко-культурной линией; лингвистика оставалась наиболее слабой ее стороной, и только арабская диалектология еще с 1911 г. стала находить в преподавании систематическое отражение.

Первые 15 лет после Великой Октябрьской революции университетская семитология была лишена единого организующего центра. Распыление с 1919 г. кафедр бывшего факультета восточных языков среди различных факультетов и отделений отрывало их от общей координации; преимущественный интерес к узко практическим целям вывел арабистику за пределы университета, и одно время она была здесь представлена лишь в виде элементарного вспомогательного курса для занимающихся иранистикой и тюркологией. В эти годы начал преподавать в университете талантливый, рано умерший ассириолог В. К. Шилейко (1891—1930) — ученик П. К. Коковцова и М. В. Никольского. Именно этот период 20-х годов выдвинул крупные фигуры — ассириолога А. П. Рифтина, затем исключительно широкого лингвиста-семитолога и африканиста Н. В. Юшманова, столь же широкого семитолога-ираниста и знатока еврейско-арабской письменности А. Я. Борисова, семитолога-этнографа и арабиста-диалектолога И. Н. Вишников, арабиста-литературоведа и историографа В. И. Беляева. Благодаря им и их ученикам постепенно удалось опять организовать единый центр семитологического преподавания в университете.

Таким центром явилась кафедра семито-хамитских языков, возникшая впервые в 1933 г. сначала в входившем в состав университета институте, а затем перешедшая в образованный из него филологический факультет. Кафедра впервые в нашей истории вводила систематическое преподавание ряда африканских языков, главным образом благодаря энергии Н. В. Юшманова и Д. А. Ольдерогге. Среди этих языков фигурировал никогда ранее не изучавшийся у нас в университете современный государственный язык Абиссинии — амхарский, восходящий к семитической основе. В области семитологии при пятилетнем курсе кафедра предусматривала возможность выбора трех основных специальностей — ассириологии, иврита и арабистики. Преподавание велось на лингвистической основе с обращением особого внимания на историю языка и сравнительную грамматику семитской семьи языков. Истории литературы уделялось не меньшее место, и программа ее, например, на арабском разделе была рассчитана на четырехлетний курс. Постепенно шло расширение и других областей с последовательным углублением дальнейшей специализации. Кафедра выпустила несколько серьезно подготовленных семитологов по основным представленным на ней областям, однако полное развитие кафедры было прервано блокадой Ленинграда в 1941 г. и последующей эвакуацией университета, которая не давала возможности, ввиду отсутствия соответствующих библиотек и материалов, вести планомерно семитологические занятия.

С восстановлением университетской работы в 1944 г. и с возрождением восточного факультета появилась возможность вместо одной кафедры семито-хамитской филологии организовать три самостоятельных кафедры: 1) египтологии и африканских языков, 2) арабской филологии и 3) гебраистики с ассириологией (представляющей по существу кафедру общей семитологии). Ленинградская семитология понесла особенно тяжелые утраты за время войны и в ближайшие послевоенные годы: она лишилась своего крупнейшего и старейшего представителя П. К. Коковцова (1942) и его талантливого ученика А. Я. Борисова (1942), арабиста Д. В. Семенова (1943), ассириолога А. П. Рифтина (1945), семитолога и хамитоведа Н. В. Юшманова (1946). Их утрата особенно болезненно сказывается именно в лингвистической области, и многие курсы, читанные, например, Н. В. Юшмановым, остались после его смерти не представленными. Несмотря на такие ощутительные лакуны, создание самостоятельных кафедр позволяет постепенно углубить дальнейшую специализацию, вызываемую всем ходом неуклонно дифференцирующейся науки.

На каждой кафедре, помимо основного языка, изучается дополнительный, связанный с ним или генетическим родством или историко-культурными взаимоотношениями (для арабистов, например, предоставляется выбор между древнееврейским или персидским). Первые два курса на каждом разряде носят общий характер и, кроме введения в соответствующую область, дают представление о географии страны, о древней и средневековой истории, общем развитии литературы. Главный упор направляется на изучение литературного языка в различных его памятниках. С третьего курса студентам каждого из основных разрядов предоставляется возможность частичной специализации по четырем основным областям: лингвистике, истории литературы, истории и экономике. Факультативно, при наличии желающих, присоединяется специализация по истории искусства и материальной культуры. На кафедре общей семитологии, помимо двух основных разрядов—гебраистики и ассириологии,—за последние годы, благодаря ученице П. К. Коковцова Н. В. Пигулевой, появилась возможность усилить специализацию по сирийскому языку и литературе, чем и восстановилась давняя традиция факультета восточных языков. Таким образом, в настоящее время можно считать, что четыре из пяти основных областей семитологии представлены в Ленинградском университете если и не в исчерпывающем объеме преподавания, то во всяком случае в таком размере, который дает возможность подготовки специалистов по всем четырем областям.

Пробел чувствуется в сфере южносемитских языков (в пятой области семитологии), в частности, не преподается классический язык Абиссинии, известный в науке под названием эфиопского или ге'еза. Последним пропагандистом его в наших университетских программах был Б. А. Тураев (ум. в 1920 г.); после него только с середины 30-х годов наша связь с абиссиноведением вновь несколько восстановлена преподаванием одного из современных семитских языков Абиссинии, амхарского, которое было введено Н. В. Юшмановым на разделе африканских языков и продолжается одной из его учениц Т. Л. Тютрюмовой. Для охвата всей полноты семитологических дисциплин было бы желательным постепенно восстановить изучение и столь существенной в научном отношении области, как эфиопский язык и литература. Оживление наших культурных связей с Абиссинией еще более усиливает обязанность в этом направлении, а чрезвычайно важные открытия в Южной Аравии за последние годы и быстрый в связи с этим рост новой самостоятельной области — сабестики, для которой эфиопский язык необходим, настойчиво говорят о том же.

Помимо Ленинградского университета, семитология представлена только

в некоторых других вузах и то лишь преимущественно арабским языком, за единственным исключением, о котором будет речь ниже. Но и арабский язык сохранился далеко не во всех университетах, куда он входил в XIX—XX вв. Он отсутствует в Харьковском университете, в котором впервые в России началось преподавание восточных языков еще в 1805 г., отсутствует он и в Казани, где с 1808 г. работал основатель нашей научной арабистики Х. Д. Френ. Между тем совершенно ясно, какое значение он имеет для изучения истории и культуры средневожского края не только как язык многочисленных источников, но и по всей связи с развитием местной литературы и образованности за последние века. В Московском университете, где в первой половине XIX в. действовал арабист и иранист А. В. Болдырев, а во второй — его ученик П. Я. Петров, только в самое последнее время с организацией кафедр персидского и турецкого языка на филологическом и историческом факультетах возникло и самостоятельное преподавание арабского языка, возглавляемое семитологом-лингвистом Б. М. Гранде. В столице Украины Киеве университетское преподавание поддерживалось лишь факультативно курсом арабского языка для специалистов по древней истории СССР, который велся заслуженным тружеником Т. Г. Кезма — одним из представителей арабско-русских культурных деятелей. Неясным остается, в полной ли мере использована та востоковедная традиция, которая существовала до войны во Львовском университете, где по линии арабистических штудий существовали некоторые специально подобранные книжные и рукописные фонды. Следовало бы, наконец, восстановить ту давнюю семитологическую традицию, которая полтора века культивировалась в университете Тарту.

Несколько шире в отдельные периоды после 1917 г. ставилась попытка университетского преподавания арабского языка в наших братских республиках, связанных своим прошлым с развитием арабской культуры, — в Бакинском и Ташкентском университетах. Основанные преимущественно на использовании местной схоластической традиции, эти попытки редко были длительными и до сих пор не дали существенных результатов.

Единственным центром в СССР, кроме Ленинграда, где постепенно создавалась своя школа семитологии с углубленным вниманием к арабскому языку, оказался Тбилиси. В основании Тбилисского университета в 1918 г. деятельное участие принимали некоторые питомцы Петербургского факультета восточных языков, с самого начала проводившие идею тесной связи востоковедных дисциплин со всей историей и культурой Грузии. Один из основателей университета А. Г. Шанидзе, получивший в Петербурге, кроме углубления своей прямой специальности — грузинской лингвистики, основательную подготовку в арабистике, вел с первых же лет в Тбилисском университете систематический факультативный курс арабского языка, имея в виду постепенно подготовить возможность специализации по нему и вообще по семитологии. Одним из его учеников по университету явился Г. В. Церетели, который в 1928 г. был командирован на ряд лет в Ленинград для углубления своей подготовки специально в семитологии. Здесь он имел возможность в полной мере пройти школу общей семитологии у П. К. Коковцова, арабской лингвистики и диалектологии — у И. Ю. Крачковского и Н. В. Юшманова. Существовавшая в Тбилисском университете с 1933 г. кафедра кавказских и восточных языков благодаря его энергии уже с 1934 г. стала развивать преподавание различных семитологических дисциплин. В 1942 г. семитология получила самостоятельную кафедру, которая за последние годы уже выпустила некоторое количество молодых кадров — учеников Г. В. Церетели — доцентов и ассистентов, обеспечивающих преподавание различных отраслей семитологии.

В основе преподавания лежит арабский язык, как имеющий наиболь-

шее научное и практическое значение для Грузии. На этой базе строится специальное изучение клинописи — ассирийской и халдской, тесно связанных с древней историей Грузии, еврейского языка, важного при исследовании древнегрузинской литературы, староарамейской письменности, роль которой для Грузии особенно повысилась благодаря последним археологическим открытиям, наконец, сирийского языка, не только реально важного для некоторых памятников грузинской литературы, но и представленного в Грузии живыми носителями его в лице обитателей нескольких поселений урмийских сирийцев. Все эти специальные области выдвинули отдельных исследователей, труды которых показывают здоровое понимание общенаучных и местных задач семитологии, как арабист А. С. Лекиашвили, сиролог К. Г. Церетели (однофамилец основателя школы), урартовед Г. А. Меликишвили, не говоря о представителях более молодого поколения, среди которых обнаруживается интерес и к новоязычной литературе, и к арабской литературе на Северном Кавказе.

В 1946 г. на университетской конференции в Тбилиси Г. В. Церетели прочитал доклад «Семитские языки и их значение для изучения истории грузинской культуры», опубликованный в особой серии трудов университета. В нем автор охарактеризовал ту роль, которую играют для разрешения ряда вопросов истории грузинской культуры основные отделы семитологии — изучение ассирио-вавилонского, древнееврейского, арамейского и арабского языков. В связи с этой характеристикой им формулированы и главнейшие задачи, которые стоят перед советскими семитологами, изучающими семитские языки в свете их связей с языками и культурой Кавказа, в частности с грузинским. Статья дает не только схему, осуществление которой предстоит в будущем, но и подводит значительный итог уже выполненной работе, как в области исследовательской, так и преподавательской, планомерно выдвинувшей молодые силы.

Пример Тбилисского университета наглядно показывает, как углубленное внимание к истории местной культуры тесно связывается с отдельными областями семитологии, для должного овладения которыми необходима основательная общесемитологическая база. От такого внимания к местным интересам семитологии несомненно выигрывает и общее ее развитие. Полезно напомнить, что благодаря трудам Г. В. Церетели в значительной мере стало возможным исследование такой специфической, совершенно новой и такой крайне важной области, как диалекты среднеазиатских арабов; для их лингвистического анализа очень благоприятным местом оказалась лаборатория экспериментальной фонетики университета.

Пример Тбилисского университета позволяет перейти и к некоторым выводам относительно дальнейшего развития нашей семитологии в университетах, современное состояние которой нельзя признать вполне удовлетворительным. Даже относительно арабского языка, практическая потребность в котором после восстановления наших непосредственных связей с арабскими странами самоочевидна, делается слишком мало. Если необходимость практического ознакомления с ним в известной мере удовлетворяется различными ведомственными институтами и курсами, то внимание к литературе и другим сторонам современной арабской культуры, за исключением Ленинградского и Тбилисского университетов, нигде не проявляется. Столь же недостаточно отражено у нас в университетском преподавании изучение роли арабов в истории мировой культуры. Кроме двух названных университетов, только в Московском, благодаря его сильной медиэвистской традиции, сохраняется интерес к указанным проблемам. Очень слабо развита у нас, наконец, разработка арабских материалов, связанных с вопросами истории местного края и местной культуры. Примеру Тбилисского университета в этом направлении должны бы последовать не только

Баку и Ереван, но в не меньшей мере Казань и Ташкент. Правильное сочетание местных задач с изучением общих вопросов арабской культуры позволило бы в каждом из таких центров создать индивидуальный очаг, питающий ее местными материалами, который не повторял бы шаблонно других. Наша арабистика, кроме углубленного изучения стоящих перед ней задач, должна распространяться вширь по всей стране.

В противоположность арабистике, которая настоятельно требует расширения сети своих кафедр по различным университетам, общая семитология, особенно в полном составе, может быть сосредоточена в немногих, основных центрах. Она еще более, чем арабистика, нуждается в окружении полного цикла востоковедных и даже не востоковедных дисциплин. Разные ее области тесно связаны с дисциплинами, исследующими Древний Восток, с древне- и среднеиранской филологией, частично с хамитскими и африканскими языками, с изучением иранской, турецкой культуры, с исследованием христианского Востока, с византиеведением. Ясно, что такое полное сочетание, при малом количестве специалистов, возможно лишь в одном-двух крупнейших центрах страны. Это не исключает, однако, желательности того, чтобы отдельные семитологические кафедры, как показал пример Тбилисского университета, приобретали жизненное значение и реальную будущность в других университетах. В первую очередь это может быть сказано об ассиро-вавилонской клинописи, важность которой для истории всего Кавказа в древности чрезвычайно повысилась от последних археологических находок и знакомство с которой жизненно необходимо для всех кавказских университетов.

В такой же мере желательны в различных университетах кафедры древнееврейского языка, не только как одной из основных баз общей семитологии, но и как необходимого орудия для понимания культурной истории человечества в древности и в средние века, отчасти и в новое время, о чем говорит его широкое применение в современной Палестине. При учете специфических условий каждого центра соответствующая кафедра могла бы получить свою собственную, неповторяющуюся физиономию. Университет в Ереване мог бы использовать большое в настоящее время количество лиц из местного населения, для которых арабский язык не только является почти родным, но на котором они получили университетское образование; там следовало бы усилить преподавание на соответствующих факультетах, уделив особое внимание новой арабской литературе и диалектологии. Бакинский университет мог бы стать естественным центром изучения, между прочим, арабско-кавказской литературы последних веков, строя свою работу по этой линии в координации с Дагестанским филиалом Академии наук СССР.

При естественном и преимущественном внимании к арабистике вся история нашей науки и нашего востоковедения настойчиво подтверждает, что семитология в университетах не может ограничиваться одной арабистикой, тем более понимаемой узко практически. Необходимо углубление всех других областей с возможно полным охватом их в Ленинградском университете, где самостоятельная кафедра общей семитологии имеет уже почти вековую давность. В такой же мере желательно создание отдельных семитологических кафедр в других университетах: опыт Тбилисского университета показал, насколько успешны могут быть результаты при обдуманной и планомерно руководимой в этом направлении работе.

В этом опыте мы можем усмотреть частично воплощение идей, которые высказывал основатель новой школы русского востоковедения наш учитель В. Р. Розен, когда еще в 90-х годах он писал о восточном факультете и восточных кафедрах.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

3. ШТИБЕР

ТЕОРИЯ ФОНЕМ И. А. БОДУЭНА ДЕ КУРТЕНЭ
В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ¹

И. А. Бодуэн де Куртенэ был поистине великим ученым, который с увлечением занимался не только исследованием частных вопросов, но и всегда стремился к решению наиболее основных проблем общего языкознания. В его огромном наследии многое уже потеряло свою актуальность, но очень многое стало прочным достоянием всех последующих ученых. В области полонистики достаточно указать на закон о возмездительном удлинении гласных, а в области славянского языкознания — на «бодуэновскую» палатализацию задненёбных. До сих пор не потеряли своего значения мысли Бодуэна о действии аналогии, хотя они опираются только на польский материал. Весьма актуальны для настоящего времени и результаты его рассуждений на тему «звуковые законы». Однако в современной мировой науке Бодуэн де Куртенэ известен прежде всего как создатель науки о фонеме.

Необходимо сразу же подчеркнуть, что Бодуэн не является творцом фонологии в современном значении этого слова. Он ее зачинатель, Бодуэн де Куртенэ высказал такие мысли, которые в конечном результате должны были привести к современным теориям фонем.

Бодуэн де Куртенэ принадлежал к своей эпохе, и только на фоне этой эпохи можно его понять и оценить. Подобно современным ему «младограмматикам», которых он, однако, во многих отношениях превосходил, Бодуэн де Куртенэ не понимал достаточно ясно того, что язык есть прежде всего явление общественное и что его можно рассматривать если и не единственно, то в первую очередь в аспекте его коммуникативной функции. Для Бодуэна польский язык или русский — это чистые фикции; реально для него существуют только «языки» отдельных поляков, русских и т. д. По его мнению, языкознание относится к наукам психологическим; сущностью языкознания является исследование представлений, сохраняющихся в индивидуальном сознании людей.

Этот бодуэновский психологизм, неприемлемый с нашей современной точки зрения, несомненно представлял собою прогрессивное явление по сравнению с господствовавшими до Бодуэна представлениями о языке как об организме, который живет и развивается так же или почти так же, как организм животный или растительный. Необходимо помнить, что такие представления не совсем изжиты в Польше даже по сегодняшний день. Изучение родства славянских языков методами, принятыми в биологии,

¹ Доклад, прочитанный на заседании I Отдела Польской Академии наук, посвященном 25-й годовщине со дня смерти И. А. Бодуэна де Куртенэ.

осуществлялось у нас еще во второй четверти XX в. Правда, применял эти методы антрополог, однако выдающиеся языковеды говорили об этих попытках вполне серьезно.

Бодуэн всегда рассматривал язык как продукт деятельности человека, и в этом состоит прогрессивность его взглядов. Он понимал, что язык выполняет общественную функцию, однако не смог сделать из этого положения надлежащих выводов и постоянно возвращался на ошибочный путь теории об индивидуальных «языках».

В соответствии со своими взглядами Бодуэн разделял фонетику на «антропофонетику» и «психофонетику». Первая занимается вопросами физиологии и физики звуков человеческой речи, изучением ее артикуляционной и акустической сторон; вторая, — по мнению Бодуэна де Куртенэ, имеющая гораздо более важное значение, — изучает представления, связанные с этими звуками. Бодуэновская «фонема» — это «цельное, неделимое в языковом отношении представление из области антропофонии, ... возникшее в душе путем психологического слияния впечатлений, получаемых от произношения одного и того же звука». Недостаточно и не во всех случаях Бодуэн де Куртенэ указывает на связь фонемы со значением комплекса, частью которого является фонема.

Как известно, большой заслугой Бодуэна является разработка теории фонетических чередований. Однако для будущей науки о фонеме, может быть, наиболее важным было введение — в рамках этой теории — понятия дивергентов. Бодуэновские дивергенты — это соответствующие одной и той же фонеме (т. е. языковому представлению) довольно различные звуки, качество которых зависит от позиции в слове. «Психологически целостное» *r* по-разному звучит в польском *rak* и в польском *wiatr* (в последнем случае — это глухой согласный). В настоящее время мы должны это понимать иначе, тем не менее понятие дивергентов сохранилось в современном языкознании независимо от того, как мы их сейчас называем.

Следствием психологических установок Бодуэна де Куртенэ было то, что он нередко усматривал в одном и том же звуке эквивалент двух разных фонем. Так, например, в конечном *s* в одном случае он видел эквивалент фонемы *s* (например, в польском *nos*), а в другом случае — эквивалент фонемы *z* (например, в польском *vis*, орфогр. *wóź*), в зависимости от того, выступает ли в родственных формах *s* (например, род. ед. *nosa*) или *z* (например, род. ед. *wozu*). Мало интересуясь коммуникативной функцией языка, Бодуэн не принимал во внимание тот очевидный факт, что безотносительно к тому, что представляет себе говорящий, принося звук *s* (эти представления, впрочем, нельзя определить научно), слушающий всегда услышит *s*, а не *z*.

Большой шаг вперед в области науки о фонеме сделал ученик Бодуэна, русский ученый Л. В. Щерба. В предреволюционный период он еще не освободился окончательно от бодуэновского психологизма, однако, как справедливо подчеркивает Ахманова (см. ниже), психологической является скорее форма его высказываний, чем содержание. Гораздо сильнее, чем его учитель, Щерба подчеркивает функцию фонемы, т. е. ее связь со значением слова, в котором выступает фонема. По Щербе, «... фонемой называется кратчайшее общее фонетическое представление данного языка, способное ассоциироваться со смысловыми представлениями и дифференцировать слова и могущее быть выделяемо в речи без искажения фонетического состава слова» (Л. В. Щерба, Русские гласные в качественном и количественном отношении, СПб., 1912, стр. 14). Необходимо помнить также, что Щерба едва ли не первый последовательно применил понятие фонемы в диалектологических исследованиях в своей очень интересной работе «Восточнолужицкое наречие» (1915), к сожалению, совершенно

недоступной в Польше. После Великой Октябрьской революции в своей прехосудной «Фонетике французского языка» (1-ое изд., 1937 г.) Щерба окончательно порывает с психологизмом. Фонема для него теперь уже не представление, а звуковой тип. Такие типы, однако, устанавливаются не только на основании звукового сходства, но также и на основании идентичности функций как средства коммуникации в обществе определенных, близких между собою звуков данного языка. Отношение фонемы к ее оттенку Щерба теперь понимает как отношение общего к частному. Хотя у Щербы мы и находим еще положения, которые могут стать предметом дискуссии, тем не менее его понимание фонемы можно весьма продуктивно пользоваться в современном материалистическом языкознании.

За пределами Советского Союза идеи Бодуэна развивала главным образом так называемая пражская школа во главе с Н. С. Трубецким. Важные заслуги в области теории фонем и в области применения этой теории к частным проблемам бесспорно принадлежат самому Трубецкому. Гораздо большее число оговорок вызывают положения его единомышленников и прежде всего Якобсона. Сам Трубецкой в 1925 г. еще целиком оставался на позициях бодуэновского психологизма, о чем свидетельствует хотя бы его статья о носовых гласных в полабском языке, опубликованная в том же году¹. Причиной изменения его взглядов было, повидимому, сопоставление бодуэновских идей со взглядами Ф. де Соссюра, возможно, также и ознакомление с работами Щербы. Вслед за Соссюром Трубецкой различает две «стороны» языка: общественную (*langue*) и индивидуальную (*parole*). Хотя языковедческую теорию Соссюра и можно критиковать, тем не менее разграничение им общественного и индивидуального в языке было шагом вперед как по сравнению с младограмматиками, так и по сравнению с Бодуэном, который отчетливо различал только индивидуальную сторону языка. Трубецкой с полным основанием рассматривает фонему в свете коммуникативной функции языка. Для него существенными чертами фонем являются такие, изменение которых влечет за собой изменение значений целого слова (например, звонкость польского *d* в слове *dom*; замена звонкого глухим дает совсем другое слово — *tom*). Усматривая в каждом языке систему, Трубецкой соединяет фонемы отдельных языков в системы, в пределах которых каждая часть известным способом соотносится с остальными.

Основной ошибкой Трубецкого была слишком резкая тенденция отделить фонетику (т. е. науку об артикуляционных и акустических особенностях звуков человеческой речи независимо от их коммуникативной функции) от фонологии, которая рассматривает только «существенные» черты фонем, имеющие заметное влияние на их функции. По счастью, в этом отделении фонетики от фонологии Трубецкой не был последовательным и в главном своем труде «Grundzüge der Phonologie»² часто опирается на конкретные данные из области экспериментальной фонетики. Таким образом, он никогда не терял контакта с материальной стороной человеческой речи. Тем не менее взгляды Трубецкого требуют поправки. Можно и нужно отличать фонетику от фонологии, но не следует их разрывать. Другими словами, необходимо изучать функции звуков речи, но при этом нужно опираться на весьма конкретные и подробные данные о возникновении звуков и об их акустических особенностях. Мы не должны проходить мимо какой бы то ни было «несущественной» черты хотя бы потому, что в процессе исторического развития очень часто несущественные черты фонем превращаются в существенные.

¹ N. Troubetzkoy, Les voyelles nasales des langues lécrites, «Revue des études slaves», t. V, fasc. 1 et 2, 1925.

² TCLP, VII, 1939.

Итак, фонология, оторванная от фонетической базы, не имеет прав на существование. Однако необходимо решительно подчеркнуть, что и «чистая» фонетика, изучающая звуки человеческой речи в полном отрыве от их функций, была бы никому не нужной наукой. Обе эти стороны науки о звуках человеческой речи, хотя и различные, должны быть теснейшим образом увязаны друг с другом.

Взгляды пражской школы пытался перенести в область литературоведения пражский теоретик литературы Мукаржовский. Это было недоразумением; аналогия между структурой языка и структурой художественного произведения весьма сомнительна. Заслуженная неудача теории Мукаржовского в области литературоведения не может скомпрометировать языковедческую «пражскую школу» в целом, которая, наряду с очевидными ошибками, имела также и позитивные достижения.

Взгляды Трубецкого распространились, как известно, во всей Западной Европе и даже в Америке. Делались и делаются попытки развивать эти взгляды, однако результаты этих попыток ничтожны.

Если Трубецкой скорее в теории, чем на практике отрывал фонетику от фонологии, то решительный шаг в область чистой абстракции сделал датский ученый Л. Ельмслев. Для Ельмслева в языке существуют только отношения, материальная сторона совершенно его не интересует. Он создает какую-то странную науку, совершенно оторванную от какой бы то ни было действительности. Если те, кто сочувствует Ельмслеву, и написали ценные работы, то, между прочим, потому, что никогда не были последовательными проводниками его идей.

В Советском Союзе правильные взгляды Щербы не могли найти надлежащего признания во время господства марристов. Тем не менее интерес к проблемам фонологии был здесь всегда очень большим. Когда после появления статей Сталина по языкознанию редакция «Известий Отделения литературы и языка АН СССР» открыла дискуссию по этому вопросу, то многие пожелали принять в ней участие. Во время дискуссии между советскими учеными развернулся широкий и свободный обмен мнениями по вопросам, имеющим огромное значение для языкознания. Дискуссию начал С. К. Шаумян, который атаковал Трубецкого довольно неожиданным образом: он обвинил Трубецкого в том, что тот недостаточно разграничивает фонетику и фонологию. Такая точка зрения должна была вызвать живейшую реакцию со стороны других участников дискуссии, однако в результате в дискуссии непропорционально много внимания было уделено борьбе со взглядами Шаумяна. Вероятно, это и было одной из причин того, что дискуссия не дала ощутимых результатов. Однако независимо от этого самый факт, что многие советские ученые высказались по такому важному вопросу, следует расценивать весьма положительно.

Отсутствие какого-либо обобщения взглядов советских ученых по вопросам фонологии после дискуссии в «Известиях» побудило Московский университет издать брошюру на ту же тему¹; эта брошюра была предназначена как для студентов, так и для преподавателей. Автор этой брошюры придерживается фонологической точки зрения, близкой к точке зрения Щербы, однако с некоторыми поправками. В начале своей работы Ахманова справедливо подчеркивает и довольно подробно освещает роль Бодуэна де Куртене как зачинателя фонологии.

Дискуссия на фонологические темы была проведена также в Праге в 1953 г. Открыли ее доклады проф. К. Горалека и д-ра С. Пеяра. В ходе дискуссии критиковали положения пражской школы, но вместе с тем участники отмечали и ее позитивные достижения.

¹ О. С. А х м а н о в а, Фонология, М., 1954.

После первой мировой войны в Польше бодуэновские идеи развивал С. Шобер. Он придавал большое значение функции звуков речи («функциональной фонетике»), что является важным шагом вперед по отношению к Бодуэну. Однако Шобер не смог полностью освободиться от бодуэновского психологизма, который еще и в настоящее время имеет у нас своих сторонников, может быть, не всегда отчетливо это сознающих. В учении Бодуэна находится также источник положения проф. В. Дорошевского о функционально активных и функционально пассивных звуках. Взгляды Е. Куриловича, несомненно, хотя и не непосредственно, вытекающие из теории Бодуэна, требуют отдельного широкого обсуждения.

В настоящее время, объективно оценивая большие заслуги Бодуэна де Куртенэ в области общего языкознания, мы относимся к ним с уважением. И хотя жизнь идет вперед и концепции даже очень больших умов должны быть пересмотрены, тем не менее при рассмотрении сегодня, например, проблемы фонемы мы не должны ни на минуту забывать, что эту проблему, как и много других основных проблем языкознания, впервые поставил и разработал именно этот великий ученый.

Перевел *И. Оссовецкий*

Т. Г. СТРОГАНОВА

ОДНА ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЮЖНОРУССКОГО ВОКАЛИЗМА

Материалы «Атласа русских народных говоров юго-западных областей (Курск—Орел)»¹ свидетельствуют о широком распространении в южновеликорусских говорах всех тех типов предударного вокализма после мягких согласных, которые были описаны уже к началу 20-х годов нашего столетия. В то же время детальное и равномерное обследование говоров на широкой территории их распространения показало, что те сведения о предударном южнорусском вокализме, которыми располагали диалектологи до последнего времени, были в большой степени неполными и не всегда точными.

Опираясь на материалы, собранные для атласа, и составленные на их основе карты, можно сказать, что диссимилятивное яканье, широко распространенное на картографированной территории, представляет собой типичную для этих говоров систему предударного вокализма после мягких согласных. На территории юго-западных областей наблюдатели широко отмечают все известные диалектологии типы диссимилятивного яканья. Однако следует отметить, что в настоящее время довольно редко встречаются говоры, в которых система была бы выражена последовательно без всяких отклонений. В отдельных случаях старую систему диссимилятивного яканья удается обнаружить лишь в результате тщательного анализа материала.

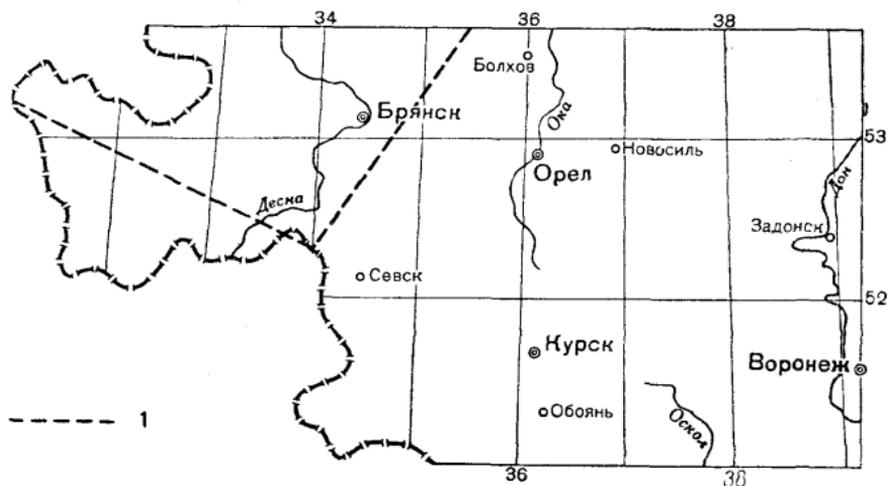
Материалы, собранные для Атласа, показывают, с другой стороны, что территория, занимаемая говорами, у которых предударный вокализм после твердых согласных характеризуется диссимилятивным аканьем, значительно шире, чем это было известно до сих пор. Эти данные таковы, что они позволяют включить диссимилятивное аканье, как и диссимилятивное яканье, в число специфических особенностей южновеликорусских говоров, свойственных значительной их части. На двух приведенных ниже картах показаны границы говоров с диссимилятивным аканьем. Первая карта взята нами из работы проф. И. Г. Голанова², опубликованной в 1914 г. В более поздней работе³ И. Г. Голанов включает в область сплошного распространения диссимилятивного аканья несколько прилежащих уездов Тверской и Смоленской губерний, что лишь незначительно расширяло территорию распространения диссимилятивного аканья. Кроме того, он указывает на несколько селений с диссимилятивным аканьем в Орловской и Курской губерниях.

¹ Работа над данным атласом ведется в настоящее время в секторе истории русского языка и диалектологии Института языкознания АН СССР.

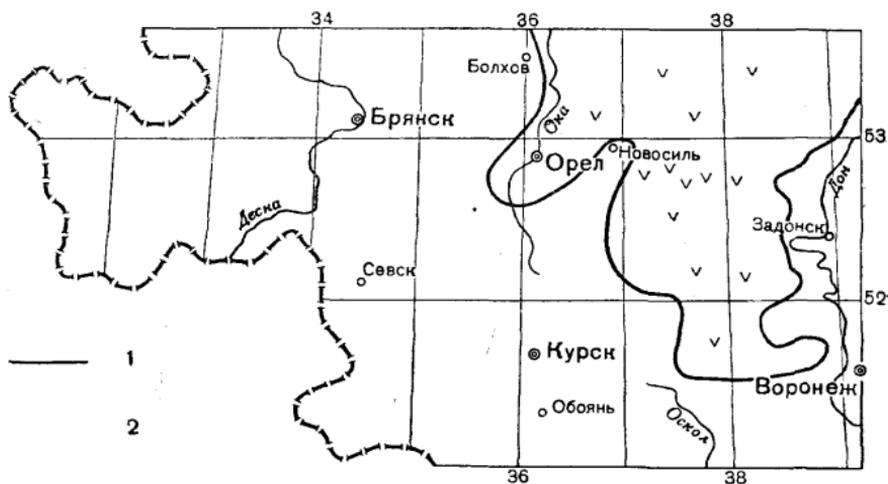
² См. И. Г о л а н о в, О диссимилятивном аканье, «Труды Моск. диалектологич. комиссии», выш. 3, Варшава, 1914.

³ См. е г о ж е, Несколько новых данных к вопросу о географическом распространении диссимилятивного аканья, сб. ОРЯС, т. СІ, № 3, Л., 1928.

Вторая карта составлена на основании материалов, собранных для «Атласа русских народных говоров юго-западных областей». Она свидетельствует о том, что территория почти сплошного распространения дис-



Карта № 1. 1 — граница сплошного распространения диссимлятивного аканья



Карта № 2. 1 — граница говоров с преобладанием диссимлятивного аканья; 2 — единичные говоры с диссимлятивным аканьем

симлятивного аканья проходит значительно дальше на восток и юг, а если учесть и ту территорию, где говоры с диссимлятивным аканьем встречаются спорадически, то окажется, что говоры с недиссимлятивным аканьем наблюдаются только на северо-востоке территории, картографированной в Атласе. Кроме того, следует иметь в виду, что границы распространения диссимлятивного аканья в юго-восточном направлении могут быть окончательно выяснены только после того, как будут собраны и картографированы материалы юго-восточных областей, так как

есть основание предполагать, что диссимилятивное аканье встречается, например, и в южных районах Воронежской области.

Приведенная карта дает возможность сделать и еще одно заключение, а именно, что территория распространения диссимилятивного аканья, в основном, совпадает и с территорией распространения диссимилятивных типов яканья, в связи с чем есть основание считать, что диссимилятивный принцип распространяется в равной мере как на положение после мягких, так и на положение после твердых согласных. Отклонения от этого параллелизма очень незначительны и наблюдаются обычно в тех говорах, которые в большей степени подвергаются воздействию литературного языка. В тех же говорах, где система диссимилятивного яканья выдержана, обычно оказывается возможным установить и систему диссимилятивного аканья.

Чем же можно объяснить, что наблюдатели не отмечали диссимилятивного аканья во многих говорах, в частности в ряде случаев и в тех, где ранее была отмечена система диссимилятивного яканья? Очевидно, это можно объяснить двумя причинами. Качество звука в первом предударном слоге после твердого согласного при диссимилятивном аканье в южновеликорусских говорах может быть различным: в положении перед ударным *a* там обычно произносится звуки пониженно среднего подъема типа *a^b*, *ɛ^a*. Благодаря акустической близости этих звуков к *a* они не всегда воспринимаются наблюдателями как признаки диссимилятивного аканья. Кроме того, следует учитывать, что в современных говорах система диссимилятивного аканья обычно сосуществует на современном уровне их развития с недиссимилятивным. В подавляющем большинстве своем южновеликорусские говоры с диссимилятивным аканьем переживают процесс утраты его. Это ведет к тому, что наряду с звучанием *ɛ*, *ɛ^a*, *a^b* (перед ударным *a*) постоянно произносятся и *a*. При этом в количественном отношении случай с *a* могут преобладать, что и может приводить в ряде случаев к заключению об отсутствии диссимилятивного аканья.

Н. Ван-Вейк объясняет большее географическое распространение яканья по сравнению с аканьем тем, что положение после мягких согласных более удобно для реализации принципа диссимиляции, так как нюансы звуков от *a* до *e* после мягких согласных легче могут быть использованы для дифференцирования, чем от *a* до *ɛ^a* после твердых согласных¹.

Как известно, на территории, занимаемой южновеликорусскими говорами, отмечены различные типы диссимилятивного яканья: обоянский, цигровский, суджанский, донской и жиздринский. При этом после твердых согласных в литературе был отмечен до настоящего времени только один тип диссимилятивного аканья, при котором условия реализации диссимилятивного принципа тождественны жиздринскому типу яканья, а именно произносятся параллельно: *с'истр́а*, *с'астрб́й*, *с'астр́ь*, *с'астр́у*, *с'астр'э́*... также и *вэд́а*, *вадб́й*, *вад́ь*, *вад'э́*. Правда, в литературе были указания на некоторые разновидности диссимилятивного аканья, но эти указания не связывались с различными вариантами в осуществлении принципа диссимилятивности, а касались того, какой именно гласный реально звучит в первом предударном слоге после твердого согласного²: произносятся ли в этом положении звуки типа *ы* (*ɨ^a*, *ы^b*), типа *ə* (*ɛ^a*, *ɛ^b*), или звуки с заметной лабиализацией типа *о* или *у* (*ɔ^a*, *ɔ^b*, *ɔ^ʷ*), или, наконец, звуки пониженно среднего образования (*a^b*, *ɛ^a*). Заметим попутно, что в говорах, где характер диссимиляции гласных неверхнего подъема в положении после твердых и после мягких сог-

¹ N. van Wijk, Zur Entwicklungsgeschichte des Akanje und Iakanje, «Slavia», XIII, seš. 4, 1934—1935, стр. 658—659.

² См. об этом Р. И. Аванесов, Очерки русской диалектологии, ч. I, М., 1949, §§ 47—51 (стр. 65—67).

ласных одинаков (т. е. в тех говорах, где наблюдается жиздринский тип яканья), наиболее распространено произношение перед ударенным *a* звуков типа *ы*.

Однако новые диалектные данные позволяют выявить и иную разновидность диссимилятивного аканья, в той же мере основанную на разном осуществлении принципа диссимиляции, как и различные типы яканья, в связи с чем можно, как кажется, высказать предположение о существовании нескольких типов диссимилятивного аканья. Эти типы намечаются в зависимости от разного воздействия на гласные первого предударного слога после твердых согласных различных ударяемых гласных помимо *a*. Речь идет о появлении *э* не только перед *a*, но и перед *o* и *e* определенного происхождения.

Правда, при рассмотрении подобного вопроса современный наблюдатель оказывается в весьма невыгодном положении, так как имеет дело с явлениями, уже подвергшимися в значительной степени нивелировке. Тем не менее по имеющимся материалам с полной очевидностью оказывается возможным проследить в системе диссимилятивного аканья связь не только с жиздринским типом яканья, но и с обоянским. При этом важно подчеркнуть полную определенность и надежность материалов, позволяющих нам говорить о существовании особого типа диссимилятивного аканья, полностью соответствующего обоянскому типу яканья и встречающегося в говорах с этим последним типом яканья.

Ниже мы подвергаем анализу материал, иллюстрирующий эти соотношения и наличие определенного типа диссимилятивного аканья; он был собран летом 1953 г. (Т. Строганова, М. Преображенская, Б. Шварцкопф) и летом 1954 г. (Т. Строганова, И. Кузьмина) в 16 населенных пунктах Белгородской и Воронежской областей.

Первоначально соответствующий материал оказался в нашем распоряжении в результате изучения говоров селений соседних между собой районов Курской области¹: с. Теплый колодезь (Старо-Оскольский р-н), с. Прилены (Чернавский р-н), с. Оскольское и с. Осколец (Боброво-Дворский р-н).

Было замечено, что при наличии во всех этих селениях системы обоянского яканья после твердых согласных произношение редуцированного *э* встречается не только перед ударенным *a* (в этом случае данный звук слышался почти постоянно), но также в некоторых случаях перед ударенными *o*, *e*.

Необходимо отметить, что этот первоначальный вывод был сделан на основе небольшого количества наблюдений, так как исследователи не осознавали еще необходимости собрать достаточное количество примеров на произношение гласных перед ударенными *o* и *e* разного происхождения (сказывался навывк при изучении диссимилятивного аканья обращать внимание только на предударный слог перед ударенным *a*). Примеры с *э* перед *o* и *e* беспорядочно чередовались, на первый взгляд, с примерами, где перед *o* и *e* отражался звук *a* полного образования. При этом появление *э* или *a* перед *o*, *e*, казалось, не отражало определенной системы вокализма, а могло быть связано с колебанием между диссимилятивным и недиссимилятивным аканьем, обычным в современных говорах.

Однако в ходе дальнейшей работы над этим небольшим по объему материалом оказалось возможным допустить определенную закономерность в появлении *э* или *a* перед ударенными *o*, *e* в зависимости от качества самих этих звуков под ударением, а именно ту же закономерность, на основании

¹ С 1954 г. эти районы вошли в состав вновь образованной Белгородской области.

которой после мягких согласных перед этими же ударенными гласными отмечалось произношение звуков *и* или *а*.

В частности, было замечено, что перед *о*, не имевшим исторически восходящего ударения, и *о* из *ъ* (и из *е*, *ь*) встречается произношение *ъ*: *бъль'ной* (муж. род), *бъль'бка*, *прибъль'ной*¹ (муж. род), *стбъльбч'ик*, но и: *над ѳорабѣм*, *акѳишк'и*, *вас'мѳой*, *мѳладѳой* (муж. род), *паѳѳды*, *бал'шѳой*, *платкѳм* (с. Теплый Колодезь); *бъль'шѳой*, *пѳдѳѳишкѳм*, *пѳхѳой*, *пѳшѳл*, *нѳшѳл*, *кѳз'ѳишый*, *хѳльдѳч'ик*, *тѳкѳой*, но и: *бал'шѳой*, *зат'в'ѳл* (с. Оскольское); *у кѳз'ѳ* (с. Осколец); *бъль'шѳой* (муж. род) и *бал'шѳой* (муж. род; с. Прилепы).

Между тем перед *о* (исторически имевшим восходящее ударение) отмечалось только произношение звука *а*: *кар'ѳва*, *хараши'ѳ*, *скарѳв'а*, *ѳадѳѳ*, *дамѳѳ*, но *раб'ѳтала*, *здар'ѳвайа*, *дамнѳ*, *мал'ѳжа*, *зв'ѳраб'ѳой*, *хар'ѳмы*, *дварѳѳ*, *калѳд'ис'*, *сал'ѳмай* (с. Теплый Колодезь); *патѳлишѳ*, *кар'ѳва*, *хараши'ѳ*, *п'ат' пал'ѳтнн'ишиѳѳ*, *ѳадѳѳ*, *залѳвк'и*, *рабѳта*, *хѳрашѳ* (с. Оскольское); *кѳлкалѳѳ* (с. Осколец); *у бол'ѳта*, *сал'ѳма*, *дамнѳ*, *рабѳтайа* (с. Прилепы).

Летом 1954 г. экспедиционной группе удалось побывать в нескольких селениях смежных районов, причем было поставлено две задачи: провести проверку ранее собранных для Атласа материалов по предударному вокализму и проверку собственных наблюдений 1953 года. В результате тип *аканья*, при котором зависимость качества предударных гласных после твердых согласных та же, что и после мягких, т. е. определяющаяся различием под ударением определенных гласных, был отмечен наиболее последовательно в следующих районах: в Корочанском районе (с. Заячье), в Ново-Оскольском (с. Большая Яруга и с. Проточное), в Уголовском (с. Расховец и Заломное), в Строгогожском (с. Веретье) — Белгородской области и в Задонском (с. В. Колыбелька) — Воронежской области. Кроме того, единичные примеры, указывающие на этот тип предударного вокализма после твердых согласных, отмечены в Прохоровском р-не (с. Красное), Корочанском р-не (с. Поповка), в Больше-Троицком (с. Белый Колодезь), в Чернянском р-не (д. Баклановка) — Белгородской области и в Задонском р-не (с. Б. Верейка) — Воронежской области.

Прежде чем приводить соответствующий материал, подтверждающий выдвигаемое положение, еще раз укажем, что во всех перечисленных населенных пунктах представлена в целом хорошо сохранившаяся система обоянского *яканья*. В этих говорах в первом предударном слоге после мягких согласных на месте гласных неверхнего подъема произносятся: перед ударенными *á*, *'á*, *ѳ* (из *о*, *ъ*) и *é* (из *е*, *ь*) — звук верхнего подъема *и*, а перед ударенным *ѳ* (из *о* под восходящим ударением), *é* (из старого *ъ*), *ы*, *í*, *ý* — звук нижнего подъема — *а*. (См. материалы, хранящиеся в секторе истории русского языка и диалектологии Института языкознания АН СССР, под следующими номерами: 343, 345, 420, 477, 499, 513, 517, 518, 533, 534, 537, 540.) Кроме того, подчеркнем, что обоянский тип диссимилятивного *яканья* представлен в этих говорах при определенной системе различения гласных под ударением.

Материалы, полученные при изучении говоров с этим типом предударного вокализма, в отношении характера ударенных гласных подтверждают мнение о том, что обоянское *яканье*, построенное на различении ударенных *ѳ* и *ѳ*, *é* и *е*, находится в зависимости от современного звучания этих гласных, определяющегося их разным происхождением. То обстоятельство, что многие диалектологи в свое время не слышали этого различия в наблюдаемых ими говорах с обоянским *яканьем*, а также общая скудость материалов по южновеликорусским говорам сделали возможным мнение

¹ О качестве звуков *о* и *е* под ударением см. ниже.

о существовании обоянской системы яканья при совпадении под ударением двух *o* и *e* разного происхождения как застывшей мертвой модели.

В настоящее время диалектология располагает достаточными материалами по говорам, в которых система предударного вокализма строится на реальных различиях в звучании *o* и *e* разного происхождения под ударением. Во всех тех говорах, где мы отмечали систему обоянского яканья, под ударением мы слышали отчетливо противопоставленные по характеру звучания два различных по образованию звука *o* и *e*. Наши впечатления об этих звуках в общем одинаковы по всем указанным говорам и сводятся к следующему: звук *o* (из *ъ* или *o* под нисходящим ударением, а также на месте *e* и *ь*) по сравнению с *o* литературного языка однороден на всем протяжении артикуляции, является звуком пониженно среднего подъема, отчего производит впечатление несколько длабиализованного звука (*o* в транскрипции этот звук обозначается \bar{o} или \bar{o} , если эти признаки менее отчетливы).

Звук *o* (из *o* под восходящим ударением) — повышенно среднего или среднего подъема, лабиализованный, неоднородный на протяжении артикуляции, с более верхней артикуляцией в начале (обозначается в записях как \bar{o} , хотя выделение *y* в самостоятельный знак означает только наличие более верхней артикуляции в начале произношения). Степень неоднородности артикуляции \bar{o} колеблется от почти тождественной *o* литературного языка (в этом случае оно трудно уловимо на слух) до дифтонгического звучания.

В особых условиях, при выделении ударенного слога или слова во фразе, *o* в этих говорах может иметь дифтонгическое звучание, причем *o* неоднородное при этом усиливает свою неоднородность, его начальный элемент опутительно слышится в виде звука верхнего подъема *y*; в результате появляется дифтонг \bar{yo} . На месте второго *o* при аналогичных условиях слышится или *o* однородное, но более длительное (\bar{o}), или дифтонг \bar{oy} .

Аналогичные противопоставления наблюдаются и на месте звуков *e* разного происхождения (*e* из *e* и *ь* и *e* из *ѣ*), хотя противопоставление двух *o* более выразительно. Звук *e* (из *e* и *ь*) — переднего ряда, образуется при пониженно среднем подъеме языка и является звуком однородной артикуляции (обозначается в записях — \bar{e})¹; звук *e* (из *ѣ*) — переднего ряда, повышенно среднего подъема и имеет в начале артикуляции элемент звука *и* [обозначен в записях как \bar{e} , хотя наличие *и* (как и *y* при \bar{o}) означает лишь более высокий подъем в начале артикуляции, ее неоднородность.] При благоприятных условиях звуки \bar{e} и \bar{e} (так же, как \bar{o} и \bar{o}) могут звучать протянуто, как \bar{ie} и \bar{e} или дифтонг \bar{ei} .

Таким образом, в указанных говорах смысловозначительными парами являются звуки \bar{o} , \bar{e} и \bar{o} , \bar{e} , дифтонгические же пары \bar{yo} — \bar{ie} и \bar{oy} — \bar{ei} являются для данных говоров звучаниями факультативными, возникающими в особых речевых условиях.

Необходимо отметить, что в отдельных случаях даже новые слова, проникающие в говор из литературного языка, не знаящего различного произношения ударенных *o* и *e* в зависимости от их происхождения, распадаются на две категории: одни входят в систему говора со звучанием, соответствующим звучанию *o* исторически под восходящим ударением; другие — под модель *o* (открытого). При этом следует заметить, что, как

¹ Очевидно, в связи с природой звучания подобного *e*, не имеющего в начале артикуляции звука элемента верхнего подъема, находятся те случаи, когда перед этим *e* парные мягкие согласные звучат твердо или полутвердо: $\bar{n}e'$ была, $\bar{d}'e'$ рѣан'ец, $\bar{d}'ir'$ и $\bar{e}'en'$ и'и'ша и т. п.

правило, звучание *ʷo* отмечается в словах, имеющих ударенное *o* не в первом слоге слова: *паймидʷ'бры*, *калхʷбз'н'ик* (с. Проточное), *картʷбишка*, *сталʷбшка*, тогда как в первом слоге слова чаще встречается звучание *o* открытого: *бч'ир'ит'* (с. Теплый Колодезь), *мбды* (с. Оскольское), *пэ пбизду*, *тбрмэс* (с. Веретье), *мбда* (с. Проточное).

Как различение двух *o* и двух *e* под ударением, так и реализация соответствующих типов яканья, построенных на этом различении, несоответственные в современных говорах, о чем свидетельствуют соответствующие отклонения; тем не менее можно и в настоящее время сказать, что мы имеем дело с говорами, у которых система предударного вокализма после твердых и после мягких согласных находится в зависимости от системы ударенного вокализма и складывается в целом по диссимилятивному принципу. При этом звуки *o* и *e* (ударенные) как звуки пониженно среднего подъема действуют на качество предударного гласного так же, как и гласный нижнего подъема — *a* (перед ударенными *б*, *с*, как перед *a*, отмечается в предударном слоге *и*, *э*); звуки *ʷo*, *ʷe* объединяются с гласными верхнего подъема и перед ними (как и перед *и*, *ы*, *у*) в предударном слоге отмечаются звуки нижнего подъема — *a*, *'a*.

Ниже мы приводим полностью материал по предударному вокализму после твердых согласных тех говоров, где отмечается более или менее последовательно указанный параллелизм предударного вокализма после твердых и мягких согласных, поддерживаемый охарактеризованной выше системой ударенного вокализма:

(№ 499) с. **Заяче** (Корочанский р-н, Белгородская обл.). Перед ударенным *a*: *пэмз'ал*, *стр'да́йу*, *мэйá*, *кэ́дá*, *тэ́ка́я*, *мэ́лэч'ка*, *нэ стэ́лбáх*, *кэ́цáны*, *дэ́бáшт'а*, *зэмáшк'и*, *н'ихт'á*, *зэмáзэл'и*, *снэ́хá*, *на к'илэ́рáму*, *члэ́зá*, *рч'á*, *стр'дáл'и*, *пэ́нáшим*, *пэ́чл'ад'áм*, *звэ́н'áя*, *нэ пэ́сáтку*, *н'и лэ́жáтца*, *пэ́л'áнэч'ка*, *пэ́жáрнэй*, *кэмáнда*, *сэмá*, *нэ́жáр'ил'и*, *астэ́вáл'ис'* и т. д.; *такáяя*;

перед ударенным *б* (из *o* под восходящим ударением): *ис Карб'и*, *харб'шыйи*, *вадб'и*, *нач'б'и*, *нэ работу*, *нэ работ'и*, *ис кантбр'а*, *марб'зу*, *нэ чарб'дэ́х*, *сарб'кэ́вскаяя*, *дамб'и*, *салб'мэй*, *вадб'иу*, *карб'ш*, *тарч'бэ́г'я*, *карб'ва*, *дарб'ча*;

перед ударенным *б* (из *o* или *э*): *пэ́шбáл*, *ис пэ́т Прб'э́рэ́вк'и*, *мэ́скб'ик'и*, *бэ́л'шб'ой* (муж. род), *пэ́тстэ́лб'м*, *зэ стэ́лб'м*, *мэ́лэч'кб'м*, *ни пэ́шбáл*, *плэ́ткб'м*, *кэ́нб'пáл'и*, *вэ́стб'к*, *кэ́кб'ой*, *штэ́рб'ой*, *плэ́хб'ой*, *ниднэ́ч'б*, *дэ́рэ́ч'б'ой*, *тэ́кб'ой*, *мэ́лэдб'ой*, *плэ́тб'к*, *кэ́кб'ойта*, *кэ́кб'ой*, *пэ́тстэ́лб'м*, *кэ́цэ́нб'м*, *пэ́шбáл*; *мэ́ладб'ой* (муж. род);

перед ударенным *é* ('*o*): *пэ́д'эм*, *пэ́д'э́*, *кэ́д'эм*, *пэмн'эм*, *ни вэ́з'м'эм*, *пэ́лэш'энэ́цэм*, *пэ́дэ́ткн'эм*, *лэ́пт'эй*, *пэ́д'эт'а*, *скэм'ейк'у*, *ни сэ́чн'эм*, *лэ́шид'эй*, *Мэ́тр'бна*, *рэ́стр'бнку*, *пэ́н'ова*, *мэ́лэд'бш*, *зав'эм*;

перед ударенным *é* (из *ʷ*): *пэ́раз'йэхэл'ис'*, *пáйэхэ́ла*, *ц'и́лав'э́ка*, *праб'эл'им*, *нас'э́в*, с *Маскв'э́*, *пэ́ вад'э́*, *пáйэхэ́л*;

перед ударенными гласными верхнего подъема *й* (*ы*), *й'*: *какл'ушкэ́м'и*, *крас'йэ́ш'и*, *хэ́латц'у*, *сад'ы*, *вад'ы*, *ни хад'й'ла*, *пал'й'ш*, *вайны*, *зл'и бал'ш'ы́х*, *н'и стэ́нав'ис'а*, *халст'ы*, с *нач'й*, *нач'й'я*, *кас'ы*, *ман'йста*, *пэ́танц'й'я*; *дв'е кэ́сы*.

(№ 517) **Большая Яруга** (Ново-Оскольский р-н, Белгородская область).

Перед ударенным *á*: *стэ́йáла*, *сэмá*, *бэ́л'шáяя*, *кэ́кáяя*, *тэ́кáяя*, *прэ сэ́бáж*, *сэ́бáка*, *пэ́сэ́л'áт'*, *кэ́кáяя*, *хэ́з'áина*, *сэ́жáл'и*, *стэ́йáл'и*, *стэ́йáл*, *сэмá*, *вэ́дá*, *пэ́н'áтнэ́*, *лэ́пáта*, *нэ бэ́зáр*, *пэмэ́чáйут'*, *тэ́кáяя*, *дэ́зркá*, *нэ сэ́бáку*, *зэ́стэ́л'áйут'*, *мэйá*, *тэ́дá*, *дэ́вáл'и*, *чэ́р'áч'й'й*, *пэ́прáв'ила*, *скэ́р'áй*, *скэ́зáл'и*; *какáяя*, *вадá*, *начá*, *зав'áл'и*, *л'исавáяя*, *кэ́напл'áм'и*, *нар'áт*;

пэмэл'эн'ич'ку, зэцёркву, вэз'м'ё, пэд'ё, прэйд'ё, пэд'эмт'а; у пан'ёв'и, нэ кварт'ёр'и;

перед ударенным *é* (из *ъ*): нэдайёла, двар'ё, чар'ёл'и, ч'илав'ёк, из Маскв'ё, пайёхэл'и, устар'чёл'и, пэбал'ёл, учар'ёл'и;

перед ударенными гласными верхнего подъема *й* (*ы*), *й*: пэсаб'йт', маçу, лав'й, карм'йт', вайнй, байёс', нэстэнав'йл, б'ид-натй, хваруёу, у 14 çаду, прас'йт'ил'на, абухажа.

(№ 534) с. Заломное (Уколовский р-н, Белгородская обл.).

Перед ударенным *á*: снэхá, рэд'áтца, çлэзám'и, бэйáр'ина. рэзрэстáйутца, кэтáйутца, рэскзэáт', бэйкá, скзэáл, прэйáлá, хэвтáм'и. Кэндрáт'ив'ич', кэáйá, сэмá, Мэсквá, бэзáры, пэнч'áм, нэ дэвэрáм, сёбáкэм, пэáл'и, рэжáйут'; пэпрáдáл'и;

перед ударенным *ó* (из *о* под восходящим ударением): саруóк'и, саруóка, на тр'убицу, нэ рабуóту, пал'óш, рабуóтайут', к мэладóй, парóйу, з'авóр, дварóш, з'атóв'а, дарóшк'и;

перед ударенным *ó* (из *о* и *э*): дэжжóш, тэжóй, пэйóл, Мэскóшк'и, бэ'шóй, пэсóхла, скэóлм, нэ кóрм;

перед ударенным *é* (*о*): рэс'т'ё, вэз'м'ё, пэм'ёр'и, пэд'эм, мэхн'ё, пэн'бвы, дэ'бóка, пэн'бва, пэн'бву, у пэн'бву, зэ'лч'óный;

перед ударенным *é* (из *ъ*): нэ пас'чеш, нан'ейс'и, пас'н'ёла, пас'чёила, óл'и пат'эх'и;

перед ударенными гласными верхнего подъема *й* (*ы*), *й*: н'икал'й, кэнап'и, б'изнаç'й, çаду, нэ машын'а, халст'йн'а, кармы.

(№ 540) с. Веретье (Острогожский р-н, Воронежская область).

Перед ударенным *á*: сэрáй, рэжáт', пэйáлá, стэйáл'и, вэд'áнка, хэз'áйка, дэйáлá, склэдáла, тэжáйá, пэслáл'и, хэз'áин, ни мэçлá, пэд'áмáг, стэйáл'и, пэ'áмáжыс'с'и; зэбал'á, хаз'áин, маçлá, скар'áй, ламáт', çан'áя'и, мэладáйá, вайнá, пэдн'áтца, н'и сказáл;

перед ударенным *ó* (из *о* под восходящим ударением): дарóш'у, н'ч'илавóды, байцóш, пэдвóды, рабуóтал, патóш, рабуóтат', 2 кар'óвы, пан'óс, йиравóй рэжы, стал'óшк'а, рабуóтал, кас'óйу, мал'óжа, далóй, нарóду, дарóçа, у Варóн'ижы;

перед ударенным *ó* (из *о* и *э*): кэртóх'и, пэлóжыла, аднэçó, кэ'лóз-ный, нэ кэртóшк'и, бэ'л'нóй (муж. род), дэмóч'к'и, пэлóжым, вэ'л'цóшк'и, у кэ'лóз'а, пэ'л'óда, вэстóж, дэстóшный, кэртóшк'и, нэ тóрмэс, у кэртó-х'и, тэçó, пэжóл, пэлóжыла, пэп'óлçгэм, пэп'óизду, пэп'óизду, аднэçó, кэ'лóзный, нэ картóшк'и; на Дóн, вас'мóч'и (муж. род), йиравóй (муж. род);

перед ударенным *é* (*о*): пэд'эм, бэйёц, вэйёныш, пэд'эмт'а, нидэ'л'бка, сэл'óнуйу, вэйённый, бэйёц, вэйённых, скэ'нэп'л'ёй, ни вэз'м'ёш, вэ'л'цóшк'и, н'и дэ'л'бка, сэл'óнуйу; кан'ёц, вдав'ёц;

перед ударенным *é* (из *ъ*): аб'ч'ёдал'и, зэбал'ч'ёт', зэбал'ч'ёла, пайёхэла, зэбал'ёла, на хл'ч'еп, зэбал'ёт';

перед ударенным *й* (*ы*), *й*: нэ бак'у, байц'ы, маçл'й, пэкарм'йт', нас'й'л'и, вад'ы, вад'йцы, пашл'й, бр'иçад'йрэм, в'исашицыш, вайнй, Вэрашылэш, праил'й, аслэбад'й'л'и.

(№ 518) с. Белый Колодезь (Больше-Троицкий р-н, Белгородская область).

Перед ударенным *á*: зэ'лэтайá, снэхá, сёбрáл'и, нэ Дэнбáс'и, мэйá, бэ'лáкэйт', Тэт'йáна, пэкá, у мэ'лэкá, пэйáлá, хэз'áин, брэсáйá, скэ'тá, кэзáла, сэмá, вэйнá; у çлазá, у сэрэхаáнаç;

перед ударенным *ó* (из *о* под восходящим ударением): с рабуóт'а, карóш, дарóçа, патсóлнух, раштóб, марóс, карбёа, харóшэйá, Карб-ч'инскéй, стал'óш;

перед ударенным *ó* (из *о и ъ*): *тѣбѣй* (муж. род), *мѣлѣдѣй* (муж. род), *дѣжжѣк*, *плѣтѣцѣик*; *дамѣк*, *какѣй* (муж. род), *плахѣй*; *ухѣладѣй ку*, *патѣблѣух*;

перед ударенным *é* ('*о*): *пѣд'ѣмт'а*, *рѣв'ѣс'н'ик'и*, *пѣд'ѣм*; *пат'ѣпл'и*, *саг'н'ѣтца*, *пѣпад'ѣм*, *пѣзав'ѣт'ь*, *пашл'ѣ*;

перед ударенным *é* (из *ъ*): *у мисайѣт'*, *у с'ил'сав'ѣт'*, *нѣ вайн'ѣ*, *прайѣхала*;

перед ударенными *ý* (*ы*), *ý*: *н'и хажý*, *пал'ý*, *гýлавы*, *у бал'н'ýцу*, *дажýт'*, *гýрацк'ýи*, *дварý*, *пач'ýп*, *кѣнапл'ý*, *снах'ý*, *Сухарýкѣв*, *выврас'л'и*, *кар'м'ýт'*, *никѣл'ý*.

(№ 343) с. Верхняя Колыбелька (Задонский р-н, Воронежская область).

Перед ударенным *á*: *пѣжáрн'ик*, *бѣг'áтым*, *пѣмѣг'áйа*, *зѣмáшк'и*, *стáйá*, *мѣлѣкá*, *зѣкáпывѣл'и*, *гѣвѣр'áт'*, *абмѣрáла*, *нѣ бѣзáр*, *плѣхáйа*, *с рѣгáм'и*, *гѣлѣвá*, *давáйут'*;

перед ударенным *ó* (из *ó* под восходящим ударением): *хѣладнѣ*, *хар'óбшай*, *раб'óбтайа*, *давн'óа*, *хар'óбшыи*, *на пѣтал'óбк'и*, *нав'óдс*, *с раб'óт'и*, *хар'óбшайа*;

перед ударенным *ó* (из *о и ъ*): *мѣлѣкѣм*, *кѣртѣшка*, *дѣжѣй ку*, *Зѣдѣнску*, *мѣлѣдѣй* (муж. род), *с мѣлѣкѣм*, *н'ивѣзмѣжнѣ*, *плѣтѣк*, *кѣкѣшн'и-к'и*, *н'ибѣл'шѣй* (муж. род).

перед ударенным *é* ('*о*): *пѣмѣг'н'ѣт'*, *пѣд'ѣм*, *пѣдѣм*, *пѣзѣвѣм*, *прѣй-д'ѣт'*, *пѣд'ѣм*, *сѣш'ѣш*, *пѣ дл'ѣц*, *пѣшл'ѣм*, *мѣлѣд'ѣш*, *с пѣд'ýбму*, *дѣл'ѣка*, *н'испáс'ѣс'с'и*, *ваднѣй*;

перед ударенными *é* (из *ъ*): *пáс'чѣла*, *сáб'ѣ*, *избáл'чѣла*, *пáйѣхэт'*, *ч'илáв'ѣк*;

перед ударенными *ý* (*ы*), *ý*: *пач'ýп*, *пр'ивáз'ýл'и*, *нѣ вайн'ý*.

Схематически единство системы предударного вокализма после твердых и мягких согласных в этих говорах можно изобразить так:

Под ударением:	В 1-м предударном слове после мягких согласных:	В 1-м предударном слове после твердых согласных:
<i>a</i>	<i>и</i>	<i>ъ</i>
<i>ó</i>	<i>и</i>	<i>ъ</i>
<i>vo</i>	<i>'a</i>	<i>a</i>
<i>y</i>	<i>'a</i>	<i>a</i>
<i>ы(и)</i>	<i>'a</i>	<i>a</i>
<i>é</i>	<i>и</i>	<i>ъ</i>
<i>иe</i>	<i>'a</i>	<i>a</i>

Как говорилось выше, на территории, занятой современными южновеликорусскими говорами, диалектологи отмечают большое разнообразие типов предударного вокализма после мягких согласных, в основе которых лежит диссимиллятивный принцип. После твердых согласных, как показывает приведенный в настоящей заметке материал, имеется возможность выявить два типа диссимиллятивного аканья: один, параллельный обоянскому типу яканья, другой — жиздринскому.

Дальнейшее изучение предударного вокализма покажет, существуют ли в пределах южновеликорусских говоров соответствия предударного вокализма после твердых и мягких согласных при других типах яканья. Некоторые основания для подобного предположения имеются.

РАДИЦЕВ О ВЗАИМОТНОШЕНИИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ

А. Н. Радищев, наряду со своим великим предшественником М. В. Ломоносовым, явился родоначальником русского материализма, развитого в XIX в. передовыми мыслителями и учеными: Белинским, Герценом, Чернышевским, Добролюбовым, Менделеевым, Сеченовым, Тимирязевым и др.

Приняв и разработав материалистические идеи Ломоносова, Радищев возвел русскую материалистическую мысль на новую, высшую ступень, поставив свои философские взгляды в неразрывную связь с революционными общественными идеями. Он создал свое оригинальное прогрессивное материалистическое учение, являвшееся философским обоснованием его общественно-политических воззрений.

Большой интерес представляют высказывания Радищева о взаимоотношении языка и мышления. К сожалению, эти его высказывания слабо освещены в нашей литературе. Материалистически решая основной вопрос философии, т. е. признавая первичность материи и вторичность сознания, Радищев считал, что сознание появляется на определенной ступени развития материи, что оно представляет собой свойство наиболее высоко организованной материи и имеет свой вещественный материальный орган — мозг, функцией которого сознание и является. Признавая мозг источником мышления, Радищев опирался на повседневный опыт человека и на научные данные тогда еще молодой физиологии. «Мы чувствуем,— пишет он,— что мысль наша пребывание имеет в голове, и опытами знаем, что расстроенный мозг рождает расстроенный рас-судок»¹.

Радищев ставит состояние мыслительных способностей человека в зависимость от его телесного развития. Это строго согласуется с его материалистическим утверждением о том, что мысль более развита там, где более совершенной является телесная организация. Когда человек рождается, его тело еще слабо, мозг не развит, чувства еще в зачаточном состоянии. Постепенно, с укреплением и развитием тела усложняется деятельность чувств, а на их основе развивается мышление. Чем старше ребенок, тем более укрепляется его телесная организация; чем совершеннее телесная организация, тем совершеннее и работа мозга — этого «вещественного» органа, — тем совершеннее и мысль. С полным развитием тела достигается и полное развитие мыслительных способностей. Но тело, подверженное действию времени, начинает разрушаться, и с его разрушением угасает и деятельность мысли. «Замечается при рассмотрении разумных сил человека... что силы сии ничто при рождении, разверзаются, укрепляются, совершенствуют, потом тупеют, ослабевают, немеют и исчезают; что сия постепенность следует постепенности в развержении и уничтожении сил телесных и что тесное есть сопряжение между плодотворительного сока и человеческих умственных сил»².

Характеризуя мышление как свойство мозга, Радищев выступает как против дуалистов типа Декарта, отрывавших мышление от материи и считавших его отдельной, самостоятельной субстанцией, существующей наряду с материей и независимо от нее, так и против вульгарных материалистов, отождествлявших сознание с материей. Радищев, говоря о мышлении, все время подчеркивает, что оно является с в о й с т в о м мозга, а не самим мозгом и не каким-то выделенным мозговыми волокнами веществом: «... душа наша или мыслящая сила не есть вещество само по себе, но свойственность сложения...»³. Таким образом, Радищев рассматривает мышление как свойство высокоорганизованной материи, как продукт мозга.

В непосредственной связи с вопросом о природе сознания Радищев решает проблему соотношения языка и мышления. В решении этой проблемы А. Н. Радищев является последователем М. В. Ломоносова. Еще в «Путешествии из Петербурга в Москву» он в «Слове о Ломоносове» с уважением и восхищением отозвался о великом русском ученом, как о выдающемся языковеде, который своим филологическим изыска-

¹ А. Н. Радищев, Избр. философ. соч., Госполитиздат, 1949, стр. 358.

² Там же, стр. 298.

³ Там же, стр. 354.

ниям предпослал «философическое рассуждение о слове вообще, на самом естестве телесного нашего сложения основанном»¹. Радицев излагает общие философские положения Ломоносова о человеческой речи и в своих высказываниях о языке исходит из этих положений. Развивая их, он материалистически истолковывает соотношение языка и мышления и роль языка в процессе общения людей. Радицев говорит о речи, как о «благороднейшем по разуму (т. е. после разума.—*М. С.*) даровании, данном человеку для сообщения своих мыслей». Он пишет: «Слово есть изображение наших мыслей, посредством образования голоса через органы, на то устроенные»².

Свой взгляды на слово, речь, язык в их соотношении, взаимодействии и взаимосвязи с мышлением Радицев развивает в философском трактате «О человеке, о его смертности и бессмертии». Не следует, конечно, забывать, что Радицев подходил к этому вопросу с позиций метафизического материализма и потому решал его ограниченно и порою непоследовательно. Однако ряд его мыслей представляет несомненный интерес как результат вдумчивой работы философа-материалиста. Прежде всего Радицев отмечает, что речь является исключительной особенностью человека, отличающей последнего от «всех других живых его собратьев» — животных. Человек так привык к этому своему преимуществу перед животными, что считает его вполне обыкновенным и часто не задумывается над его значением. Однако, говорит Радицев, это качество человека достойно всяческого внимания. Речь присуща человеку и только человеку. И даже если сороку, скворца и поугая можно научить произносить некоторые слова, то это — лишь бессознательное подражание человеку.

Радицев восхваляет речь как главное средство общения между людьми, средство отражения реальных образов предметов в словах и передачи этих слов посредством голосового аппарата. Он считает, что речь послужила стимулом развития человеческого общества: «...начальный способствовать усовершенствованию рода человеческого есть речь»³. Имея в виду, что без речи невозможна практическая и научная деятельность людей, он замечает, что «...ее (речи.—*М. С.*) пособию одолжен человек всеми своими изобретениями...»⁴.

По мнению Радицева, роль речи в человеческом обществе настолько велика, что, собственно, само оно создано главным образом речью. Это высказывание Радицева интересно в том отношении, что оно направлено против «любителей чудес» — идеалистов, с которыми полемизирует Радицев в своем трактате. Чудесам мистическим, выдуманым, несуществующим Радицев противопоставляет «чудо» материального порядка — речь, которая достойна назваться чудом, так как она несет чрезвычайно важные функции в жизнедеятельности человеческого общества. Однако Радицев, будучи, как и все домарковские материалисты, идеалистом в объяснении общественных явлений, не мог еще понять, что человека создали «сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь...»⁵. Поэтому слово для него — главная сила, создавшая человека и человеческое общество. «...кто возвал род человеческий к обществу из лесов и дебрей, в них бы скитались, аки звери дубровни и не бы были человеки? Кто устроил их союз? Кто дал им правление, законы? Кто научил гнущаться порока, и добродетель сотворил любезную?» — спрашивает Радицев, и тут же сам отвечает: «Речь, слово»⁶. Таким образом, он считает их первоисточником всех социальных, общественных, юридических, этических учреждений в человеческом обществе. Это, конечно, неправильный, ложный, идеалистический взгляд. Иного, правильного ответа на вопрос о происхождении человека и человеческого общества Радицев, ограниченный уровнем социологической науки того времени, дать не мог.

Не будучи в состоянии раскрыть диалектическое единство языка и мышления, Радицев все же ставит их в тесную связь и взаимодействие. По его словам, человек «звук (т. е. слово.—*М. С.*) сделал мыслию, а «мысль преобразил в чертоносное (носящее определенные черты.—*М. С.*) летание»⁷. Понимая речь как выражение мысли, он утверждает, что «речь, расширяя мысленные в человеке силы, орудует оных над собою действие и становится почти изъявлением веселия»⁸. Как видим, Радицев подчеркивает здесь взаимообусловленность языка и мышления: речь испытывает на себе руководство мысли, а сама является средством «расширения» мыслительных способностей. Таким образом, он заключает, что руководящей силой является мысль. Звук, производимый голосовым аппаратом, и мысль — продукт мозга — в отдельности друг от друга теряют свои преимущественные качества: с одной стороны, как уже отмечалось, животные, лишенные той степени развития умственной способности, которой она достигла в человеке, не имеют речи; с другой же стороны, мысль

¹ Там же, стр. 194.

² Там же, стр. 193.

³ Там же, стр. 384.

⁴ Там же, стр. 290.

⁵ Ф. Энгельс, Диалектика природы, Госполитиздат, 1953, стр. 135.

⁶ А. Н. Радицев, в указ. соч., стр. 385.

⁷ Там же, стр. 386.

⁸ Там же, стр. 290.

человека, от природы лишенного способности говорить, никогда не достигает того развития, которое она имеет у нормального человека. Без речи «... онемелая наша чувствительность, мысленность остановившаяся пребыла бы недвижимой и, по олу м е р т в ы, как семя, как зерно, содержащее в себе древо величайшее, которое и даст покоющемуся сень, и согреть охладившего, и пищу даст прохладную утомленному, и покровом будет от зною и непогоды, и пренесет по валам морским жаждущего богатства или науки до концов вселенныя, но которое без земли, без влажности м е р т в е е т, ничто ж е с т в у е т¹ (разрядка моя.— М. С.). Ту же мысль Радищев проводит еще в первой части («книжке») своего трактата: «... сколь бы шествие разума без звучныя речи было точно и пресмыкающеся!»²— восклицает он.

Итак, по мнению Радищева, лишенная звукового, словесного выражения, мысль человека мертвеет, коснеет, становится ограниченной. Человек способен к нормальному мышлению только благодаря тому, что оно находится в единстве со звуковой речью, с языком и выражается в языке. Речь, по Радищеву, не только выражает отдельные мысли, но и синтезирует их: «Речь есть, какжется, средство к собранию мыслей воедино»³. Из такого понимания функций речи естественно вытекает оценка Радищевым взаимосвязи мысли и языка как мощного фактора познания окружающей реальности. По мере того как человек приобретал способность говорить, его умственные силы проявлялись и укреплялись, содействуя познанию природы и ее законов: «... как будто окрест вращающегося среди густейшей мглы испадает мрак и темнота, очи его зрят ясность, уши слышат благогласие, чувственность вся дрожит, мысль действует, и се уже может он постигать, что истинно, что ложно; доколе же чужд был и того и другого»⁴.

Живой интерес, проявляемый выдающимся русским философом к вопросу о взаимоотношении языка и мышления, и то значение, которое он придавал этому вопросу, заставили Радищева обратиться к научным данным, которые помогли бы ему в его исканиях. Поэтому понятно, почему Радищев так внимательно относился к деятельности французского педагога XVIII в. аббата Лепе, основавшего школу для обучения глухонемых «языку жестов». Радищева в данном случае интересовало, во-первых, может ли «язык жестов» заменить истинный язык, звуковую речь нормальных людей, и, во-вторых, в какой степени развито мышление у людей, лишенных способности говорить и слышать, — у глухонемых (из контекста видно, что он имеет в виду глухонемых от рождения). Выяснение этих вопросов облегчало решение проблемы об отношении языка к мышлению и мышления к языку. Если «язык жестов» может стать равноценным и равнозначным с «языком слов», если глухорожденные способны в мышлении своем достигать той же степени, которой достигает в своем развитии мышление нормального человека, то это будет означать, что мысль человека может существовать и без речи, совершенствоваться и развиваться отдельно от нее, что речь не имеет тесной связи с мышлением, что «язык слов» может без ущерба быть заменен «языком жестов», и потому речь могла когда-то и не существовать в человеческом обществе. Если же «язык жестов» является по своей природе ограниченным и если глухонемые, вообще, конечно, способные к развитию мыслительной деятельности, не могут, однако, достичь в мышлении тех вершин, которых достигает человек, владеющий речью, расширяющей его «мысленные силы», то это будет означать тесное и неразрывное единство мысли и языка и приведет, между прочим, к важному в этом отношении выводу о том, что язык свойствен всякому человеческому обществу, в том числе и первобытному, что он является непременным и древнейшим орудием общения людей. Надо сказать, что эти вопросы Радищев решал, в основном, правильно. Отдавая дань уважения трудам аббата Лепе в области обучения глухонемых «языку жестов», он, однако, указывает на то, что и «язык жестов» был изобретением человека, одаренного речью. Если даже Лепе удалось научить глухонемых беседовать с ним и друг с другом, понимать чужие мысли и сообщать свои, то все же изъяснение сложных внутренних чувств при посредстве «языка жестов» невозможно, хотя бы уже потому, что человек, от рождения лишенный слуха, лишен и многих внутренних чувств. Глухонемой, наученный «языку жестов», сможет развивать свои мыслительные способности, но это развитие будет идти более путем подражания, чем своим самостоятельным путем. Обращение Радищева к аббату Лепе, заключающее в себе эти выводы, заслуживает дословного цитирования. «О, ты,— обращается он к Лепе,— возможный речью одарить немого, ты, соделавший чудо, многие превышающее, не возмог бы ты ничего, если бы сам был безгласен, когда бы речь в тебе силы разума твоего не изощрила! Если немой, тобою наставленный, может причастен быть в твоих размышлениях, вероятно, чтобы разум его воспарил до изобретений речью одаренного. Хотя и то истинно, что лишение одного чувства укрепляет какое-либо другое; но вообще

¹ А. Н. Радищев, указ. соч., стр. 385—386.

² Там же, стр. 290.

³ Там же.

⁴ Там же, стр. 386.

разум лишенного речи более изощряться будет подражанием, нежели собственной своею силою; не имеющий слуха колких внутренних чувствований будет лишен, и, кажется, изъявления оных ему мало быть могут свойственны»¹.

Радищев считает, что передача мысли на основе звуковых и зрительных восприятий все же неизмеримо удобнее, чем на основе других чувств: осязания, обоняния, вкуса. Однако органы речи и слуха являются единственными органами, способными обеспечить нормальный обмен мыслями между людьми. «Если бы другие наши чувства столь же удобны были на понимание речи, как ухо и глаз, то бы, конечно, можно было сделать азбуку обоняемую, вкушаемую или осязаемую... но речь обоняемая, речь вкушаемая и даже речь осязаемая не могут быть только совершенны, как речь зримая, а паче того речь звучная: ибо сия единая в произношении своем есть разнороднейшая и соответствующая истинному органу слова»². Речь, говорит он в другом месте трактата «О человеке...», — «... есть наилучший и, может быть, единственный устроитель нашей мысленности»³; таким образом, по Радищеву, звуковая речь является единственным полноценным средством общения людей, и «язык жестов» не способен сколько-нибудь эффективно ее заменить.

На основе своих исследований Радищев приходит к категорическому признанию взаимосвязи речи и ее «водителя» — мысли, к выводу о том, что «... водитель речи, мысленность, возлагать будет орудие, речи лишенная»⁴. («Возлагать орудие» — выражение, означающее: «складывать оружие».) Мысль тесно связана с речью, речь развивает мысль, и это единство так необходимо человеку, что является отличительной чертой человеческого общества, начиная с самых ранних ступеней развития: «... и в самом диком состоянии человека, в первоначальном его состоянии, в состоянии естественном или руководителем (речь и рассудок. — М. С.) его не оставляют»⁵.

Говоря о «речи зримой», Радищев в основном имеет в виду, как это видно из контекста, письменную речь, непосредственно воспринимаемую органами зрения. Следует сказать, что Радищев не отделял письменную речь от устной, считая, что «письмо» есть не что иное, как «... произвольно начертанные знаки, кои означают звук, нами произносимый, слово»⁶. Он указывал, что изобретение письменности сыграло огромную роль в прогрессе человечества: «... едва человек мог соединить речь звучную с речью зримой, то потек на изобретения, дерзнул на возможность и успел»⁷.

Наряду с глубоко материалистическими положениями о взаимоотношении языка и мышления, у Радищева иногда встречаются высказывания, в которых проявляется непоследовательность, столь естественная для метафизического материализма, неспособного избежать уступок идеализму в частных вопросах. Однако нельзя не увидеть, что эти высказывания совершенно противоречат материалистическим положениям Радищева о связи языка с мышлением и не влияют на его материалистическое в целом мировоззрение.

М. М. Спектор

¹ Там же, стр. 290.

² Там же, стр. 388.

³ Там же, стр. 370.

⁴ Там же, стр. 385.

⁵ Там же, стр. 388.

⁶ Там же, стр. 387.

⁷ Там же, стр. 388.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

КУРС «СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» В ПЛАНЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ

1

Наличие двух форм высшего лингвистического образования в Советском Союзе: университетского и педагогического — целесообразно и необходимо. Во-первых, осуществляемый сейчас в нашей стране переход ко всеобщему десятилетнему образованию требует огромного и все возрастающего числа высококвалифицированных преподавателей-словесников, дать же всем преподавателям города и деревни пятилетнее университетское образование пока не представляется возможным. Четыре институтских года вместо пяти университетских дают ускорение подготовки на 20%. В общем числе — это весьма существенная цифра.

Во-вторых, нашей стране, кроме педагогов, нужны в значительном количестве все новые и новые научные работники для работы в исследовательских институтах, в вузах — в роли ассистентов, лаборантов, младших преподавателей и т. д. Никак не исключается и педвузовская подготовка (через аспирантуру) научных работников, она даже весьма желательна и ценна — в плане педагогической и методической специальности.

2

Осенью 1954 г. Министерство высшего образования утвердило новые планы филологических факультетов университетов. Эти планы нужно признать глубоко продуманными и рациональными. Новые планы дают большие возможности повышать качество научной подготовки специалистов-языковедов и литературоведов.

Авторы плана 1954 г., углубив и расширив специальную языковедческую часть учебного плана для студентов-лингвистов, в то же время расширили и необходимый для них литературоведческий цикл предметов. Так же дело обстоит и с учебным планом для студентов-литературоведов.

В новом учебном плане центральным курсом является курс «Современный русский язык». Он рассчитан на 312 часов (увеличение часов, примерно, на одну треть) и продолжается семь семестров. К этому нужно еще добавить спецкурсы и семинар, расширяющие и углубляющие курс. Все остальные предметы лингвистического цикла по новому плану предваряют отдельные разделы указанного курса или сопутствуют им, снабжая этот курс большим конкретным материалом: здесь и старославянский язык, и диалектология, и история русского языка и т. д.

Теоретическим вопросам марксистского языкознания посвящены предваряющий все курсы курс «Введение в языкознание» и заключающий их (на 5-м году) курс «Основы языкознания»; кроме того, все курсы строятся на базе марксистской методологии.

Внес две маленькие поправки, связанные только с семестровым расписанием, а не с изменением плана¹, получим следующую схему распределения предметов лингвистического цикла:

¹ Во-первых, мы сдвигаем часы лекций по курсу «Введение в языкознание» и оканчиваем этот предмет на I семестре, т. е. до чтения курса «Современный русский язык», который со двояными лекционными часами начинается со II семестра; во-вторых, два курса «Сравнительной грамматики» на четвертом году мы считаем более целесообразным читать не параллельно, а последовательно — по семестрам. Часы сохраняются те же (по плану).

Лингвистические предметы по новому плану (1954 г.)

Предметы, предвещающие курс Совр. русск. яз. и сопутствующие ему	Разделы курса Совр. русск. яз.	Семестр	Дополнительные предметы
Введение в языкознание	—	I	Латинский язык
Старославянский язык	Фонетика	II	Латинский язык
Диалектология (лекции)	Словообразование	III	Латинский язык
Диалектология (практ.). Историческая грамматика русского языка	Лексика	IV	Латинский язык
Историческая грамматика русского языка	Морфология	V	Славянский язык (современный)
История русского литературного языка	Морфология	VI	Славянский язык (современный)
Спец. курс		VII	—
Семинар по русскому языку	Синтаксис	VIII	—
Сравн. грамматика вост.-слав. языков			—
Семинар по русскому языку	Дипломная работа	IX	—
Сравнительная грамматика слав. языков (общ.)			—
Основы языкознания			—
—	Дипломная работа	X	—

3

План 1949 г. обособлял отдельные предметы цикла, не устанавливая ни методического единства, ни единства в их содержании: каждый преподавал свой предмет как самодовлеющую дисциплину, без учета ее роли в общей подготовке специалистов. План 1954 г. любой предмет рассматривает как **э т у п е н ь** единого пятилетнего учебного процесса: каждый предмет здесь подготовлен предыдущими курсами и сам подготавливает следующие. Теперь нам неотложно нужна и единая учебная программа всего лингвистического цикла, разумеется, с четко разработанными разделами ее (по отдельным дисциплинам).

По плану 1949 г. в целом ряде программ повторялись многие разделы по два-три-четыре раза (методологические обобщения и трактовка лингвистических проблем И. В. Сталиным; артикуляция и классификация звуков, взаимоотношения литературного языка и говоров, прохождение русского литературного языка и т. д.). По плану 1954 г. никаких повторений быть не должно. Например, артикуляцию звуков, выученную в первом семестре, студенты обязаны знать, не повторяя в течение всех пяти лет. Эти знания могут понадобиться при изучении любого предмета (раздела). Если студенты забыли какой-либо материал, они должны повторить его самостоятельно.

Программы должны быть внутренне объединены; это дело трудное, ответственное, требующее широкого научно-педагогического кругозора, не всегда доступное силам местных преподавателей.

4

Нам уже пришлось слышать сетование на то, что в новом плане нет стилистики русского языка. Мы думаем, что такого предмета и не нужно создавать. С точки зрения марксистского определения сущности и роли языка изучение любой стороны языка (тем более родного) должно быть **с т и л и с т и ч е с к и м**: язык — орудие общения, язык создан людьми для общения. Никакого иного изучения современного языка (начиная со звуковой его стороны) и быть не может. Одна из задач лингвистического образования — овладение языковым мастерством, для чего необходимо глубокое понимание закономерных тенденций развития и совершенствования языка. Нужно четкое осознание слагающихся в языке общенациональных норм культурной речи.

Теоретическое языкознание должно касаться и всех вопросов практического и **с п о л ь з о в а н и я** языка, начиная с орфографии и кончая языком художественных произведений в прозе и стихах. Всегда при изучении языка мы должны искать и указывать «пути к лучшему, рассудительному его употреблению» (Ломоносов).

По плану 1949 г. на первом месте среди разделов курса «Современный русский язык» стояла лексика (лексикология). Это большая ошибка, которую преподаватели в практической работе так или иначе стремились исправить. Если говорить о лексикологическом и а у ч и о м курсе, то он не может быть построен на голом месте, он нуждается в серьезной подготовке: ему о б я з а т е л ь н о должны предшествовать: а) Введение в языкознание; б) Фонетика — общая и русского языка; в) Словообразование, не ограниченное показом аффиксальных сложнейшей корня, а раскрывающее и фонетическую дифференциацию корней, аффиксов и, в целом, — основ, учитывающее фонетические процессы в сочетаниях элементов слова; г) Старославянский язык, так как для изучения лексики литературного русского языка совершенно необходимо предварительное знание фонетики, норм словообразования и лексики старославянского языка, в свое время так широко использованного в памятниках нашей письменности; д) Диалектология, без ознакомления с которой нельзя изучать лексику современного русского литературного языка. Только после этого возможен научный курс лексики.

Не случается лишь с IV семестра. Лексика — главное богатство языка, как учит марксистское языкознание; нельзя же раздел, посвященный ей, обречь на поверхностное изучение, к чему неизбежно приведет постановка его на первое место.

Доказательством невозможности построить научный курс лексики до изучения фонетики и словообразования является только что опубликованный курс лекций проф. Галкиной-Федорук¹. Данное пособие, несмотря на значительные его достоинства, в силу того, что оно составлено по плану 1949 г., может помешать решительному улучшению преподавания русского языка. Поставив лексику д о фонетики (см. стр. 4) и, следовательно, до словообразования, автор не смог так построить свой курс, чтобы различные явления лексики были показаны в их движении. Более половины учебного пособия дублирует темы курса «Введение в языкознание» (к сожалению, сюда входят и лучшие первые 60 страниц). Остальные 50 процентов книги являются элементарным описанием общеизвестных лексико-семантических категорий, почти в том же объеме, в каком они изучаются в V—VII классах школы. Например:

Стр. 137. «Суффиксы или приставки эмоциональной оценки. Например: *столлик, домик, цветик, мальчик, пальчик; книжечка, рученька, ноженька, маменька..*». Всего здесь 48 подобных слов, данных без всякого анализа, без всякой мотивировки.

Стр. 142. «Локализмы, или провинциализмы, т. е. диалектные слова». Например: *зуторить* вм. *говорить*; *столешник* вм. *скатерть*; *стежка* вм. *дорожка*; *шлях* вм. *дорога*; *кринка* вм. *горшок для молока* и т. д. На стр. 22 — почти то же: *брезговать* — *гребовать*; *волк* — *бирюк*; *горшок для молока* — *махотка*; *тропинка*, *дорожка* — *стежка*; *петух* — *кочет* и пр.

Стр. 138. «Лексика научная, общественно-политическая, терминологическая. Например: *аргумент, абстракция, гипотеза..., свобода, коммунизм..., народ, закон...*» и многие другие.

Стр. 67. Синонимы в разных стилях: книжном и разговорном. Например: *труд* — *работа*; *месяц* — *луна*; *внезапно* — *несожиданно* и другие в том же роде.

Стр. 71. Антонимы. Например: *жизнь* — *смерть*; *истина* — *ложь*; *начало* — *конец*; *трудится* — *ленится*; *усталый* — *бодрый*; *теплый* — *холодный*; *дневной* — *ночной*. На следующей странице: *там* — *здесь*; *покой* — *тревога*; *печаль* — *радость* и т. д. Всего примеров антонимов дано сто двадцать пар. Вероятно, их можно собрать и в 2—3 раза больше, но едва ли все это расширяет научных кругозор студентов.

Теперь для VIII—X классов средней школы составлены новые программы и учебники, которые еще нельзя признать достаточно полными, но и они ставят вопросы лексики гораздо шире, чем рассматриваемый курс лекций.

В «Пособии для занятий по русскому языку в старших классах средней школы» Грекова, Крючкова и Чепко, вышедшем одновременно с курсом лекций т. Галкиной-Федорук (3-е, переработ. изд., 1954), перечислено пять основных способов словообразования: 1) префиксация, 2) суффиксация, 3) префиксация + суффиксация, 4) сложение корней-основ, 5) «звукосыбы разных видов изменения».

В книге Е. М. Галкиной-Федорук для историко-филологических факультетов пятый способ словообразования даже не указан. Автор вынужден был это сделать, так как пошел в своей работе по принципиально ошибочному плану 1949 г., в котором лексика занимала первое место. Большинство же практических вузовских работников и до 1954 г. начинали курс с фонетики, от фонетики шли к другим разделам курса «Современный русский язык» (так построена, например, книга Л. А. Булаховского).

¹ Е. М. Галкиной-Федорук, Современный русский язык. Лексика. Курс лекций, М., 1954.

По первой части пособия Е. М. Галкиной-Федорук видно, что автор понимает, какое большое значение для изучения лексики имеет анализ слов основного словарного фонда, являющихся словообразовательной и семантической базой для развития лексики (стр. 80 и далее), но в остальных главах он совершенно не касается ни типов, ни звуковых вариантов корней.

Особо следует подчеркнуть, что автор при всем своем старании уклониться от элементов фонетики не смог этого сделать. Получилось, что, вопреки его установкам, фонетика кое-где, так сказать, сама ворвалась в материал. Но так как фонетические факты представлены случайно, вне системы, они не помогли в объяснении лексических явлений (см., например, стр. 79).

Общее наше заключение: новые планы дают полную возможность начать серьезную и интересную работу со студентами, помогающую им понять живые процессы в языке.

А. В. Миртов

ДРЕВНЕЙШИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ГЛАГОЛА В ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ *

1

Исследование развития индоевропейского языка-основы представляет настолько большие трудности, что А. Мейе даже в принципе отрицал возможность его. Он писал: «Было бы наивно объяснять явления французского языка, не зная ни других романских языков, ни латинского; попытки объяснять индоевропейский язык не менее наивны и даже еще более нелепы потому, что мы не знаем самого индоевропейского языка, а имеем только системы соответствий, которые косвенно дают о нем представление»¹. Однако А. Мейе в этом вопросе не прав. Сравнительная грамматика не только устанавливает системы соответствий, но и дает нам некоторое общее (хотя и весьма неточное) представление о звуковой системе и грамматическом строе индоевропейского языка. И история развития последнего также отчасти доступна исследованию. Мейе полагает, что изучать развитие языка можно только путем сравнения его с родственными языками, и не учитывает того, что и сравнение разных форм одного языка может раскрыть кое-что в его истории. Некоторые возможности изучения развития грамматического строя общиндоевропейского языка возникают также благодаря тому, что отдельные языки ответвлялись от него неодновременно.

В частности, определенные особенности грамматического строя хеттского (неситского) языка дают основание думать, что он несколько раньше других индоевропейских языков отделился от языка-основы. Такими особенностями являются наличие в хеттском языке только двух родов — активного и пассивного, отсутствие в нем именных падежных окончаний множественного числа на *bh-* и на *m-* (которые образовались в разных диалектах общиндоевропейского языка независимо друг от друга и являются, повидимому, более поздними по происхождению, чем другие падежные окончания), широкое развитие гетероклитических именных основ на *r/n*, функционирование глагольных приставок как отдельных слов и отсутствие аориста в грамматической системе глагола.

И опыт сравнительно-исторического языкознания показывает, что возможно выяснение отдельных явлений, имевших место в развитии общиндоевропейского языка.

Открытия в области индоевропейского сравнительно-исторического языкознания, сделанные в XX в., дают возможность поставить вопрос о древнейших грамматических категориях глагола индоевропейского языка. Система грамматических категорий глагола, приписываемая обычно индоевропейскому языку, является результа-

* Отставание сравнительно-исторических изучений, вызванное в свое время господством «нового учения» о языке, сказавшееся и на подготовке научных кадров, пока еще нельзя считать преодоленным. В статье А. Н. Савченко преподаватели языковедческих дисциплин, специалисты по языкознанию найдут обобщение данных по одному из важных вопросов сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков.—*Ред.*

¹ А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 81.

том напластований разных эпох, а некоторые из этих категорий развились в индоевропейских языках, в основном, уже после их разделения. Начнем с тех категорий, которые в письменно зафиксированных древних индоевропейских языках получили главным образом значение времени.

2

К числу грамматических категорий, которые возникли в самый последний период существования общиндоевропейского языка, а может быть, и после его разделения, относится будущее время. Его нет в хеттском и древних германских языках, а в славянском и латинском оно было новообразованием. К общиндоевропейскому языку возводятся только формы будущего времени с суффиксом * -sjo- или * -so-, существующие в индо-иранских, греческом и балтийских языках. Пережитки этих форм фигурируют в латинском языке: *faxō, dixō, capō*¹. Но и в отношении этих форм соответствие между упомянутыми языками неполное². А. Мейе с достаточным основанием полагает, что эти формы имели раньше дезидеративное значение³. Возможно, что еще в некоторых диалектах общиндоевропейского языка они получили значение будущего времени, но можно также предположить (хотя и с меньшей вероятностью), что последнее значение развилось в отдельных индоевропейских языках после разделения, независимо друг от друга.

В греческом и индо-иранских языках есть формы имперфекта, образованные от основ настоящего времени при помощи аугмента и так называемых вторичных окончаний. Аугмент вообще выступает только в формах прошедшего времени, в ведийских и гомеровских текстах он был необязательным, и некоторые языковеды с полным основанием заключили, что он первоначально был наречием, обозначающим прошедшее время⁴. «Вторичные» личные окончания отличаются от «первичных», как известно, отсутствием конечного -i во всех личных формах единственного числа и в 3-ем лице множественного числа. Еще в прошлом высказывалась мысль, что это -i было первоначально показателем настоящего времени⁵. Факты открытого впоследствии хеттского языка полностью подтвердили это предположение. В хеттском языке не только общиндоевропейские окончания настоящего времени -mi, -si, -ti, -nti имеют в своем составе показатель -i, но и особое хеттское окончание 1-го лица единственного числа -ḫ-, выступающее в прошедшем времени в сочетании с окончанием -un, в настоящем времени сопровождается показателем -i (*sakḫ-i* «знаю»); последний распространился и на окончания 1-го и 2-го лица множественного числа.

Таким образом, имперфект характеризовался показателем прошедшего времени и отсутствием показателя настоящего времени. Очевидно, имперфект с самого начала имел значение прошедшего времени и других значений не имел. Между тем категория времени, как известно, не была свойственна глаголу общиндоевропейского языка. Значения настоящего и прошедшего времени развились в индоевропейских языках главным образом из более ранних видовых значений. Повидимому, имперфект возник в ту эпоху, когда видовые значения глагола уже преобразовались во временные и от основ презенса, имевших значение длительности, производились формы и настоящего, и прошедшего времени. Это могло происходить либо на последнем этапе развития общиндоевропейского языка, либо уже после его разделения. Следовательно, имперфект не относится к числу древнейших категорий индоевропейского глагола. Если он возник еще в языке-основе, то скорее всего как диалектное явление. Несомненно, общиндоевропейскими и притом древними категориями были презенс, аорист и перфект.

Категория настоящего времени есть во всех языках этой семьи. Формы настоящего времени индикатива актива имеют наибольшую общность в индоевропейских языках. Индоевропейские личные окончания настоящего времени, лучше всего сохранившиеся в санскритском языке и в хеттском спряжении на -mi, а в отношении первого лица единственного числа — в греческом, выступают в той или иной степени и в других древних индоевропейских языках, либо в полном виде, как в славянских, либо в редуцированном, с отсутствием конечного -i, как в латинском и германских языках. И характер основы настоящего времени общий в индоевропейских языках, вплоть до таких частностей, как отдельные суффиксы.

¹ См. А. Эрну, Историческая морфология латинского языка, М., 1950, стр. 195.

² См. А. Мейе, указ. соч., стр. 229.

³ См.: там же, стр. 230; его же, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 193.

⁴ См.: К. Вrugmann и В. Delbrück, Grundriss der vergl. Grammatik der indogerm. Sprachen, Bd. II, Teil III, Lief. 1, Strassburg, 1913, стр. 10—11; В. А. Богородицкий, Краткий очерк сравнительной грамматики арио-европейских языков, Казань, 1917, стр. 178.

⁵ См. К. Вrugmann и В. Delbrück, Grundriss..., Bd. II, Teil III, Strassburg, 1916, стр. 594.

Аорист также был в свое время широко распространен в индоевропейских языках. Он являлся действующей категорией в древних индо-иранских, греческом, армянском и славянских языках. Явные пережитки его есть в латинском языке среди форм латинского перфекта. В кельтских языках формы прошедшего времени некоторых глаголов восходят к аористу, некоторых — к перфекту. Следы аориста исследователи отмечают и в германских языках — в огласовке форм множественного числа сильного претерита и особенно в западногерманских языках — в огласовке 2-го лица единственного числа претерита¹.

Перфект является действующей категорией в древних индо-иранских и греческом языках; от него, в основном, происходит претеритум сильных глаголов в германских языках; явные пережитки его есть в италийских и кельтских языках, одна форма *ēdd* сохранилась в старославянских и древнерусских письменных памятниках. Некоторые признаки, общие с перфектом, языковеды отмечают и в хетском спряжении на *-hi* (подробнее об этом см. ниже).

Индоевропейский аорист является результатом сочетания в одной системе разных по происхождению форм: так называемых простых и сигматических. В отношении сигматических форм А. Мейе показал довольно убедительно, что они более позднего происхождения, чем простые². Он обратил внимание на то, что сигматический аорист по-разному применяется в индоевропейских языках, даже ближайше родственных. Так, этот аорист широко распространен в индо-иранских и греческом языках, меньше — в кельтских и совершенно отсутствует в германских; он часто употребляется в древних славянских текстах, но отсутствует в балтийских языках; некоторые формы его есть в латинском языке, но их нет в осско-умбрском. Случаи применения сигматического аориста, которые можно было бы возвести к общиндоевропейскому языку, как санскр. *ddiksi*, греч. *ἔδεξα*, лат. *dixi*, единичны. Это можно объяснить тем, что в языке-основе сигматический аорист был мало развит и сформировался и распространился главным образом в отдельных индоевропейских языках. При этом Мейе указал также на то, что показатель аориста *-s-* не обладает свойствами, присущими суффиксам в индоевропейских языках: не сопровождается гласным *elo*, вследствие чего чередование гласных при спряжении глагола в аористе происходит не в слоге, предшествующем непосредственно окончанию, а в слоге, предшествующем показателю *s*. Из этого Мейе делает вывод, что *s* было не суффиксом, обозначавшим аорист, а распространением корня. Основу, распространенную таким образом, он отмечает и в будущем времени индо-иранских, греческого и балтийских языков, и в индо-иранском дедидеративе, и в итало-кельтском конъюнктиве (и футуруме) на *-s-*. Повидимому, сигматический аорист представлял собой производную глагольную основу, использованную в разных значениях, в том числе и в значении аориста.

Простые же формы аориста при исследовании их обнаруживают свое древнее происхождение и глубокую связь с формами настоящего времени. От последних они отличаются «вторичными» личными окончаниями, некоторыми особенностями основы и в ряде языков — наличием аугмента. «Вторичные» личные окончания и аугмент свойственны также имперфекту и являются показателями прошедшего времени.

Но значение прошедшего времени у аориста не является первоначальным. Установлено окончательно, что формы презенса и аориста первоначально имели не временное значение, а видовое: презенс обозначал действие в его длительности, его течении, а аорист не имел этого оттенка значения и поэтому обозначал либо самый факт совершения действия, безотносительно к его длительности, либо заключительный момент действия, его завершенность³. Следовательно, и рассмотренные внешне отличия аориста от презенса — вторичные окончания и аугмент — не являются первоначальными, а возникли тогда, когда аорист получил уже значение прошедшего времени. Первоначально формы аориста отличались от презенса только особенностями основы.

Но эти особенности основы не представляли собой чего-нибудь единого, они были разнообразны у разных глаголов и, главное, были свойственны не только аористу: типы основ, которые у одних глаголов служили для образования аориста, у других имели значение презенса. Так, в санскрите и греческом ряд глаголов имеет тематическую основу аориста с редуцированной огласовкой корня (и в формах, не имеющих аугмента, как греческий инфинитив, — с ударением на тематическом гласном) при основе презенса с полной огласовкой корня и ударением на нем, например: греч. наст.

¹ См.: А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр. 221—222; J. Sverdrup, Der Aorist im germanischen Verbalssystem und die Bildung des starken Präteritums, «Festschrift til Hjalmar Falk», Oslo, 1927; В. М. Жирмунский, История немецкого языка, 3-е изд., М., 1948, стр. 227.

² См. A. Meillet, Sur l'aoriste sigmatique, «Mélanges de linguistique offerts à M. Ferdinand de Saussure», Paris, 1908.

³ См. K. Brugmann und B. Delbrück, Grundriss..., Bd. II, Teil III, Zief. 1, 1913, стр. 70—71 и 79—80; А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр. 261—262.

λείπω — аор. ἔλιπον (инф. λείπειν — λιπεῖν), φεύγω — ἔφυγον (φεύγειν — φυγεῖν), πύθασθαι — πύθεσθαι, δέσχωμαι — ἔδρaxon «смотреть», санскр. наст. *bōdhati* — аор. *ābudhat* «проспать»; знать, *rōḍiti* — *arudat* «плакать, горевать», *dhārṣati* — *ādhṛsat* «отваживаться», *rōcate* — *ārucat* «блистать», *sārpati* — *dsrpat* «ползть». Но другие глаголы, особенно в санскритском языке, имеют такую же основу в настоящем времени. В санскритской грамматике эти глаголы выделяются в шестой класс: *tudāti* «ударяет», *viçāti* «входит», *srjāti* «отпускает», *girāti* «глотает», *kirāti* «рассыпает», *sprçāti* «касается» и др. В греческом этих глаголов сохранилось очень мало, и ударение в них переместилось на корень: κίω «иду», γλύφω «вырезаю», γράφω «пишу»¹. С другой стороны, некоторые глаголы в аористе имеют тематическую основу с полной огласовкой, как греч. ἔγενόμην «я родился», ἔτεκον «родил», ἔθεμεν «мы положили», санскр. *ākarat* «сделал».

Есть глаголы, имеющие в аористе корневую основу. Некоторые из этих основ есть не только в санскрите и греческом, но и в других индоевропейских языках: санскр. *ādāt* «дал», греч. ἔδων «я дал», ἔδομεν «мы дали», слав. *da*, арм. *et* «он дал», авест. *āsthāt* «стал», греч. ἔστη, слав. *sta*; санскр. *ādhāt* «положил», греч. ἔθη, ἔθεμεν, арм. *ed*; санскр. *āgāt* «пришел», греч. ἔβην; санскр. *āpāt* «вышел». Но корневые основы есть и в настоящем времени: санскр. *ēti* «идет», греч. εἶμι, лат. *i*; санскр. *āsti*, слав. *Жсть*, греч. ἐστί, лат. *est*; санскр. *çētē* «лежит», греч. κεῖται; греч. φημι и др.

Есть основы аориста с удвоением корня: санскр. *ācakamat* «любил», *ātitarat* «переправил», *ābūbudhat* «будил», *ājījanat* «родил» и др.; греч. ἤγαγον «привел», ἠόρον «поднял», ἐκέλευε «побудил; приказал» и др. Но основы с удвоением довольно широко представлены и в настоящем времени; факты общеизвестны.

Некоторые факты показывают, что употребление той или иной основы в значении аориста или настоящего времени было тесно связано с лексическим значением глагола. Такие факты подметил Мейе в нетематических основах. Он указал, что если корень выражает действие само по себе (*l'action pure et simple, sans indication du développement*), то корневая основа имеет значение аориста; в значении презенса употребляется тогда более сложная основа, часто с удвоением, как, например, аорист санскр. *ādhāt*, арм. *ed*, греч. ἔθεμεν и презенс санскр. *dādhāmi*, греч. τίθημι, лит. *dēsti*, арм. *dnem*. Если же, наоборот, корень выражает действие в его развитии (*le développement de l'action*), то корневая основа является презенсом, например санскр. *āsti*, греч. ἐστί, слав. *есть* и др.; если при этом есть необходимость выразить данное действие само по себе (*l'action pure et simple*), то для этого применяется обычно другой корень, например санскр. *atti-aghah*, арм. *utem-keray*, греч. ἔδω (ἔσθίω) — ἔφαγον². Поэтому вполне можно согласиться с мнением К. Вругмана, что аорист развился на основе лексических значений некоторых групп глаголов. Он выразил мысль, что образование аориста началось с того, что в индоевропейском языке были некоторые глаголы с основой типа **bhudhó-* (т. е. с ударением на тематическом гласном и с редуцированной огласовкой корня), которые сами по себе имели «перфективное» значение, т. е. выражали какой-то момент, а не длящийся процесс. Такое же значение имели и некоторые глаголы с корневой основой и долгим гласным типа **stā-*. В дальнейшем «перфективное значение ассоциировалось вообще с такими типами основы, и эти типы стали продуктивными именно в таком направлении»³.

Более определенные и более древние отличия от презенса имеет индоевропейский перфект. Он отличается особенными личными окончаниями и огласовкой *o* вместо *e* в слове, предшествующем окончанию, в формах единственного числа. В индо-иранских и греческом языках перфект обычно (за немногими исключениями) характеризуется также удвоением корневого слога, но эта черта не является общим признаком перфекта. В латинском языке среди форм, восходящих к древнему перфекту, есть целый ряд форм без удвоения, а из германских языков только готский имеет формы, восходящие к древнему перфекту с удвоением, и то в немногих глаголах.

На основании этих фактов можно заключить, что формы аориста имеют общее происхождение с формами презенса, но перфект с самого начала противостоял презенсу-аористу как особая грамматическая категория. Наличие у перфекта особых личных окончаний свидетельствует о том, что в эпоху образования личных окончаний он уже существовал как категория, противоположная презенсу.

¹ См. K. Brugmann und B. Delbrück, Grundriss..., Bd. II, Teil III, Lief. 1 1913, стр. 125, 127, 131—132.

² См. A. Meillet, Sur l'aoriste sigmatique, стр. 83—95.

³ K. Brugmann und B. Delbrück, Grundriss..., Bd. II, Teil II, Lief. 1, 1913, стр. 80.

Итак, к числу древнейших грамматических категорий индоевропейского глагола относятся презенс (с аористом) и перфект. Каково же было их первоначальное значение? Ряд исследователей, главным образом Б. Дельбрюк (см. его «Сравнительный синтаксис индоевропейских языков»), устанавливает, что перфект в индоевропейском языке обозначал состояние, достигнутое в результате предшествующего действия¹. Но впоследствии Я. Вакернагель и П. Шантрэн², исследуя значения перфекта в греческом языке, обнаружили в нем явственные следы более древнего значения — значения состояния вообще.

Это значение, во-первых, имеет перфект целого ряда глаголов в гомеровских текстах. Шантрэн привел много примеров³. Правда, к ним он присоединил и некоторые перфекты, имеющие и результирующий оттенок значения, как, например, τέτροφα «я отвердел, свернулся», τέτληκα «я растаял, растопился», σέσθηκα «я сгнил, гнилой», λέλυμαι «я освобожден», βέβηκα «я пришел и нахожусь здесь» или «ушел и отсутствую», εἰλήλουθα «я пришел и нахожусь здесь», πέφευγα «я бежал и нахожусь в бегстве», но в большинстве примеров перфект имеет значение только состояния, например: μέμνηκα «думаю, намереваюсь», μέμνημαι «вспоминаю», τέτρωμαι «я разумен» и др.; κεχαρισμαι «я приятен, нравлюсь», γέγηθα «радуюсь», μέμηλε μοι «я забочусь, у меня лежит на сердце», ἀγάχημαι «я печален» и др.; κεκόρημαι «я сыт», δέδαχμαι «проливаю слезы», κέκμηκα «я утомлен», ἐδωδα «шагну» и др.; ἔστηκα «стою», κέκλιμαι «лежу», τέταμαι «лежу, простираюсь», ἐρτρέδαται «опираются» и др.; τέθηλα «нахожусь в расцвете», δέδρα «горю» и др.

Во-вторых, для установления первоначального значения перфекта показательно то, что в древнейших греческих текстах, особенно гомеровских поэмах, перфект в отношении времени больше относится к области настоящего, чем прошедшего. На это указал еще Г. Курциус⁴, выделивший основные группы глаголов, у которых перфект имеет значение настоящего времени. Впоследствии это подтвердил Я. Вакернагель, ссылаясь на материалы и классификацию Курциуса⁵. Шантрэн утверждает, что в поэмах Гомера все глаголы в перфекте имеют по существу значение настоящего времени⁶.

Обычным значением перфекта в древнейших произведениях греческой литературы было значение состояния как результата предшествующего действия. Прежде текущее действие при этом мыслится как заверщенное. Состояние, выражаемое перфектом, относится к настоящему времени; заверщенное действие, в результате которого возникло это состояние, — к прошедшему. Естественно, что когда в значении перфекта стал усиливаться момент заверщенного (результативного) действия, то он стал включаться в категорию прошедшего времени, служить одной из форм последнего. Но то обстоятельство, что в гомеровских поэмах перфект относится, в основном, к настоящему времени, показывает, что в то время в его значении главным был момент состояния.

В-третьих, показательно то, что в древнейших греческих текстах активная форма перфекта соответствует во многих случаях медиальной форме презенса. Например, глагол γίγνομαι, имеющий в настоящем времени только медиальную форму (с пассивным значением), в перфекте имеет только «активную» форму — γέγονα, πείθομαι «повинуюсь» — πέποιθα, βούλομαι «хочу» — προβέβουλα, ἔρνωμαι «поднимаюсь» — ἔρωρα. Шантрэн утверждает, что в гомеровских поэмах нет ни одного случая перфекта с двумя рядами окончаний — активными и медиальными — и с соответствующими оттенками значений. Несколько отдельных случаев, когда перфект у Гомера имеет и активные, и медиальные формы с соответствующими значениями (например, βεβλήκει — βεβλήεται, πεπλήγηός — πεπλήγημένος, λέλοιπε — λέλειπται), он считает новообразованиями⁷. Шантрэн привел также много примеров активных перфектов, соответствующих медиальным презенсам, из произведений греческой литературы более поздних периодов.

В санскритском языке древнейшее значение перфекта не сохранилось, но и здесь есть случаи, когда активные формы перфекта соответствуют медиальным формам

¹ См. K. Brugmann und B. Delbrück, Grundriss..., Bd. IV, 1897, стр. 177 и сл.
² См.: J. Wackernagel, Studien zum griechischen Perfectum, Göttingen, 1904; P. Chantraine, Histoire du parfait grec, Paris, 1927.

³ См. там же, стр. 8—11.

⁴ См. G. Curtius, Das Verbum der griechischen Sprache, seinem Baue nach dargestellt, Bd. II, Leipzig, 1880, стр. 174 и сл.

⁵ См. J. Wackernagel, Vorlesungen über Syntax, Basel, 1920, стр. 166—167.

⁶ См. P. Chantraine, указ. соч., стр. 18.

⁷ См. там же, стр. 22.

презенса. Л. Рену нашел в «Ведах» целый ряд таких случаев¹. Например, презенсу *bhāyatē* «боятся» соответствует перфект *bibhāya*, *mōdatē* «радуется» — *mumōda* — *pādyatē* — *parāda*, *māśyatē* «пренебрегает» — *mamārša*, *jaratē* — *jāgāra*, *caksatē* «является, видит» — *cacākṣa*, *māratē* «умирает» — *mamāra*, *sūtē* «рождает» — *susūva*.

Если при этом принять во внимание, что в санскритском языке, так же как и в греческом, только «активные» окончания перфекта являются особыми, свойственными только перфекту окончаниями, а медиальные окончания, в основном, те же, что и в настоящем времени, то становится ясным, что первоначальными окончаниями перфекта являются окончания, называемые активными, а окончания медиума возникли в перфекте позже, под влиянием презенса. К такому выводу, кроме П. Шантрена и Л. Рену, пришли также Б. Дельбрюк, А. Мейе и Е. Курилович².

Эта особенность перфекта обусловлена его первоначальным значением. Поскольку перфект обозначал состояние, противопоставление актива и медиума было ему чуждо. Значение состояния несовместимо со значением совершения чего-либо в свою пользу, свойственным медиуму. Пассивное значение, которое также было свойственно медиуму, было свойственно и перфекту. Оно было свойственно перфекту по его природе, т. е. перфект со своими первоначальными «активными» окончаниями имел пассивное значение, и особых еще медиальных окончаний для этого не требовалось.

Положение о том, что перфект выражал первоначально состояние, подтверждается также фактами хеттского языка. В хеттском языке нет перфекта, но некоторые следы его имеются. Е. Курилович и Э. Стертевант возводят к перфекту формы настоящего времени спряжения на *-hi*³. Действительно, окончание 2-го лица единственного числа презенса *-ti* имеет соответствие в других индоевропейских языках только в окончании 2-го лица единственного числа перфекта *-tha*. Тот факт, что в этом окончании *t* перед *i* не перешло в *z*, объясняют тем, что это *t* было придыхательным. Конечное *a* заменилось звуком *i*, потому что все окончания этого ряда снабжались показателем настоящего времени *-i*. Окончание *-i* 3-го лица единственного числа (*saki*) возводят к окончанию перфекта *-e*.

Есть в спряжении на *-hi* и некоторые следы огласовки, свойственной индоевропейскому перфекту. Так, глагол *sakhi* «знает», как показывают формы 1-го и 2-го лица множественного числа *sekweni*, *sekteni* и форма 3-го лица множественного числа прошедшего времени *seker*, имел также корневую огласовку *e*, но в формах единственного числа *e* заменено гласным *a*, который восходит к индоевропейскому *o*. У глагола *aki* «умирает» огласовка *a*, восходящая к индоевропейскому *o*, распространилась и на множественное число как настоящего времени, так и прошедшего, но уцелевшая форма 3-го лица множественного числа прошедшего времени *eker* (наряду с *aker*) показывает, что этот глагол имел и огласовку *e*. *A* замена корневого гласного *e* гласным *a* в данном случае может быть объяснена только связью с индоевропейским перфектом. Более широкого отражения огласовки индоевропейского перфекта в хеттском спряжении на *-hi* пока не удастся обнаружить ввиду того, что общиндоевропейское чередование гласных в хеттском языке сильно стерлось и подверглось воздействию грамматической аналогии.

Но окончания, родственные окончаниям индоевропейского перфекта, в хеттском есть не только в настоящем времени спряжения на *-hi*, но и в прошедшем времени обоих спряжений, и при сравнении с окончаниями прошедшего времени лучше разъясняется связь с перфектом окончаний настоящего времени спряжения на *-hi*.

В хеттском претерите есть прежде всего окончание 2-го лица единственного числа *-ta*, полностью соответствующее окончанию перфекта *-tha*. Очевидно, прямая связь с ним имеет и окончание 2-го лица единственного числа презенса *-ti*. *A* в ближайше родственном хеттскому языку «иероглифическом» хеттском и лувийском есть окончание 1-го лица единственного числа претерита *-ha*⁴, полностью соответствующее оконча-

¹ См. L. Renou, La valeur du parfait dans les hymnes védiques, Paris, 1925, стр. 140—142.

² См.: K. Brugmann und B. Delbrück, Grundriss..., Bd. IV, 1897, стр. 415; A. Meillet, Les désinences du parfait indo-européen, «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», t. 25, 1925; J. Kurjłowicz, Les désinences moyennes de l'indo-européen et du hittite, «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», t. 33, fasc. 1, 1932.

³ См.: J. Kurjłowicz, e indoeuropéen et h hittite, «Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski», vol. I, Cracoviae, 1927, стр. 103; E. H. Sturtevant, A comparative grammar of the hittite language, Philadelphia, 1933, стр. 239 и 256—257 (vol. I, rev. ed., New Haven—London, 1951, стр. 142).

⁴ См.: W. Couvreur, Les désinences hittites *-hi*, *-ti*, *-i* du présent et *-ta* du prétérit, «Annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves», t. IV (1936), Bruxelles, стр. 556; E. H. Sturtevant and E. A. Hahn, A comparative grammar..., 1951, стр. 131 и А. Десницкая, О хеттском языке [вступ. статья в кн.: И. Фридрих, Краткая грамматика хеттского языка, М., 1952], стр. 12.

нию перфекта-а. Полный параллелизм между окончаниями претерита *-ha, ta* и соответствующими окончаниями презенса *hi*-спряжения *-hi, -ti* показывает, что между обоими рядами окончаний есть связь. Повидимому, окончания *-hi, -ti* образовались из *-ha, -ta* в результате замены конечного *-a* показателем настоящего времени *-i*. Кроме того, в претерите есть окончание 3-го лица множественного числа *-er* («они знали», *eret* «они взяли», *eter* «они ели»), восходящее к соответствующему окончанию индоевропейского перфекта—санскр. *-ur* (*bibhyúr* «они боятся»), лат. *-re* (*vidēre* «они увидели»).

В. Куврёр в статье «Хеттские окончания *-hi, -ti, -i* презенса и *ha* претерита» отрицает связь хеттского презенса *hi*-спряжения с индоевропейским перфектом ссылаясь на различия в их значениях и в окончаниях множественного числа¹. Он утверждает, что окончания спряжения на *-hi* имеют связь с индоевропейскими окончаниями тематического спряжения. Первоначальным окончанием первого лица единственного числа тематического спряжения Куврёр, как и Х. Педерсен (несколько позже)², считает ларингальный согласный. В хеттском языке к нему был присоединен показатель настоящего времени *-i*, и так получилось окончание *-hi*. В других индоевропейских языках ларингальный слился с предшествующим тематическим гласным *o*, в результате чего получилось долгое *o*³. В отношении 2-го и 3-го лица единственного числа Куврёр, исходя из греческих *féreis, férei* и литовских *vedi* «ты ведешь», *vėža* «он везет», утверждает, что эти формы имели в тематическом спряжении одно и то же окончание **-ei*. Впоследствии каждый язык по-своему устранил это неудобное совпадение окончаний. Греческий сохранил окончание **-ei* в значении 3-го лица, а для выражения 2-го прибавил к нему *-s*. В литовском **-ei* закрепилось в значении 2-го лица, причем оно перешло в *-i*, а в форме 3-го лица заменилось окончанием *-a*. В хеттском языке **-ei* использовано в значении 3-го лица, причем оно перешло в *-i*⁴, а для выражения 2-го создано новое окончание *-ti* под влиянием соответствующего окончания претерита и медиопассажа *-ta*⁵.

Но положения В. Куврэра не обоснованы. Положение о том, что индоевропейским окончанием 1-го лица единственного числа тематического спряжения был ларингальный согласный, вызывает сомнения, поскольку сама теория индоевропейских ларингальных согласных до сих пор является весьма спорной. Утверждение, что индоевропейским окончанием 2-го и 3-го лица единственного числа тематического спряжения было *-ei*, не соответствует фактам. Окончание *-ei* могло существовать только в отдельных диалектах индоевропейского языка, но нельзя считать его единственным общиндоевропейским окончанием 2-го и 3-го лица единственного числа презенса тематического спряжения, потому что в большинстве индоевропейских языков все глаголы, как нетематические, так и тематические, во 2-м и 3-м лице единственного числа настоящего времени имеют окончания **-si* и **-ti*. Очень мало есть оснований возводить хеттское 3-е лицо единственного числа *-i* к **-ei* и совершенно нет оснований полагать, что **-ei* было в хеттском спряжении на *-hi* также окончанием 2-го лица единственного числа.

Однако по значению спряжение на *-hi* не имеет заметных отличий от спряжения на *-ti*. Замечание Х. Педерсена, что *hi*-спряжение было, вероятно, первоначально непереходным⁶, не подтверждается анализом значений соответствующих глаголов. К обоим хеттским спряжениям относятся глаголы как переходные, так и непереходные.

Для того чтобы выяснить, каково было значение окончаний спряжения на *-hi*, в отличие от спряжения на *-ti*, нужно обратить внимание на их связь с окончаниями медиопассажа (единственного числа). Настоящее время медиопассажа имеет окончания в 1-м лице единственного числа *-hari* (например, *yahari* «иду»), во 2-м лице — *-tari* (например, *esari* «сидишь») или *-tati* (*kestati* «становишься»), в 3-м — *-ari* (*esari* «сидит») или *-tari* (*yatari* «идет»). Конечное *-ri* (в 1-м лице *-ti*) есть и в формах множественного числа. Это *-ri* (или *-ti*), являющееся показателем медиопассажа, во всех формах, кроме 1-го лица единственного числа, может и отсутствовать (например, *pahsa* «ты защищаешься», *esa* «он сидит»). Перед ним во всех формах имеется *-a*, которое также является показателем медиопассажа. За вычетом его остаются формы 1-го лица единственного числа на *-h*, 2-го лица на *-t* и 3-го лица — чистая основа⁷, т. е. формы настоящего времени спряжения на *-hi* без показателя настоящего времени *-i*.

¹ См. W. Couvreur, указ. соч.

² См. H. Pedersen, *Hittitisch und die anderen indoeuropäischen Sprachen*, København, 1938, стр. 81.

³ См. W. Couvreur, указ. соч., стр. 554.

⁴ См. там же, стр. 557.

⁵ См. там же, стр. 559—560.

⁶ См. H. Pedersen, указ. соч., стр. 85.

⁷ В 3-м лице единственного числа есть и форма на *-t(yatari* «идет»), но она, вероятно, перенесена из 2-го лица.

Медиопассив выражает пассивное состояние субъекта или то, что субъект действует на или в отношении себя самого¹. Тот факт, что окончания медиопассива образованы от окончаний спряжения на *-hi*, показывает, что последние, в отличие от окончаний спряжения на *-mi*, имели в какой-то степени пассивное значение. Учитывая связь их с окончаниями индоевропейского перфекта, можем утверждать на этом основании, что формы спряжения на *-mi* первоначально имели грамматическое значение действия, а формы спряжения на *-hi* — состояния. В эпоху хеттских письменных памятников это различие в значениях было уже утрачено.

Таким образом, формы, родственные индоевропейскому перфекту, в хеттском языке есть не только в презенсе спряжения на *-hi*, но и в претерите и медиопассиве обоих спряжений. Трудно представить себе, чтобы эти категории образовались непосредственно из перфекта, тем более, что не все окончания их можно возвести к окончаниям последнего. Скорее можно предположить, что хеттский язык унаследовал от индоевропейского систему форм, выражавших состояние, но еще не ставших перфектом. Похоже на то, что хеттский язык отделился от индоевропейского в ту эпоху, когда в последнем еще не завершилось формирование перфекта.

Вероятно, в ту эпоху и аорист еще не сложился. Э. Стертевант утверждает, что в хеттском языке есть пережитки сигматического аориста². К ним он относит элемент *s*, который есть у некоторых глаголов спряжения на *-mi* в формах настоящего времени (например, *damaszi* «давит, покоряет», *paszi* «пьет», *kaneszi* «находит, получает», *paraisteni* «отсылаете, дуете»), в окончании *-s* 3-го лица единственного числа претерита некоторых глаголов спряжения на *-hi* (*esesta* «совершил», *memista* «сказал», *unnesta* «пригнал» и др.), в окончании *-s* 3-го лица единственного числа претерита глаголов на *-hi* (*akkis* «умер», *sakkis* «знал», *wakas* «ушел» и др.). Но это сомнительно. Трудно признать пережитки аориста в формах настоящего времени, потому что в индоевропейских языках при развитии категории времени аорист получал значение только прошедшего времени, но не настоящего. Странным кажется, что хеттский язык, известный из столь древних письменных памятников и сохранивший в себе ряд архаичных черт грамматического строя индоевропейского языка, утратил аорист в большей степени, чем другие языки этой семьи, и при этом сохранил пережитки (очень невыразительные) только сигматических форм, а от более древнего простого аориста ничего не сохранил. Более вероятным кажется, что хеттский язык и не имел вполне сложившейся категории аориста, потому что отделился от общиндоевропейского языка еще до полного оформления этой категории.

Итак, перфект образовался из системы форм, выражавших состояние. Следовательно, презенс и аорист образовались из форм, выражавших действие.

4

В грамматической системе индоевропейского глагола были также категории залога и наклона. Залогов было два: актив и медиопассив. Последний, особенно в применении к греческому и индо-иранским языкам, называют обычно медиумом, но он имел также и пассивное значение, и вернее называть его медиопассивом. Как изложено выше, перфект не имел первоначально медиопассива; медиальные формы развились в перфекте под влиянием презенса. Разделение форм на активные и медиальные равные было свойственно только системе презенса-аориста.

Неоднократные попытки объяснить происхождение медиопассива не дали положительных результатов³. Одно несомненно: формы медиопассива различно складывались в диалектах индоевропейского языка. С одной стороны, есть формы медиопассива греческого и санскритского типа, которые характеризуются особыми личными окончаниями (**-ai**, *-sai*, **-tai* и т. д.). С другой стороны, в италийских и кельтских языках есть формы пассива с характерным показателем *-r* (лит. *laudo-r*, *laudatu-r* и т. д.). До недавнего времени в сравнительной грамматике было принято, что формы медиопассива такого типа, как в греческом и индо-иранских языках, были общиндоевропейскими и в остальных индоевропейских языках были утрачены, а формы пассива с показателем *-r* являются италийским и кельтским новообразованием. Но

¹ См. E. H. Sturtevant, A comparative grammar..., 1933, стр. 250 (vol. I—1951, стр. 138).

² E. H. Sturtevant, The s-Aorist in Hittite, «Language», vol. VIII, № 2, 1932.

³ См.: E. H. Sturtevant, The origin of the medio-passive, «Language», vol. VII, № 4, 1931; J. Kurylowicz, Les désinences moyennes de l'indo-européen et du hittite; J. Saffarewicz, Medialne końcówki prezentywne w języku indoeuropejskim, «Bulletin international de l'Académie Polonaise des sciences et des lettres. Classe de philologie. Classe d'histoire et de philosophie», Cracovie, 1938, № 7—10; A. Vaillant, Les origines du médio-passif, «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», t. 42, fasc. 1, 1946.

открытие тохарского и хеттского языков приводит к пересмотру этого положения. Оказалось, что формы на *-r* были и в тохарском языке, причем выражали здесь не только пассив, но и медиум¹. Этот же элемент в виде *-ri* служит для выражения медиопассива в хеттском языке, хотя и является здесь не единственным и не обязательным показателем медиопассива. Хеттский медиопассив имеет свои особые личные окончания (*-ha*, *-ta*, *-a* или *-ta* и т. д.), но к ним часто, хотя и не обязательно, присоединяется еще элемент *-ri* (*ya-ha-ri* «иду», *es-ta-ri* «сидишь», *es-ta-ri* «сидит», *ya-ta-ri* «идет»). Значение хеттского медиопассива сходно со значением греческого и санскритского медиума². Эти факты свидетельствуют о том, что элемент *-r* был показателем медиопассива еще в общиндоевропейском языке. Вместе с тем греческие и индо-иранские формы медиопассива имеют общее происхождение и их также нельзя считать греческим и индо-иранским новообразованием, они тоже восходят к общиндоевропейскому языку. Пережитки этой системы медиопассива в готском языке показывают, что она была свойственна и германским языкам. Повидному, одни и другие формы медиопассива существовали в общиндоевропейском языке, в разных его диалектах.

Что касается значения, то более древним было, повидному, значение медиума. В индоевропейских языках наблюдается вообще тенденция к замене медиального значения пассивным. Так, в греческом языке формы медиума нередко имеют уже пассивное значение. Готский медиопассив, судя по его окончаниям, имеет происхождение общее с греко-санскритским медиумом, т. е. и сам первоначально был медиумом, но в готских письменных памятниках имеет уже пассивное значение. Показатель итало-кельтского пассива *-r* есть и в хеттском языке (в виде элемента *-ri*), но здесь он является показателем медиума. Возможно, что и в латинском и кельтских языках он имел первоначально медиальное значение. Формы пассива в латинском языке не у всех глаголов имеют пассивное значение: у *verba deponentia* они имеют активное значение. Это может быть результатом того, что формы латинского пассива имели первоначально значение, близкое к значению греческого медиума. Поэтому можно думать, что значение итало-кельтского пассива также является проявлением тенденции к переходу от медиального значения к пассивному.

Наиболее архаичные черты имеет, повидному, хеттский медиопассив. Его окончания единственного числа настоящего времени, как показано выше, происходят от окончаний категории состояния. Кроме того, его формы снабжаются (во в некоторых случаях еще необязательно) элементом *-ri* или *-ti*. Эти два способа выражения медиопассива в разных диалектах индоевропейского языка получили различное применение. Отсюда — выражение медиопассива в готском, греческом и индо-иранских языках особыми окончаниями, а в италийских, кельтских и тохарском — элементом *-r*.

В свете хеттских фактов находит свое объяснение загадочная особенность готского медиопассива — конечное *-a*. В хеттских формах медиопассива к личным окончаниям *-h*, *-t*, а в 3-м лице единственного числа — к чистой основе также присоединяется *-a*, которое было, повидному, показателем пассивности. Это *-a* есть и в окончаниях 1-го и 2-го лица единственного числа индоевропейского перфекта *-a*, *-tha*. Конечное **ai* греческих и индо-иранских «первичных» окончаний медиопассива **-ai*, **-sai*, **-tai*, **-ntai* может быть объяснено как такое же *-a* + показатель настоящего времени *-i*. Эти обстоятельства, а также сходство санскритского «вторичного» окончания 2-го лица единственного числа медиума *-thāḥ* с соответствующим окончанием перфекта *-tha* дают возможность предположить, что медиопассив также имеет некоторую связь с древнейшей глагольной категорией состояния.

Коренное различие в формах медиопассива по диалектам свидетельствует о том, что образование его относится к эпохе усилившихся диалектных расхождений в индоевропейском языке, а это в свою очередь дает возможность заключить, что медиопассив не относится к числу древнейших категорий индоевропейского глагола.

В категории наклонения есть образование различного происхождения и различной древности. Сейчас ничего еще нельзя сказать о происхождении конъюнктива и опатива, но есть основания полагать, что императив является одной из древнейших грамматических категорий индоевропейского языка.

К общиндоевропейскому языку можно возводить следующие формы повелительного наклонения: форму 2-го лица единственного числа без окончания (санскр. *bhāra*, греч. *φῆε*, арм. *ber*, гот. *bair*, др.-ирл. *ber* «неси», лат. *lege* «читай», хет. *ep* «бери»); форму 2-го лица единственного числа с нетематической основой и окончанием **-dhi* (санскр. *i-hi*, авест. *i-di*, греч. *ἴ-θι* «иди», санскр. *vid-dhi*, греч. (F) *ἴσ-θι* «знай»); форму с окончанием **tōd*, которая в санскритском и латинском имеет значение 2-го и 3-го лица единственного числа, а в греческом — только 3-го (санскр. *bhāra-tat*, греч.

¹ См. Н. Pedersen, *Tocharisch vom Gesichtspunkt der indoeuropäischen Sprachvergleichung*, København, 1941, стр. 152—153.

² См.: Е. Н. Starbent, *A comparative grammar...*, 1933, стр. 250 (vol. I — 1951, стр. 138); И. Фридрих, *Краткая грамматика хеттского языка*, стр. 142.

feré-tw, лат. *es-tō*, др.-лат. *tōd*); форму 2-го лица множественного числа с окончанием *-te* (санскр. *bhāra-ta*, греч. *φέρε-τε*, лат. *fer-te*, гот. *nimi-þ*, хет. *ep-te-n* «берите»); формы 3-го лица единственного и множественного числа с окончаниями *-tu*, *-ntu* (санскр. *bhāra-tu*, *bhāra-ntu*, хет. *ep-tu*, *ap-antiu*).

Исследованием форм индоевропейского повелительного наклонения занимался специально Р. Турнейзен¹. Этому вопросу касались также К. Бругман и А. Мейе в своих общих курсах². Все трое исследователей пришли к достаточно обоснованному выводу, что первоначальной индоевропейской формой повелительного наклонения была только чистая основа. Окончания **-dhi* и **-tod* возводятся к частицам, присоединявшимся к глагольной основе, которая сама выражала повелительность. Форма 2-го лица множественного числа на *-te*, как заметил Б. Дельбрюк³, могла быть формой презенса, включившейся в систему императива.

Основа глагола, ставшая повелительным наклонением, первоначально, повидимому, не относилась ни к какому лицу, а выражала побуждение вообще, и только вследствие того, что с побуждением обращаются чаще всего ко 2-му лицу, получила значение 2-го лица. Правильность этого вывода подтверждается также тем, что чистая глагольная основа служит формой 2-го лица единственного числа повелительного наклонения и в ряде других семей языков, например, в тюркских языках, монгольских, ряде угро-финских языков (мар. *тол* «приди», *луд* «читай», удм. *ветлы* «ходи», *кора* «руби», коми *мун* «иди», *ло* «будь», лопарск. *sarn* «говори», вогульск. *мин* «пойди»), в некоторых языках северного Кавказа⁴.

В. А. Богородицкий, сопоставляя выражение 2-го лица единственного числа повелительного наклонения с чистой основой глагола в тюркских и, с другой стороны, в индоевропейских языках, выразил такую мысль: «Это обстоятельство можно считать отголоском того, что именно приказание или призыв к известному действию были по времени своего возникновения древнейшим проявлением глагольности, т. е. подобно звательной форме в имени, которая может даже рассматриваться, как род подлежащего ко 2 ед. повел.»⁵.

Можно думать, что разделение изъявительного и повелительного наклонений в индоевропейском языке произошло в эпоху образования личных окончаний, причем форма повелительного наклонения, оставшаяся без окончания, противостояла формам изъявительного наклонения, получившим личные окончания. Следовательно, можно думать, что повелительное наклонение, выражавшееся чистой основой глагола, относится к числу древнейших категорий индоевропейского глагола.

Формы же изъявительного наклонения разделялись, в свою очередь, на формы действия и состояния. Различались они главным образом личными окончаниями. Один и тот же показатель обозначал действие или состояние и лицо и число. Следовательно, и категории лица и числа являются столь же древними. Таким образом, древнейшими глагольными категориями в индоевропейском языке можно признать категории действия, состояния, повелительности, а также лица и числа.

А. Н. Савченко

¹ См. R. Thurneysen, Der indogermanische imperativ, «Zeitschrift für vergl. Sprachforschung auf dem Gebiete der indogerm. Sprachen», Bd. XXVII, N. F. Bd. VII, 1885.

² См.: K. Brugmann und B. Delbrück, Grundriss..., Bd. II, Teil III, 1916, стр. 569 и 572; А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, стр. 249.

³ См. K. Brugmann und B. Delbrück, Grundriss..., Bd. IV, 1897, стр. 364.

⁴ См., например, Л. И. Жирков, Табасаранский язык, М.-Л., 1948, стр. 112.

⁵ В. А. Богородицкий, Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками, Казань, 1934, стр. 134.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Русско-белорусский словарь. Около 86000 слов. Под ред. Я. Коласа, К. Крапвы и П. Глебки. — М., Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1953, 788 стр. (Ин-т языкознания АН БССР.) [Тит. л. паралл.— на русск. и белорусск. языках.]

Выход в свет русско-белорусского словаря, созданного в результате многолетней работы белорусских лексикографов, является значительным событием в советской лексикографии. В истории белорусской лексикографии рецензируемый словарь представляет собой первое научное издание подобного типа. Этим прежде всего определяется его значение и необходимость внимательного разбора и объективной оценки. Рецензируемый словарь должен сыграть большую роль в деле развития белорусского литературного языка и укрепления культурных связей белорусского и русского народов, тесно связанных на протяжении всей своей истории. «Настоящий Русско-белорусский словарь ставит своей целью удовлетворить потребности языковой практики белорусского народа и должен явиться пособием при переводах с русского языка на белорусский. Он должен также помогать белорусскому читателю в его работе над русской общественно-политической, научной и художественной литературой» («Предисловие», стр. 5).

Выход в свет каждого нового большого лексикографического издания по любому из национальных языков Советского Союза имеет большое значение для всей советской филологической науки в целом, так как в каждом подобном труде должен быть обобщен весь положительный опыт предшествующих работ и учтены все недостатки других изданий подобного типа, а также предложены решения некоторых спорных лексикографических вопросов на основе нового фактического материала. Как известно, многие теоретические вопросы лексикографии разработаны в русском языкознании крайне недостаточно, стройной лексикографической теории у нас еще нет. Теоретическое осмысление лексикографических проблем и их посильное решение возможно лишь на базе широкого анализа и обобщения конкретных фактов. Поэтому выход в свет каждого нового словаря нужно рассматривать как положительный факт и с точки зрения вовлечения в научный оборот нового фактического материала, что представляется очень важным не только в практическом, но и в теоретическом отношении. Таким образом, каждый новый словарь представляет собой (или, по крайней мере, должен представлять) одновременно конкретную реализацию уже оформившихся теоретических положений и расширение самой теоретической базы, потому что работа над составлением словаря не только служит прекрасной проверкой на практике тех или иных положений теории лексикографии, но вместе с тем способствует и максимальному углублению и теоретическому осмыслению многих основных лексикографических вопросов.

Для восточнославянского языкознания особое значение и интерес представляет двуязычный словарь, составленный на материале русского и белорусского языков, т. е. языков близкородственных. О специфических трудностях составления двуязычного словаря таких языков писал В. В. Виноград в рецензии на «Русско-украинский словарь» АН УССР, предупреждая об опасности схематизации и упрощения смысловых различий при переводах¹. Все сказанное в этой рецензии в еще большей мере относится к русско-белорусскому словарю, потому что белорусский язык еще ближе к русскому, чем украинский.

При оценке рецензируемого словаря следует учитывать что ко времени его создания русско-белорусские языковые отношения достигли очень большого многообразия и сложности, особенно ярко отразившихся в целом ряде явлений, характерных для развития современного белорусского литературного языка. Потребность в достаточно полном русско-белорусском словаре стала в связи с этим весьма ощутимой. Русско-белорусский словарь должен был зафиксировать и в известной мере узаконить множество переводов отдельных слов и выражений, уже осуществленных в обширной литературе различного характера, переведенной с русского языка на белорусский.

¹ См. «Сов. книга», 1950, № 2, стр. 91—92.

Вполне понятно поэтому, что составители словаря стремились как можно шире охватить русскую лексику и дать ее белорусский эквивалент. «В связи с тем, что в повседневной литературной речи нашего общества широко бытует производственная, научная и техническая терминология, в словарь включены также многие наиболее употребительные специальные термины. Широко приведены в словаре и географические названия, поскольку написание их в белорусском языке часто составляет большую трудность» (Предисловие, стр. 6).

Вопрос о словнике двуязычного словаря такого типа и объема, как рецензируемый двуязычный русско-белорусский словарь, довольно сложен и противоречив. Одной из основных трудностей было, очевидно, определение круга так называемой общеупотребительной лексики при отсутствии точных критериев общеупотребительности тех или иных слов. Еще более не ясен вопрос о «наиболее употребительных» специальных терминах. Анализ словника русско-белорусского словаря показывает, что у составителей не было необходимой ясности представлений по этому вопросу. Как указывают составители, ими взят за основу словник «Толкового словаря русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, а также широко использованы и другие словари. Материал русско-белорусского словаря действительно показывает большую зависимость его от «Толкового словаря», хотя он и не повторяет целиком словник последнего. Однако выявить те соображения принципиального характера, которыми руководствовались составители, отступая в ряде случаев от названного словаря, не всегда оказывается возможным.

Так, в русско-белорусском словаре довольно отчетливо прослеживается тенденция не включать те слова, которые в «Толковом словаре» квалифицируются как областные, разговорные или просторечные (последние в меньшей степени). Однако определить четкие границы применения этого принципа трудно, потому что значительная часть областных и просторечных слов «Толкового словаря» все же вошла в русско-белорусский словарь. Например, в русско-белорусском словаре нет таких слов, как *каеун, каганец, кажисе, канашика, кандибобер, клеватся, кушиа, кнаружи, кутри, кобеля, коваль, козлятина, кокора, колдобина, колобашка, колотова, колпачить, колтышаться*, и многих других, которые отмечены в «Толковом словаре» как областные или просторечные. С другой стороны, некоторые слова «Толкового словаря» с той же пометой вошли в русско-белорусский словарь, хотя непонятно, в чем их отличие от слов, приведенных выше. См., например, такие слова, как *коли* (союз), *колобок, колченогий, коль, копыл, кочет, курёнок* и др. Принцип отбора слов этого типа неясен, во всяком случае составители словаря не формулируют теоретически и не показывают на практике, как решена ими, хотя бы и частично, проблема использования диалектизмов в литературном языке.

Неясен также принцип отбора терминологической лексики в рецензируемом словаре. Хотя в предисловии и сказано, что в словарь включены лишь «наиболее употребительные специальные термины», однако соответствующая лексика словаря свидетельствует о том, что составители словаря трактуют понятие общеупотребительности очень широко. Желание сделать словарь как можно «универсальнее» заставило составителей включить в словарь лексику, которую гораздо уместнее было бы поместить в отраслевых терминологических словарях. Ср., например, такие слова, как *кагат, кадаверин, кайнит, каламит, кандык, катран, клерс, клиааж, конхиология, ксилема, кярза, лантан, лейцин, лейс, локсодрома, лютецит, мадрепора, мезоторакс, микропиле, мильдью, мизлоцит, мофетта, мохунка, табес, такыр, тарбаган, тахина, террескен, торшон, тратта, туэр*, и многие другие.

Таким образом, проблема отбора терминологической лексики в рецензируемом словаре не решена; эта часть словника лишь автоматически повторяет соответствующую часть словника многих русско-национальных словарей, изданных за последнее время.

В целях возможно большего охвата лексики в словаре применена гнездовая система расположения слов. Такая система, действительно, является наиболее экономной и позволяет осуществить максимальный охват лексики при данном общем объеме словаря, хотя она и более сложна, чем алфавитная, потому что требует очень точного учета живых структурно-семантических связей слов современного языка. Гнездовая система расположения слов таит в себе также опасность смешения нормативного аспекта с этимологическим. Составители словаря, видимо, учитывали эту опасность и в большинстве случаев избежали смешения: в одном гнезде в словаре помещены слова, имеющие между собой тесные структурно-семантические связи с точки зрения современного состояния русского и белорусского языков.

Гнездовая система применяется в рецензируемом словаре не в «чистом» виде, а в комбинации с алфавитным принципом (О пользования словарем, стр. 7). Такое соединение двух противоположных принципов ведет, как нам представляется, к тому, что ни один из них не выдерживается с достаточной последовательностью.

Применив гнездовой способ расположения слов лишь в тех случаях, когда он не нарушает алфавитного порядка, составители в ряде случаев лишили словарные статьи необходимого единства, потому что алфавитный принцип, вторгаясь в реализацию

гнездового принципа, часто нарушает объективную перспективу производства слов в современном языке и, таким образом, создает неверную картину словообразовательных связей между словами. В результате взаимодействия двух названных принципов очень часто в качестве заглавного слова словарной статьи выступает производное слово, а то слово, от которого произведено заглавное, помещено внутри статьи. Например, слова *ковровщик, ковровщица, ковровый*, словосочетание *коврово производство* приводятся не в статье *ковер*, а в статье *коврик*, хотя *коврик* — это производное слово от *ковер*. Глагол *игнорировать* помещен в словарной статье *игнорирование*; глагол *избаловать* — в словарной статье *избалованность*, глагол *издержать* в словарной статье *издержанность*. С другой стороны, слово *избавление* приведено в статье *избавить*.

Кроме нарушения словообразовательной перспективы, такой алфавитно-гнездовой принцип расположения слов создает и практические неудобства пользования словарем. В самом деле, где логика в том, чтобы, например, слово *издержать* искать в словарной статье *издержанный*, а слово *изглаженный* — в словарной статье *изгладить*? Алфавитный принцип расположения слов, накладываясь на гнездовой, приводит к нарушению цельности и последовательности самой структуры гнезд. В одних случаях все слова одного корня входят в одну словарную статью, в других случаях однокоренные слова входят в две или даже в несколько статей. Например, слова *гвоздарный, гвоздарь, гвоздильный, гвоздить, гвоздодел, гвоздь* являются заглавными в разных статьях, хотя это оправдано только по отношению к слову *гвоздить*. Получилось это только потому, что по алфавиту между этими словами находятся слова *гвоздика* и *гвоздичный*, тоже помещенные в разные статьи. В разных статьях находятся также близкие и сохранившие все структурно-семантические связи слова, как *галка, галочий, галчонок; теорение, теорец, теорчество; темнота, темный, темь; терпение, терпеть, терпимо; теснить, тесниться, тесно; томить, томление; топтание, топтать*. И таких примеров очень много.

Однако основной недостаток применения гнездового принципа расположения слов в рецензируемом словаре заключается не столько в том, что многие однокоренные и близкие по значению слова попали в разные гнезда, а в том, что сами гнезда в словаре неодинаковы по своей структуре.

Помещение слов в одном гнезде должно быть мотивировано живыми структурно-семантическими связями слов в современном языке. С этой точки зрения не все словарные гнезда рецензируемого словаря представляют собой единство. Например, в статье *машинист* приводится в качестве производного слова *машинистка*, хотя эти слова и разошлись в своих значениях. В «Толковом словаре» под ред. Д. Н. Ушакова слово *машинистка* толкуется без ссылок на слово *машинист*. В статье *кандидат* приводится слово *кандидатка*, хотя эти слова соотносительны только в одном значении. В данном случае составители словаря некритически следовали «Толковому словарю», где слово *кандидатка* неправильно толкуется как «женск. к *кандидат*». Разошлись в значениях и слова *касание* и *касательство*, помещенные составителями рецензируемого словаря в одном гнезде.

Одним из важных теоретических вопросов, с которым неизбежно сталкиваются составители словарей, является вопрос об омонимии, т. е. о семантической границе слова. Очень часто практически трудно определить, имеем ли мы дело с особым значением слова или с его омонимом. Правда, следует отметить, что и теоретически эта проблема разработана очень слабо, составители не могли воспользоваться сколько-нибудь четкими и определенными критериями для выделения омонимов в каждом конкретном случае, потому что во многих словарях вопрос об омонимии решается по-разному. Например, в «Толковом словаре» под ред. Д. Н. Ушакова заметна тенденция дифференцировать значения слова, не выделяя омонимов. Наоборот, в «Словаре русского языка», составленном С. И. Ожеговым, многие значения слов, указанные в «Толковом словаре», квалифицируются как омонимы. Составители русско-белорусского словаря не предлагают своего, хотя бы частичного, решения проблемы омонимии на белорусском материале и предпочитают следовать в этом вопросе за «Словарем русского языка», составленным С. И. Ожеговым. См. слова *кабан, касалер, казачок, капот, класс, колкий, колода, колония, колонка, колонна* и др., в которых «Толковый словарь» различает по два или несколько значений, а «Словарь русского языка» эти значения рассматривает как омонимы. Вопрос же о том, верно или неверно разрешена проблема омонимии в «Толковом словаре» или в «Словаре русского языка», выходит за пределы данной рецензии.

Большое значение для качества двуязычного словаря, взятого в целом, имеет качество перевода представленных в нем русских слов на белорусский язык. Л. В. Щерба писал по этому поводу: «... слова одного языка не просто соответствуют словам другого языка, а находится с ними в весьма сложных и многообразных отношениях. Это обстоятельство делает „составление“ дифференциальных (т. е. двуязычных) словарей делом исключительно трудным...»¹. Специфические трудности возникают при

¹ Л. Щ е р б а, Предисловие, в кн.: Л. В. Щерба и М. И. Матусевич, Русско-французский словарь, М., 1939, стр. 3.

составлении двуязычного словаря на материале близкородственных языков. Правда, словам одного из таких языков сравнительно легко найти наиболее адекватные эквиваленты в другом языке, однако близость языков может привести к стиранию тонких семантических оттенков, свойственных какому-нибудь слову в одном языке и отсутствующих в другом языке. Поэтому особую важность имеет перевод не только слов, но и отдельных словосочетаний, включающих в себя переводимое слово. В рецензируемом словаре во многие статьи включены и словосочетания, которые переводятся на белорусский язык. Например, в словарной статье *масло* дан перевод не только разных значений этого слова, но и целого ряда словосочетаний с главным словом *масло*: *топленое масло, вазелиновое масло, купоросное масло, летучее масло, миндальное масло* и др.; в словарной статье *мост* даны также переводы словосочетаний *железнодорожный мост, арочный мост, цепной мост, понтонный мост* и др. Однако включение в словарную статью большого количества словосочетаний с переводимым словом и перевод этих словосочетаний оправданы лишь в том случае, если в этих словосочетаниях выявляются дополнительные оттенки значения слова или его семантические связи с другими словами или же если в сочетании с различными словами заглавное слово переводится разными словами. Например, второе значение слова *кататься* переводится словами *катацца, ездзіць, вазіцца*; перевод иллюстрируется примерами: *катацца (ездзіць) верхам, катацца (вазіцца) на лоцы*; однако словосочетание *кататься на коньках* переводится также и словосочетанием *коўзацца на каньках*; помещение в словарь последнего словосочетания необходимо. Во многих словарных статьях рецензируемого словаря материал словосочетаний служит именно этим целям, однако в ряде словарных статей этот материал не несет такой функции, и поэтому приведение большого количества словосочетаний не представляется необходимым.

В качестве примера можно привести словарную статью *катать*. Первое значение этого слова переводится словом *качаць*. Перевод точный и совершенно не требующий приведения словосочетаний, в которых не содержится никаких указаний на какие-либо дополнительные оттенки значений или на ограниченность связей слова *качаць* по сравнению с *катать*; во всех приведенных словосочетаниях слово *катать* переводится словом *качаць*: *катать мяч — качаць мяч; катать из хлеба шарики — качаць з хлеба шарики; катать белье — качаць бялізну; катать листовое железо — качаць листовое жалеза*. Такие «незамкнутые» ряды словосочетаний можно пополнять любым количеством примеров, однако без ощутительной пользы для полноты и точности перевода.

Русско-белорусский словарь должен дать не только точные белорусские эквиваленты русских слов, не только точный перевод, но он должен также включить в себя и семантическую разработку слов, т. е. выделение значений и оттенков значений, особенно в белорусской части. Излишне доказывать, насколько подробная семантическая разработка слова помогает пользоваться словарем, в частности, при работе над переводом.

В рецензируемом словаре слова подвергаются семантической разработке лишь тогда, когда разные значения русского слова переводятся разными белорусскими словами. Если же с точки зрения составителей в с е значения русского слова переводятся о д н и м белорусским словом, то в этих случаях помета в «разн. знач.» заменяет собой семантическую разработку слова. Иногда в словаре дается перевод не всех значений, а лишь главнейших, остальные объединяются указывающей пометой. Таким образом, во всех таких случаях слово семантически не разработано ни в русской, ни в белорусской части или же разработано неполно. Примером может служить словарная статья *камень*, где все значения этого слова, которых в «Толковом словаре» под ред. Д. Н. Ушакова насчитывается шесть, скрыты под пометой «в разн. знач.». См. также словарную статью *корень* и многие другие.

Положительной чертой рецензируемого словаря следует считать переводы фразеологических единиц русского языка при помощи аналогичных единиц белорусского языка. Например, *лежок на помине — пра воўка памоўка, а воук і тут; не мытьем, так катаньем — не кіем дык палкай*. Однако в этих случаях нужно быть очень осторожным, потому что при таком переводе могут быть упущены какие-либо оттенки значения или же, наоборот, в переведенном фразеологизме может появиться оттенок, отсутствующий в оригинале. Например, *развесистая клюква* (с пометой «шутл.») переводится — на *вярбе грушы, сярбовыя грушы*, т. е. рассказывание небылиц, вранье. В переводе упущен семантический оттенок, который имеется у фразеологизма *развесистая клюква* (вранье, проистекающее из-за плохого знакомства с тем, о чем рассказывается); *развесистой клюквой* обычно называли всевозможные фантастические рассказы иностранцев о России.

Весьма сложную проблему, имеющую большое значение не только для теории лексикографии, но и для лексикологии, представляет собой стилистическая характеристика лексики. Большой материал, собранный в словарях и оцененный с стилистической точки зрения, может показать, из каких принципов исходили составители того или иного конкретного словаря.

Система стилистических помет русско-белорусского словаря довольно точно воспроизводит таковую в «Толковом словаре» под ред. Д. Н. Ушакова. В рецензируемом словаре стилистические пометы разного характера употребляются очень широко. Они указывают на соотношенность того или иного слова с различными по происхождению и по стилистической окраске пластами: просторечием, разговорным языком, пластом слов, вошедших в литературный язык из народных говоров, но все же осознаваемых в нем как диалектизмы, и т. п. Система стилистических помет в рецензируемом словаре, как видим, очень разнообразна, однако не ясно, к какой части словаря, русской или белорусской, она относится. Специальный анализ материала словаря показывает, что в одних случаях стилистическая характеристика относится только к русскому слову, а в других — и к русскому, и к белорусскому. Таким образом, говорить о наличии достаточной или последовательной стилистической характеристики белорусских слов нельзя, подобная характеристика представлена только для русских слов. Отсутствие указаний на то, в каких случаях стилистические пометы относятся только к русским словам, а когда также и к белорусским, затрудняет использование и тех помет, которые в словаре имеются. Пользующемуся словарем приходится самому решать этот вопрос в каждом конкретном случае, исходя из противоречивых показаний самого материала. Только по поводу терминологической лексики можно со всей определенностью сказать, что имеющиеся стилистические пометы относятся как к русским, так и белорусским словам, потому что эти пометы указывают на термин. В тех же случаях, когда стилистическая помета имеет оценочный или запретительный характер, стилистическая характеристика белорусского слова остается неясной.

Таким образом, с большим сожалением приходится констатировать, что белорусские слова, впервые собранные в таком большом и серьезном издании, каким является рецензируемый словарь, оказались в подавляющем большинстве случаев лишенными какой бы то ни было стилистической характеристики.

Приведем некоторые примеры.

Слово *мелочишка* имеет помету «разг.» (разговорное), слово *мелочь* в 3-м значении («пустяк») никакой пометы не имеет. Переводятся же оба эти слова белорусским словом *дробязь*. Пользующийся словарем может сделать заключение, что либо слово *дробязь* может также иметь и оттенок разговорности (т. е. что у этого слова есть, если можно так сказать, стилистический «омоним»), либо что слово *дробязь* неточно передает значение одного из русских слов. В нашем примере слово *дробязь* не передает оттенка разговорности, который имеет значение слово *мелочишка*.

Еще пример. Слово *милашка*, снабженное пометой «разг.», переводится словом *мiлая*; этим же словом переводится слово *мiлая*, неимеющее никакой пометы. Из сопоставления словарных статей *милашка* и *мiлая* естественно сделать вывод, что помета «разг.» характеризует только русское слово. Аналогичная картина со словом *кладушка*, которым переводятся русские слова *кладовка*, *кладовушка* (с пометой «разг.») и *кладовая* (без этой пометы). С другой стороны, как уже говорилось, встречается немало примеров, когда оценочные или запретительные пометы несомненно относятся и к русским, и к белорусским словам.

При пользовании пометой «уст.» (устарелое) составители русско-белорусского словаря в ряде случаев смешивают слова с реалиями, т. е. с теми понятиями или предметами, которые эти слова обозначают, и не считают это тем, что хотя соответствующие реалии и устарели, слова, их обозначающие, продолжают сохраняться в составе лексики современного языка при сужении круга их употребления. Например, пометой «уст.» снабжены такие слова, как *кабак*, *кадет* (воен.), *казакин*, *камергер*, *камердинер*, *камер-юнкер*, *колет*, *конка*, *конфирмация*, *корча*, *лейб-медик* и многие другие. В этих случаях стилистическая помета, по всей видимости, относится как к русским, так и к белорусским словам. В тех же случаях, где помета «уст.» употреблена правильно, т. е. ею снабжено действительно устарелое слово, она относится только к русскому слову, например: *ланита* — *щипка*.

Нередко остается неясным, характеризует ли помета «уст.» только заглавное слово словарной статьи или также все слова данного гнезда, так как в одних случаях этой пометой снабжено только заглавное слово, а в других — также и остальные слова данного гнезда. Например, слова *камергер* и *камер-юнкер* снабжены пометой «уст.», а *кантонист* — пометой «ист.» (историческое), слова же *камергерский*, *камер-юнкерский*, *кантонистский* не имеют помет; слово *миротворец*, которое является заглавным, а также приведенные в этом же гнезде слова *миротворный* и *миротворческий* квалифицируются соответствующими пометами как устарелые. Повидимому, только к русским словам относятся пометы, квалифицирующие слова как фольклорные, пренебрежительные и т. д.

Одна и та же помета употребляется в словаре с разным значением. Например, помета «ист.» при словах *аутодафе*, *капер*, *каравелла* и многих других указывает, что данные понятия и предметы относятся к области прошлого; эта же помета при словосочетании *каменный век* указывает на термин исторической науки.

Анализ системы стилистических помет русско-белорусского словаря показывает,

что у составителей его не было заранее составленного плана, какие слова характеризовать стилистически, а какие нет. Кроме того, составители проявили в этом вопросе очень большую и, может быть, неоправданную осторожность, снабжая стилистическими пометами лишь те белорусские слова, относительно которых не могло быть колебаний, и наиболее последовательно отмечая лишь терминологическую лексику. Что же касается определения экспрессивно-эмоциональных оттенков значения («разг.», «прост.» и др.) или тех помет, которые имеют в известной степени нормативный характер («уст.», «ист.»), то для белорусских слов они почти не даются. Белорусская лексика словаря оказалась не охарактеризованной в весьма существенном отношении.

Пользуясь для стилистической характеристики русских слов, как уже говорилось, пометами «Толкового словаря» под ред. Д. Н. Ушакова, составители нередко проявляют слишком большую зависимость от этого последнего и не проявляют достаточной заботы о том, чтобы употребление той или иной пометы согласовалось с белорусским переводом. Так, в «Толковом словаре» с пометой «обл.» помещено слово *кувшинчик*, обозначающее растение, которое в литературном языке называется *кувшинкой*. В русско-белорусском словаре тоже есть слово *кувшинчик* и тоже с пометой «обл.», которое, однако, переводится словом *збанок*, *збаночак* (маленький *кувшин*). Помета «обл.» явно попала сюда по недоразумению: составители механически перенесли ее в свой словарь из «Толкового словаря», где эта помета правильно характеризует слово *кувшинчик* (водяное растение, а не маленький *кувшин*!) и форму родительного падежа единственного числа *кувшинá* вместо литературного *кувшинá*.

Итак, в общем решении вопроса о стилистической характеристике слов составители не сделали заметного шага вперед. Но они не сделали и того, что обязательно должны были сделать в этом направлении: систему стилистических помет они должны были расширить и распространить на белорусскую часть словаря. Тогда эта система хотя бы и не самостоятельно разработанных стилистических помет, несовершенная в ряде отношений, по крайней мере, была бы еще раз проверена в практическом применении. Для белорусского языка это, несомненно, было бы очень полезно, потому что в этом случае значительная часть белорусской лексики подвергалась бы стилистической квалификации, что сыграло бы большую роль при уточнении норм белорусского литературного языка.

Что же касается общей проблемы стилистических помет в словарях, то теоретически она тоже никак не решается на материале русско-белорусского словаря, несмотря на все предпосылки к этому.

В непосредственной связи с проблемой стилистической характеристики слов находится проблема нормативной оценки лексики. Вопросы нормализации вообще имеют важное значение, по отношению же к литературным языкам с относительно недавней историей они приобретают особый смысл и значение, поскольку в этих языках обычно весьма значительные колебания в лексике, отсутствуют достаточно точные критерии для разграничения литературной и диалектной лексики и разграничения различных случаев стилистического употребления слов. Поэтому двуязычный словарь, построенный на материале русского языка и языка национального со сравнительно недавно оформившейся литературной формой его, должен в большой степени способствовать разрешению проблемы нормализации в сфере лексики национального языка, т. е. способствовать окончательному отбору и закреплению слов за литературным языком. Такой словарь должен способствовать установлению также грамматических и словообразовательных норм, хотя в силу специфики материала в словаре установление этих норм возможно в значительно более узких рамках, в особенности по отношению к нормам грамматическим. В общем же роль русско-национального словаря в деле установления лексических, а также грамматических и словообразовательных норм национального языка — огромна.

Все сказанное выше имеет прямое и непосредственное отношение к русско-белорусскому словарю. Одна из его задач — это установление лексических норм белорусского языка, а отчасти и норм грамматических и словообразовательных.

Лексика белорусского литературного языка развивалась очень неравномерно. В дореволюционное время развитие это было односторонним — расширялась только сфера бытовой лексики и лексики, предвставленной в языке художественной литературы, в то время как лексика других стилей (публицистического, научного, делового) в связи с отсутствием развития самих этих стилей почти совсем не развивалась. «Объясняется это тем, что белорусский народ не имел своей государственности, не вел дипломатической и служебной переписки, не издавал законов на родном языке, не имел права пользоваться им не только в высшей, но и в начальной школе» (Предисловие, стр. 6). Только после Октября, когда белорусский язык стал государственным языком, его развитие стало равномерным и интенсивным. «В результате Октябрьской революции впервые за всю историю получил свою государственность и белорусский народ, а его язык поднялся до уровня государственного, стал равноправным среди других языков народов Советского Союза. Такой высокой социальной, политической и куль-

турной функции белорусский язык не выполнял на протяжении всего предшествующего пути своего развития¹.

Таким образом, за сравнительно короткий период в белорусский литературный язык влилось очень много новых слов, обозначающих новые понятия и новые идеи. Большую роль в обогащении лексики белорусского литературного языка сыграл русский язык. Возникла насущная необходимость отобрать все удачное, живое, продуктивное в области лексики и создать или закрепить лексические нормы. Работа, как видим, огромная, с ней коллектив составителей справился удачно.

Трудность заключалась также в том, что составители почти не имели возможности использовать традицию, опыт предшественников, потому что словарь, подобный рецензируемому, создан в белорусской лексикографии впервые. Тем более велика заслуга составителей, создавших впервые в истории белорусской лексикографии словарь, который, несомненно, сыграет выдающуюся роль в дальнейшем развитии и усовершенствовании белорусского литературного языка.

Коллектив составителей отчетливо представлял себе, что нормативность является одной из важнейших задач при работе над словарем. «Словарь, особенно в белорусской своей части, — говорится в «Предисловии», — ставит себе и задачи нормативного порядка: он должен быть в некотором роде справочником, указывающим круг употребления того или другого слова, его грамматические формы, ударение и написание» (стр. 5). Нужно отметить, что составители русско-белорусского словаря в общем справились с задачей реализации намеченного ими нормализаторского плана.

Вопрос разграничения лексики литературного языка и лексики диалектной весьма актуален в применении к белорусскому литературному языку. Поэтому с особой тщательностью и вниманием составители должны были отнестись к квалификации того или иного слова как областного, потому что этот вопрос тесно связан с общей проблемой нормализации литературного языка.

К сожалению, наряду с правильным использованием в словаре соответствующей пометы, встречаются случаи, когда читатель испытывает некоторое недоумение. Нужно думать, что слова с пометой «обл.» не входят в состав лексики белорусского литературного языка, а если и входят, то все же осознаются в его составе как диалектизмы. Однако эта помета дается при русском слове, поэтому не ясно, является ли соответствующее белорусское слово тоже областным. Например, при слове *кочет* есть помета «обл.», но значит ли это, что и белорусское слово *певень*, которым переводится первое значение слова *кочет*, тоже является областным. Видимо, нет, потому что слово *петух* (слово литературного русского языка) переводится тем же словом *певень*; 2-е значение слова *кочет* («уключина») переводится словом *кочат*, причем опять-таки не ясно, является ли последнее диалектизмом или нет: слово *уключина*, не имеющее никаких помет, переводится словами *уключина* и *кочат*. При словах *курёнок* и *кутёнок* есть помета «обл.», которая, видимо, относится только к русским словам, потому что соответствующими им белорусскими словами *кураця* и *шаня* переводятся также и слова литературного языка *цыпленок* и *щенок*. Таким образом, помета «обл.» не дает возможности определить, является ли белорусское слово, которым переводится русский диалектизм, тоже областным или же белорусское слово — это всего лишь литературный синоним белорусского диалектизма, эквивалентного диалектизму русскому.

В составе каждого литературного языка есть такие диалектизмы, которые понятны каждому говорящему на этом языке и которые употребляются в литературном языке, сохраняя при этом свой диалектный характер. Этот слой диалектизмов с помощью «Толкового словаря» под ред. Д. Н. Ушакова выделен в русской части словаря, но никак не выделен в соответствующей белорусской части.

В многих случаях остается неясным, каким белорусским словом, диалектным или не диалектным, переводится диалектное слово русской части. Поэтому уровень нормативности в белорусской части ниже, чем в русской. Тем не менее русско-белорусский словарь, конечно, будет в сильнейшей мере способствовать более четкому определению границ литературной лексики и ограничению ее от лексики диалектной, потому что уже самый факт помещения в словарь того или иного белорусского слова без помет запретительного характера свидетельствует о принадлежности этого слова к лексике литературного языка.

В доступных пределах словарь должен также способствовать стабилизации грамматических норм. Это особенно важно тогда, когда нормы литературного языка еще недостаточно укрепились и не стали единственно возможными. В полной мере это относится и к белорусскому литературному языку. В качестве примера можно привести хотя бы формы родительного падежа единственного числа существительных мужского рода на *-а* и на *-у*. Между обеими формами есть семантическое различие, довольно

¹ М. Р. Судник, Важнейшие задачи белорусского советского языкознания, «Труды Ин-та языкознания АН БССР», вып. II, Минск, 1954, стр. 7, [на белорусск. языке].

четко разграничиваемое теоретически, однако на практике обе формы часто употребляются безразлично, создавая ненужный разнобой¹. В русско-белорусском словаре после переводов указывается форма родительного падежа, которая и получает значение грамматической нормы.

В некоторых случаях составители словаря не решаются выбрать одну из двух возможных форм или не располагают достаточными данными для этого и переводят одну русскую форму двумя белорусскими, предоставляя пользующемуся словарем самому выбрать одну из них. Например, местоимение *этот* в женском роде переводится *эта* и *этая*, в среднем роде *эта* и *этае*; *сегодня* переводится *сягоння* и *сёння* и т. д.

Интересный вопрос представляет собой употребление в современном белорусском языке причастий. В последнее время под влиянием русского языка причастия в синтаксической функции определения начинают все шире употребляться в белорусском литературном языке. Русско-белорусский словарь вносит известную определенность в этот вопрос, приводя многие причастия, что нужно рассматривать как введение этих последних в норму белорусского литературного языка: *решаючы* (ср. *решающий фактор*), *кіруючыя органы* (ср. *руководящий работник*), *двэючая армія*, *шагаючы* (ср. *шагающий экскаватор*) и многие другие.

Известную упорядоченность вносит русско-белорусский словарь и в словообразование. Остановлюсь лишь на нескольких примерах. В цитированной выше статье М. Г. Булахов пишет: «Со всей очевидностью выявляется необходимость нормализовать также способы словообразования разных частей речи. Это обусловливается опять-таки наличием разнобоя, скажем, при образовании глагольных и именных форм при помощи суффиксов: *-іраваць, -аваць, -яваць, -іраванне, -аванне, -яванне*. Например, одни авторы употребляют формы *дыстыляваны, грануляваны, ізаляваны, нацыялізаваны* (и соответствующие формы инфинитивов, существительных), другие авторы подобные слова употребляют с элементом *-ір-* в суффиксе...»². Вопрос об употреблении слов с элементом *-ір-* в суффиксе или без него решается в каждом отдельном случае, т. е. словарно. В русско-белорусском словаре можно подметить тенденцию употреблять эти суффиксы без элемента *-ір-*, во всяком случае, таких примеров большинство: *кальківаць, кваліфікаваць, кадэфікаваць, калектывізаваць, камбінаваць, кампіляваць* и т. д. Примеров с элементом *-ір-* в суффиксе значительно меньше. Иногда с наличием или отсутствием элемента *-ір-* в суффиксе составители связывают разные значения слова. Например, сельскохозяйственный термин *компостировать* переводится словом *кампастваваць*, а *компостировать* как железнодорожный термин переводится словом *кампаціроваць*. Такое разграничение выглядит несколько искусственно.



Коллектив составителей русско-белорусского словаря проделал огромную работу, которая имеет очень большое научно-общественное значение. Впервые в истории белорусского языкознания создан научный словарь, охватывающий такое большое количество лексики белорусского литературного языка. Тем самым сделан большой вклад в дело нормализации белорусского литературного языка в области лексики, а также словообразования и отчасти грамматики. По отношению к литературному языку с недавней историей, каким является белорусский литературный язык, значение такого словаря трудно переоценить.

Естественно, что в таком большом деле составители не избежали отдельных ошибок, что весьма понятно, так как у них не было заслуживающих внимания предшественников в белорусской лексикографии. Однако не частные промахи и неточности определяют значение рецензируемого словаря, а большой и доброкачественный материал, обработанный в соответствии с современными требованиями лексикографии. Русско-белорусский словарь — большая творческая победа белорусских лексикографов, создавших на материале белорусского литературного языка первый словарь научного типа.

И. А. Оссовецкий

¹ См. М. Г. Булахов, О некоторых вопросах нормализации и развития белорусского литературного языка, «Труды Ин-та языкознания АН БССР», вып. I, Минск, 1954, стр. 13—14 [на белорусск. языке].

² Там же, стр. 19.

Ю. Д. Дешериев. **Бацбийский язык. Фонетика, морфология, синтаксис, лексика.**— М., Изд-во АН СССР, 1953, 384 стр. (Ин-т языкознания.)

Бацбийский язык является одним из интереснейших представителей иберийско-кавказской семьи языков. Его изучение представляет интерес не только для кавказоведения, но и для общего языкознания. В этом языке сохранены языковые факты, которые дают возможность проследить историю образования ряда грамматических категорий, например, переходных глаголов, страдательного залога, каузатива, потенциалиса, происхождение изменения глагола по лицам. Интересно соотношение в бацбийском языке аспекта и грамматических классов, аспекта и времени. Свообразны в бацбийском языке фонетические процессы, особенно ослабление гласных в конце слова и в связи с этим образование дифтонгов в предшествующем слоге; назализация конечных гласных и деназализация их при утере конечной позиции и т. д. Весьма ценны показания бацбийского языка, касающиеся эргативной конструкции: материалы бацбийского языка показывают, что в словах так называемого первого класса (обозначающих разумные существа) эргатив и инструменталис были разграничены изначально и что форма, специально предназначенная для эргатива (с суффиксом *c*), никогда не совпадала с инструменталисом.

Книга Ю. Д. Дешериева «Бацбийский язык» затрагивает все основные вопросы грамматики бацбийского языка. Вопросы эти, в основном, решены правильно и суждения автора подкреплены обильными иллюстрациями. Эта книга является единственной обстоятельной монографией по бацбийскому языку. При этом она стоит на уровне современного советского языкознания и, таким образом, является ценным вкладом в науку.

*

Общая характеристика бацбийской фонетической системы и объяснение основных фонетических процессов в рассматриваемой книге приемлемы и не вызывают возражений. В специальных параграфах первой главы автор дает подробное описание звукового состава слова, корня и аффиксов и выдвигает интересное положение о редукции корня, что весьма важно для исследования лексического состава бацбийского языка и взаимоотношения с основами родственных языков. Однако толкование некоторых вопросов, на наш взгляд, является спорным. Автор считает, что в бацбийской речи грузинский *x* закономерно заменяется бацбийским *kx*: *кхелоб* «специальность» (стр. 13), *кхокхоб* «фазан» (стр. 31) и др. Но в подобных случаях в бацбийской речи сохраняется только исходный *kx*, который исчез в современном литературном грузинском языке, однако сохранился в некоторых диалектах. Автор почему-то исключает из перечня назальных гласных *ə* и дифтонг *ɨə* (см. стр. 41, 88). На самом же деле назальный *ə* встречается довольно часто, поскольку он является окончанием такого распространённого времени, как аорист.

Ю. Д. Дешериев дает анализ происхождения назальных гласных в результате ослабления конечного *n* и назализации предшествующего ему гласного (стр. 48). Но, поправляя в этом вопросе А. Шифнера, он, по нашему мнению, сам допускает некоторую неточность. Он считает, что «бацбийские носовые гласные возникли не только путем поглощения сонорного *n*, но также и в результате редукции целого слога, состоявшего из согласного и конечного гласного...» (стр. 45). Здесь следует видеть две ступени фонетического процесса: гласные в конце слова редуцируются, если же в результате редукции гласных в конце слова окажется согласный *n*, происходит назализация гласного.

В параграфе «К происхождению долгих гласных и дифтонгов в бацбийском языке» автор объясняет происхождение некоторых долгих гласных слиянием двух однородных смежных гласных, а происхождение дифтонгов — слиянием двух неоднородных смежных гласных (стр. 43). Следовало бы полнее учесть все возможные случаи возникновения дифтонгов и долгих гласных.

Гласные в конце многосложных слов и гласные конечного слога перед гласным аффиксом становятся краткими или же совсем исчезают. При этом в результате ослабления *i* и *y* в предыдущем слоге часто образуется дифтонг. Именно этот путь и является источником образования дифтонга в корне слов: *канис* «виноград», род. падеж *кə́ннэ*; *кхайл* «скушал (он)», *кхайлнас* «скушал (я).

Если учесть, что дифтонги в основе слов возникли путем перемещения гласных, становится ясным, почему нельзя устанавливать соответствие между **вейнахскими** простыми гласными и бацбийскими дифтонгами. Например, бацб. *əy̯ɨmlac* «иду», вост.-вейн. *əy̯ɨdu*; бацб. *əy̯ɨlnas* «сказал», вост.-вейн. *əy̯ɨlla* (стр. 42). Дифтонги в подобных бацбийских основах — результат частичной редукции и перемещения гласных; достаточно устранить причину редукции (конечная позиция гласного, присоединение гласного суффикса) — и указанный фонетический процесс не будет иметь места (например, *əy̯ɨlnas* ← *əy̯ɨlnas* «я сказал» и *əy̯ɨll* «он сказал»).

*

Вторая часть книги посвящена морфологии. Здесь дается анализ образования и склонения имен существительных, местоимений, прилагательных, числительных (количественных и порядковых). Рассматривая склонение имен, автор выделяет 22 формы; из них первые 5 форм являются основными падежами, остальные же — либо последовательными падежами, либо сложными последовательными образованиями. Автор указывает, что подавляющее большинство падежей в баббийском языке передают местные отношения (стр. 66), и многие из приведенных 22 форм представляют собой агглютинативное сочетание аффиксов (я бы сказала — последогов. — Р. Г.). Поэтому не следовало бы включать все эти формы в число падежей.

Суффиксами локатива автор считает *гохь* и *хь* (стр. 65). Собственно показателем локатива (отвечает на вопрос «где?») можно считать только *хь*, а *гохь* является сложным формантом, состоящим из последогов *гō* («направительный первый») и *хь* (локатив) и выражающим два конкретных момента: направления и местонахождения. *Гохь* и *хь* функционально разграничены: *хь* отвечает только на вопрос «где?», а *гохь* — одновременно на вопросы «куда» и «где».

По мнению Ю. Д. Дешериева, «в функции локатива употребляются направительный первый» (стр. 65). Формантом же направительного первого падежа является только суффикс *гō*, где *o* непременно ослаблено (так как находится в конце слова). В указываемом же автором *го* *o* полногласный. Это *го* — не суффикс направительного падежа, а упрощенная форма *гохь*. Здесь *o* не редуцируется, потому что за ним следует звук *хь*, который часто исчезает в конце многосложных слов, но всегда сохраняет оказывающийся в конце слова предыдущий гласный. Таким образом, *го* есть параллельно употребляемая форма: *дадогохь* || *дадог* «у отца» (ср. *дадегō* «к отцу»).

То же самое можно сказать и об «исходном первом» (стр. 65). Из приводимых *ре*, *горē* || *гērē* (у автора *e* не назальный) *ре* — простой послелог, указывающий на исходность (отвечает на вопрос «откуда?»), а *горē* || *гērē* — сложный послелог, состоящий из тех же *гō*, выражающего направление, и *ре*, выражающего исходность.

Нецелесообразно выделять под двумя разными названиями как два разных падежа одну и ту же форму с суффиксом *x* («инессив первый» и «сравнительный», стр. 64). Не следовало также выделять как отдельный падеж форму со словообразовательным элементом *цū* «без» (по автору, «лишительный падеж», стр. 64).

— В качестве окончаний родительного падежа Ю. Д. Дешериев приводит *ū*, *ē*, *ā*, *ū*, *o* (стр. 62). Нам кажется, что редко встречаемые *ō* и *ū*, возможно, и не являются суффиксами этого падежа. Отмечая все разновидности родительного падежа, следовало бы указать и сферу их применения.

В качестве формативов эргатива он приводит *-ac* (-с) и *-иw*, *-уw*, *-ов*, *-в*. Однако гласный элемент здесь, по нашему мнению, не является принадлежностью падежного окончания (ср. род. падеж *бадр-ē* «ребенка», эрг. падеж *бадр-ē-в*, дат. падеж *бадр-ē-и*; род. падеж *ден-ū* «дня», эрг. падеж *ден-и-в*, дат. падеж *ден-ū-и*).

Весьма существенно указание автора на то обстоятельство, что суффикс *в* передает также функцию творительного (инструментального) падежа, суффикс же *с* никогда не выступает в роли творительного падежа, а только в значении субъекта, активного производителя действия (стр. 63).

Ю. Д. Дешериев разделяет склонение баббийских имен на три типа. «К первому типу склонения относятся все имена существительные, оканчивающиеся в родительном падеже ед. числа на *ē*» (стр. 68). Это, как правило, односложные имена. Автор считает, что есть известное количество слов, которые склоняются неправильно. Он указывает, что можно установить некоторые общие закономерности отклонения их от правильного склонения (стр. 68). Автору следовало бы выделить здесь несколько закономерных групп внутри данного типа склонения.

В зависимости от того, какой суффикс родительного падежа использован в тех или иных именах, к какой основе присоединяются эти суффиксы (гласной или согласной, и какой именно этот гласный, какой, далее, гласный включен в конечный слог согласной основы), происходят различные фонетические процессы, что и создает различные подгруппы, виды склонения имен.

Нельзя не согласиться с автором, что слова с окончанием *ē* в родительном падеже образуют особую группу (стр. 68). Но не все примеры, которые он приводит, типичны для этого склонения. Например, имена *нан* «мать» и *дад* «отец», склонение которых отчасти сходно со склонением имен на *ē*, исторически имели основу на гласный *a*, о чем свидетельствует форма эргатива этих имен, где *a* восстановлен: *нана-с*, *дада-с*; в родительном падеже и производных от него формах *в* вторичен, он получен путем ассимиляции и слияния гласных дифтонгов: *ай* → *ей* → *е*, так как, как мы уже указывали, основы с гласным исходом принимают в родительном падеже суффикс *ū*. Поэтому в генетическом плане слова *нан* и *дад* должны быть отделены от имен на *ē*

В третье склонение автор выделяет имена, возникшие, как он говорит, в результате субстантивации классных глагольных основ (масдаров.— *Р. Г.*) при помощи суффикса *-ki* (вам кажется, *икл.*— *Р. Г.*), как *е-уэлр-и-ки* «крику», *й-уэри-ки* «крикунья» и т. д. (стр. 70). Все эти имена с суффиксом *-икл* склоняются так же, как и те, которые автор выделил в первом склонении с окончанием родительного падежа *ē*. Это видно хотя бы из сравнения склонения слова *уэрики* (на стр. 77) со склонением слова *бадер* (на стр. 74).

Во втором склонении Ю. Д. Дешериев объединяет существительные, в которых при склонении перед падежными окончаниями появляется *ч* (точнее, *чо.*—*Р. Г.*). Дело в том, что аффикс *чо* является характерным для склонения атрибутивных имен, на что указывает и сам автор (см. стр. 67). Имя существительное, которое приводит автор (*пстIуйнō* «женщина»), склоняется по типу прилагательных; как нам кажется, оно также по происхождению является атрибутивным именем. Так как в данной главе автор дает классификацию типов склонения имен существительных, то вносить сюда тип склонения прилагательных нам кажется нецелесообразным.

Весьма ценно, что автор подкрепляет свои суждения о падежах и системе склонения богатым лексическим материалом. Кроме примеров к каждому падежу, автор приводит примеры к ним и в предложениях, что дает читателю возможность разобраться в функциях той или иной формы (см. стр. 70, 71, 72).

В суждениях о глаголе наше внимание привлекают четыре основных вопроса: 1) классификация бабдийских глаголов, 2) аспект глагола, 3) образование времен, 4) личные окончания и экспоненты грамматических классов.

Бабдийские глаголы по своему строению бывают простые и сложные. Переходность и непереходность простых глаголов устанавливается по падежу субъекта, по наличию прямого объекта или по экспонентам грамматических классов. Иначе обстоит дело в сложных глаголах. Они отображают новую, зарождающуюся систему залоговых категорий; имеются действительный залог, страдательный залог, побудительная и страдательно-побудительная формы. Для образования каждой из этих категорий использован соответствующий вспомогательный глагол, который по принципу агглютинации присоединяется к глагольной или именной основе.

Ю. Д. Дешериев выделяет четыре, как он называет, разновидности спряжения. Первой группы этих глаголов мы коснемся ниже. Во второй разновидности он объединяет глаголы, образующиеся посредством вспомогательного глагола *далā* (приближающиеся по смыслу к среднему или возвратному залогу). Автор указывает, что подобные глаголы в восточно-вейнахском языке имеют значение «иметь возможность», «мочь что-то делать», «находиться в каком-то состоянии» (стр. 93). Весьма интересны эти сведения автора для сравнения потенциалиса и страдательного залога. Как указывает и автор, в бабдийском языке эти глаголы уже утратили характерное для страдательного глагола значение «мочь», «иметь возможность...» Для выражения указанных значений в бабдийском языке употребляется другой глагол *манIā* («мочь, иметь возможность»), который образует новую категорию — потенциалис (он присоединяется как к переходным, так и к непереходным глаголам). Отсюда видно, что автору следовало остановить свое внимание и на образовании потенциалиса.

В третью разновидность включены побудительные глаголы, образованные формантом *итар*. Автор дает полную и точную характеристику этих глаголов (стр. 110). В четвертую разновидность включены также побудительные глаголы, но образованные с формой *далар* возвратного (страдательного) значения. Автор установил эту своеобразную форму образования каузатива от страдательного залога и дал совершенно правильный анализ его. Как мы уже видели, все три группы были закономерно выделены по принципу своего образования.

Мы умышленно не касались до сих пор первой разновидности глаголов. В эту группу автор выделяет, по видимому, простые по структуре переходные и непереходные глаголы. Однако положенные им в основу этой классификации принцип нарушается, как только он включает сюда сложный по составу глагол *цIерад'дар* «писать», который образован, как все заимствованные переходные глаголы, посредством вспомогательного глагола *дар* «делать» (стр. 92).

Непонятно, почему Ю. Д. Дешериев наряду с другими типами не выделяет отдельно группу переходных глаголов с вспомогательным глаголом *дар*, что было бы совершенно логично, если следовать его же принципу группировки глаголов. Он касается этой формы неоднократно в своем труде (стр. 130, 317 и др.). Более того, кончая анализ четырех разновидностей образования глагольных форм, Ю. Д. Дешериев добавляет: «Почти от всех непереходных глаголов образуются переходные глаголы путем присоединения к смысловому глаголу классного вспомогательного глагола *дыл|деб* «делай», уже превратившегося в аффикс» (стр. 130). *Дел* и есть повелительная форма глагола *дар*.

Итак, автор дает в общем правильную и интересную характеристику и анализ бабдийского глагола, устанавливая важные факты, имеющие значение и для общего языкознания. Он устанавливает основные времена и наклонения, выделяет их аффиксы, указывает функции. По мнению автора, основными временами являются только

что прошедшее время (прошедшее совершенное или аорист) и настоящее. И действительно, все остальные времена так или иначе группируются вокруг этих основных времен. В целом приемлемая характеристика баббийских времен требует некоторых уточнений. Формангом только что прошедшего времени автор считает *и/иэ* (стр. 88). Но характерным для окончания этого времени является наализация гласного: *ӣ, э̄* (в неправильных глаголах встречается изредка также *иэ̄*).

Так как назальный звук получен путем ослабления *и* в конце слова, то в 1-ом и 2-ом лице этого времени при присоединении личных окончаний *и* восстанавливается вследствие потери конечной позиции (3-е лицо *аллэй* «сказал», 1-ое лицо *айльнас*, 2-ое лицо *айльнах/айльна*). Приведенные в книге формы 1-го и 2-го лица этого времени не точны (см. стр. 89 и таблицы на стр. 94, 102, 112 и др.).

Ю. Д. Дешериев называет 4 аффикса настоящего времени — краткие *ă, ǫ, ẽ, ỹ* (стр. 89, 131); следует добавить также суффикс *й* и указать, что *а* (а не *ă*) встречается очень редко. Правильно отмечает автор общность показателей настоящего и будущего времен, которые различаются только в основе.

В системе времен мы почему-то не находим прошедшего несовершенного времени. Следует отметить, что времена, которые автор называет «недавнепрошедшим» (суффикс *нд̄*) и «давнепрошедшим» (*но + р*), являются заглазными.

Ю. Д. Дешериев констатирует факт изменения баббийского глагола по лицам. Личными окончаниями служат личные местоимения. Изменение глагола по лицам он правильно квалифицирует как новое для баббийского языка явление, возникшее под внешним влиянием (стр. 84). Материалы баббийского глагола по этому вопросу представляют большой интерес для изучения глагола иберийско-кавказских языков вообще. Интересны наблюдения автора при сопоставлении личных окончаний и показателей грамматических классов в переходных глаголах (см. стр. 222).

Рассматривая причастие, автор указывает, что «в настоящем времени причастие получает аффикс *уй̄/уин*, а в прошедшем... аффикс *ин/иэн*» (стр. 153). На самом деле причастие настоящего времени образуется от настоящего времени, суффиксом которого часто бывает гласный *ǫ*, суффиксом же причастия настоящего времени является *й̄н̄* (←*ни*); при присоединении его к форме настоящего времени образуется дифтонг *ой̄*, где *о* перед *и* переходит в *у*, например *ваел̄ǫ* «видет», *ваел̄уй̄н̄* ← *ваел̄ой̄н̄* «идуший», так что *-у-* (←*о*) принадлежит основе настоящего времени, а не входит в окончание причастия. То же самое можно сказать и о причастии прошедшего времени, суффикс которого присоединяется к основе, имеющей окончание *ӣ, э̄*, поэтому формант *и* в выделенной автором форме причастия этого времени также является принадлежностью аориста, а не причастия.

Рассматривая деепричастие, Ю. Д. Дешериев дает анализ деепричастия только настоящего времени (стр. 157), что же касается деепричастия прошедшего времени, суффиксом которого является *че* (*хь*), то он говорит о нем в другом месте и дает ему другую квалификацию (см. стр. 301).

В разделе «Глагол» автор разбирает систему грамматических классов в баббийском языке, давая исчерпывающие сведения и точный анализ. Однако рассмотрение этого вопроса следовало бы выделить в отдельную главу, поскольку система грамматических классов является самой характерной чертой грамматики баббийского языка (как и многих других иберийско-кавказских языков) и охватывает почти все части речи.

*

Третью часть своей книги Ю. Д. Дешериев посвящает синтаксису баббийского языка. Богатый фактический материал и оригинальные соображения автора делают эту часть книги интересной и ценной. В разделе синтаксиса автор касается эргативной конструкции баббийского глагола. Он указывает на зарождение и распространение эргативной конструкции при переходных глаголах в 1-ом и 2-ом лицах. Но возникает вопрос, является ли это первичным явлением и тем самым расходит ли баббийский язык в этом отношении со всеми другими иберийско-кавказскими языками, или же эргатив при переходных глаголах — вторичное явление? Повидимому, автор считает это явление первичным (см. стр. 224). Мы же считаем более правильным предположение о том, что эргатив в 1-ом и 2-ом лицах при переходных глаголах — вторичное явление, поскольку 3-е лицо сохраняет изначальную форму — номинативную конструкцию. В 1-ом и 2-ом лицах, по нашему мнению, эргатив образован по аналогии с переходными глаголами для выражения динамичности. На это указывают приведенные в книге параллельные формы: *со воже̄* «я упал», где *со* «я» — им. падеж при глаголе пассивного значения, и *ас воже̄* «я упал», где эрг. падеж *ас* «я» придает глаголу активное, динамическое значение («я упал, желая этого», например нарочно). Поэтому выделять среди конструкций предложений переходную конструкцию с эргативом нецелесообразно.

Далее Ю. Д. Дешериев утверждает, что ему «удалось установить, что в баббийском языке еще не все глаголы дифференцировались на переходные и непереходные.

Это выявляется в параллельном построении переходного и непереходного оборотов от одних и тех же глаголов» (стр. 227). Но приведенные в книге примеры неубедительны.

Все приведенные глаголы отображают новую систему образования переходных глаголов с формантом *дар* и страдательных — с формантом *далар*. Две группы глаголов, которые автор считает недифференцированными по переходности, на самом деле дифференцированы. Например, *вахар* «напиться» — непереходный глагол и *вахвар* «напоить» — переходный; *вишар* «лечь» — непереходный глагол, *вишвар* «уложить» — переходный.

Формы, приведенные к переходной конструкции, следует исправить следующим образом: масдар непереходного глагола не *вишар*, а *вишвар*; форма аориста непереходного глагола не *бах*, а *бахби*; *дуйц* *Инас* непереходная форма «я наелся», а переходная форма *дуйц* *Инас* «я накормил» и т. д. (стр. 227).

•

IV часть книги посвящена бацбийской лексике, которой Ю. Д. Дешериев справедливо уделяет большое внимание. Особенно ценно, что автор рассматривает бацбийскую лексику в историческом аспекте, специально останавливаясь на вопросе о заимствованиях. Подчеркнув социальную основу своеобразия бацбийской лексики, автор разделяет ее на два слоя — древний и новый. Под древним слоем он подразумевает собственно бацбийские слова, большей частью встречающиеся и в других вейнахских языках, под новым слоем — слова, заимствованные из грузинского или русского языков. Количество лексических заимствований в бацбийском языке настолько велико, что это представляет несомненный интерес для общего языкознания.

Насколько нам известно, при грамматическом анализе других языков не было случаев столь подробного разбора лексики. Лексика бацбийского языка и ее особенности изучены автором чрезвычайно тщательно с привлечением многообразного и интересного материала, что безусловно является большим достоинством рецензируемого труда.

Не со всеми этимологиями Ю. Д. Дешериева можно согласиться. Например, по его мнению, племенное название *бацби* происходит от вейнахского *буц* «трава»; отсюда *бацби* — «живущие там, где трава» (стр. 325). По нашему мнению, сходство этих слов случайное (*буц* встречается и в бацбийском языке). В слове *калц* *Иул* «дева» автор выделяет форму «лишительного» падежа *ц* *И* «без» (стр. 329). Но это слово, заимствованное из грузинского языка, — сложносоставное и состоит из двух самостоятельных слов: *кали* «женщина» и *ц* *И* «дитя».

Приведенный автором лексический материал, в основном, не вызывает сомнений, но встречаются и некоторые неточности. Неточно записаны некоторые географические названия: *Тилви*, *Ахмет*, *Алли...* (стр. 8). Приведенные в книге слова приближаются к форме, передающей направление («куда?»). В именительном падеже все эти названия мест имеют суффикс *а*: *Телва*, *Ахмита*, *Алевна*.

Неточно записаны также и формы: *Буит* *И* (стр. 223, 276), *йуит* *И* (стр. 223), *еуит* *И* (стр. 223, 248, 280, 295), *дуйт* *И* (стр. 275, 276) «идет» (с различными классными показателями); везде следует в конце слова ставить *й* — показатель настоящего времени (*еуит* *й*, *йуит* *й*, *дуйт* *й*, *буит* *й*)¹. Лишним является *й* между гласными в словах: бацб. *клийав*, груз. *клийави* «слива» (стр. 7); груз. *т'квгийя* «нуля» (стр. 11), бацб. *ийасам*, груз. *ийасамани* «спрель» (стр. 336); бацб. и груз. *ийа* «фиалка» (стр. 7, 336), груз. *Килия* «саранча» (стр. 9, 338), груз. *буий* «филин» (стр. 334), груз. *сийа* «спирок» (стр. 327). К корректурным ошибкам относятся формы *нак* *И* (*верчхал* «клен» (стр. 7), следует: *некерчхали*; *санидроб* «охота» (стр. 9, 328, 337), следует: *надироб*; *б* *Гарц* *И* «волк» (стр. 9, 313), следует: *б* *Горц* *И*; *цок* *И* «лиса» (стр. 9, 313), следует: *цок* *И*; *мосц* *И* *авлебел* «учитель» (стр. 11), следует *масца* *И* *авлебел*; *анц* *И* «бузина» (стр. 7, 335—336), следует: *анц* *И* и др.

Высказанные замечания не умаляют значения работы Ю. Д. Дешериева в целом. Как нами уже отмечалось, этот труд представляет собой первую обширную монографию о бесписьменном бацбийском языке. Анализ грамматического строя и лексического состава данного языка, опирающийся на записанный самим автором богатый материал, соответствует тому высокому уровню, на котором стоит наше советское языкознание. Работа Ю. Д. Дешериева вносит свою лепту в дело научного изучения иберийско-кавказских языков.

Р. Р. Гагуа

¹ Что здесь следует ставить именно суффикс *й*, видно из форм прошедшего несовершенного времени этого глагола, где перед окончанием *р* всегда восстановлен краткий гласный настоящего времени: настоящее время *еуит* *й*, прошедшее несовершенное *еотур*.

E. Riesel. Abriss der deutschen Stilistik.— Moskau, Verlag für fremdsprachige Literatur, 1954. 404 стр.

Книга проф. Э. Г. Ризель «Очерки по стилистике немецкого языка», вышедшая недавно в Издательстве литературы на иностранных языках, представляет собой первую посвященную данному вопросу работу в советской филологической литературе.

Соответствующие немецкие учебные пособия прежних лет, в частности, наиболее известное из них — «Немецкая стилистика» Р. Мейера¹, в настоящее время в значительной мере устарели, появившаяся же в новом издании книга Л. Рейнера «Искусство стиля»² не может быть положительно оценена как пособие по стилистике в связи с неверными теоретическими основами данной работы, хотя отдельные главы в ней и представляют известный интерес. Следует также отметить, что опубликованные в последние годы в ГДР небольшие брошюры и отдельные статьи посвящены главным образом практическим вопросам языковой нормы, освобождению языка от штампов, созданных в годы фашизма.

В связи со сказанным трудно недооценить значение очерков Э. Г. Ризель, ставящих своей задачей дать систематическое изложение проблем немецкой стилистики в свете марксистского учения о языке.

Рассматриваемая книга состоит из введения, трех основных частей и приложения. Во введении (стр. 3—38) автор в первую очередь раскрывает свое понимание стиля языка, определяя последний как «оформление речевого выражения (Ausdrucks-gestaltung) в определенной области человеческой деятельности с определенной коммуникативной целью», как «специфически-функциональный способ (разрядка моя.— Н. Ф.) использования находящихся во всеобщем распоряжении единичных языковых средств» (стр. 7).

Данное определение центрального объекта стилистики, хотя в нем совершенно справедливо указывается на функциональную обусловленность стилей языка, нельзя признать правильным, поскольку оно вызывает представление о том, что стили языка возникают лишь в момент его применения. В действительности же стили единого национального языка объективно сосуществуют внутри него как «соотносительные системы речевого выражения (разрядка моя.— Н. Ф.)», характеризующие функциональное своеобразие употребления национального языка в разных сферах общественной жизни и для разных целей³. Уязвимость приведенного выше определения осознается, повидимому, и самим автором, что побуждает его добавить следующее: «В процессе своего исторического развития каждый стиль вырабатывает (bildet heraus) более или менее замкнутую систему выразительных средств, типичных именно для него» (стр. 7).

Недостаточно последовательности в трактовке понятия стиля проявляет автор и на следующей (8) странице, где он то полностью отождествляет «функциональный способ использования» и «функциональный стиль», то говорит о стилях как о «параллельных системах выражения с определенной коммуникативной целью (в определенных промежутках времени)», а также и в дальнейшем изложении.

Не вполне точным оказывается определение, даваемое Э. Г. Ризель, и во второй своей части — там, где указывается, что стиль представляет собой «специфически-функциональный способ использования находящихся во всеобщем распоряжении единичных средств языка» (разрядка моя.— Н. Ф.). Ведь если понимать стили единого национального языка как соотносительные системы речевого выражения, то необходимо признать, что каждой из таких систем будут присущи, наряду с общими, и свои особые, специфические для нее средства. Следовательно, вряд ли можно считать их находящимися во всеобщем распоряжении.

Дав определение стиля, Э. Г. Ризель переходит далее к классификации стилей языка (насколько последняя возможна при современном уровне разработанности названной проблемы). В качестве главного критерия при этом автор вполне обоснованно избирает «разделение по специфической функции, которую данная система выражения⁴ выполняет в процессе устного или письменного общения» (стр. 9), что приводит к следующей схеме (стр. 10):

¹ R. M. Meyer, Deutsche Stilistik, München, 1913.

² L. Reiners, Stilkunst. Ein Lehrbuch deutscher Prosa, 3-e Aufl., München, 1950.

³ См. В. В. Виноградов, Основные задачи советской науки о языке в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию, М., 1952, стр. 31. Ср. также определение стилей языка как «целесообразно организованных систем словесного выражения» в статье того же автора «Язык художественного произведения» (ВЯ, 1954, № 5, стр. 7).

⁴ Таким образом, здесь автор понимает под стилем уже не «функциональный способ использования» (ср. выше), но «систему выражения», что является правильным.

Языковые стили письменной речи

- 1) научный стиль
- 2) публицистический стиль
- 3) официальный стиль

Языковые стили устной речи

- 1) стиль общения дома и в семье (так называемый «обиходно-бытовой стиль»)
- 2) стиль устных выступлений (так называемый «риторический стиль»), как объединение всех устных форм проявления указанных письменных стилей языка

Особое место, согласно концепции Э. Г. Ризель, занимает «способ использования» языка в художественной литературе, представляющий благодаря широте и полноте своих выразительных возможностей явление иного порядка, чем перечисленные выше стили письменной и устной речи. Вместе с тем автор считает вполне допустимым говорить о языковом стиле художественной литературы, мотивируя это следующим образом: «Специфика системы речевого выражения художественной литературы заключается именно в том, что она может вобрать в себя и использовать все источники языковых средств (как литературные, так и не литературные) (разрядка моя.— Н. Ф.), хотя в действительности это происходит и не всегда» (стр. 15).

Не претендуя на окончательное разрешение спорного вопроса о том, можно ли выделить особо стиль художественной литературы, мы хотим лишь отметить неразрывную связь его трактовки с пониманием и определением стили вообще. Если под стилем (вместе с Э. Г. Ризель) понимать «способ использования» языка, то в стили языка естественно войдет стиль художественной литературы. Если же рассматривать стиль как определенную систему средств речевого выражения, то выделение в ряду стилей единого национального языка особого стиля художественной литературы с точки зрения современного немецкого языка едва ли является обоснованным¹. Вбирая в себя и используя богатые ресурсы всех стилей и диалектов общенародного языка в пропорциях, которые трудно предугадать, язык художественной литературы не может составить целостной системы, что совершенно необходимо для отнесения его в ряд стилей. Затронутая здесь проблема вне всякого сомнения нуждается в специальном исследовании, при котором глубоко и последовательно должен соблюдаться принцип историзма.

Описанная классификация стилей книжного типа речи, в основном, совпадает с классификациями, содержащимися в пособиях по русскому языку, выпущенных в последнее время в издательстве МГУ, однако является, по сравнению с последними, менее полной. Так, например, проф. А. И. Ефимов² выделяет в современном русском языке, наряду с художественно-беллетристическими, общественно-публицистическими, официально-документальными стилями и стилями научного изложения, также стили профессионально-технические, «которые характерны для производственно-технической литературы, обслуживающей нужды и потребности крайне разнообразных профессий для разнообразных областей техники, для военного дела и других сфер деятельности», и эпитолярные стили, «характерные для различной переписки, дневников, писем и т. д.»

Техническо-производственный стиль, обслуживающий нужды общения в производстве, и эпитолярно-повествовательный стиль, характерный для дневников, хроник, бытовой и литературной переписки, выделяются в современном русском языке также проф. Е. М. Галкиной-Федорук³. Е. М. Галкина-Федорук и А. И. Ефимов ставят проблему классификации стилей (в указанных работах) сугубо конкретно — лишь применительно к современному русскому языку, между тем как в книге Э. Г. Ризель данная проблема трактуется слишком общо, как проблема установления единой классификационной схемы для стилей всех языков (ср., например, стр. 8 и сл.). Однако подобная постановка вопроса представляется совершенно неправильной, поскольку национальная самобытность любого языка ярко проявляется и в стилистическом плане.

¹ Ср. об этом в статье В. Д. Левина «О некоторых вопросах стилистики» (ВЯ, 1954, № 5, стр. 79—80): «... язык художественной литературы не обладает признаками языкового стиля, поскольку он не представляет собой системы стилистически однородных явлений, принципиально лишен всякой стилистической замкнутости и не опирается на специфическую для него стилистическую окраску языковых средств».

² А. И. Ефимов, История русского литературного языка. Курс лекций, [М.], 1954, стр. 22.

³ См. Е. М. Галкина-Федорук, Современный русский язык. Лексика (Курс лекций), [М.], 1954, стр. 14.

Стили, широко развитые в одном языке, в другом могут быть развиты менее или совсем отсутствовать, что тесно связано с конкретно-историческими условиями функционирования того или иного языка¹. Более того, неодинакова будет и стилиевая структура какого-либо одного языка в разные периоды его исторического развития².

Поэтому более правомерно со стороны автора было бы говорить не об общей для всех национальных языков классификации стилей (создание которой едва ли возможно), но о системе стилей современного немецкого языка, которая, собственно, и находит свое отражение в установленной Э. Г. Ризель схеме.

Каждый из указанных выше стилей единого национального языка включает в себя, по мнению Э. Г. Ризель, несколько менее крупных стилиевых разновидностей (*Gattungsstile*) (стр. 17). Так, например, официальный стиль распадается на стиль учреждений и канцелярий, судебный, дипломатический и торговый стили, отличающиеся друг от друга особенностями терминологии (узко специализированная лексика), фразеологических клише, а также характером отбора слов и известными синтаксическими особенностями (там же).

В разграничении стилиевых разновидностей, как видно из приведенного примера, строго соблюдается функциональный принцип, что выгодно отличает рассматриваемую книгу от некоторых других работ по стилистике и, в частности, от «Очерков по стилистике русского языка» проф. А. Н. Гвоздева, где выделение разновидностей стиля базируется на такой шаткой основе, как «характер воздействия на слушателей, связанный с тем, в каких взаимоотношениях находятся участники речи»³. Ср. выделяемые А. Н. Гвоздевым «торжественный», «официальный», «янтимно-ласковый», «шутливый» и «насмешливый» стили.

Хотелось бы, однако, чтобы Э. Г. Ризель охарактеризовала в своих очерках не только стилиевые разновидности внутри стилей книжного типа речи (т. е. внутри официального, публицистического и научного стилей), но также и стилиевые разновидности внутри стилей разговорного типа речи. Несколько спорной представляется трактовка разновидностей стиля художественной литературы (если признать последний стилем) как жанровых стилей (*Genrestile*) (стр. 18), поскольку этим нарушается функциональный принцип классификации, соблюдаемый автором. Ведь нельзя же считать создание произведения определенного жанра (трагедии, комедии, басни, народной песни) функцией стиля художественной литературы. Скорее можно было бы связать стилиевые разновидности в данной области с особенностями творческого метода, литературного направления и т. п.

Автор стремится четко отграничить друг от друга понятие стиля языка и стилистической окраски, проявляющейся как в лексике и фразеологии, так и в грамматике (стр. 19). Справедливо указав на то, что стилистическая окраска может быть абсолютной, т. е. присущей языковому явлению всегда (и вне контекста), или контекстуальной, т. е. возникающей лишь в определенном контексте (стр. 19), Э. Г. Ризель устанавливает два ряда стилистических окрасок (стр. 20 и сл.). Первый из них охватывает градации в следующих направлениях: 1) литературно-нейтральная (*einfach-literarisch*), приподнятая (*gewählt, gehoben*) и напыщенная (*geschraubt*) стилистические окраски; 2) литературно-нейтральная (*einfach-literarisch*), литературно-разговорная (*literarisch-umgangssprachlich*), фамильярно-разговорная (*familiär-umgangssprachlich*) и грубая (*grob*) стилистические окраски. Другой ряд включает разнообразные экспрессивные оттенки; ср. нейтральную (*nichtemotional*), эмоциональную (*emotional*) и повышено-эмоциональную (*bewegt-emotional*) стилистические окраски (стр. 25).

Однако отграничение стиля языка от стилистической окраски не должно перерасти в разрыв, не должно приводить к забвению того факта, что определенная стилистическая окраска языковых явлений порождается их длительным и преимущественным употреблением в пределах определенного стиля языка. То или иное языковое явление обладает определенной стилистической окраской потому, что оно принадлежит к определенному стилю языка. Таким образом, стиль относится к стилистической окраске, как причина к следствию: первое обуславливает второе; в свою очередь, второе помогает установить первое⁴.

Между тем ознакомление с параграфами «Очерков по стилистике немецкого языка», посвященными стилистической окраске, вызывает представление о том, что автор мыслит себе стилистическую окраску как величину, хотя и связанную в известной степени с определенным стилем (в том смысле, что определенные стилистические окраски тяготеют к определенным стилям), но от него не зависящую и им не порождаемую. Об этом говорит как вопрос на стр. 26: «Все ли стилистические окраски допустимы во всех стилях языка или определенные стили связаны с определенными стилистическими

¹ См. В. В. Виноградов, *Итоги обсуждения вопросов стилистики*, ВЯ, 1955, № 1, стр. 83.

² Ср. там же.

³ А. Н. Гвоздев, *Очерки по стилистике русского языка*, М., 1952, стр. 14.

⁴ См. В. В. Виноградов, *Итоги обсуждения вопросов стилистики*, стр. 70.

окрасками?», так и высказывание на стр. 19: «Стилистическая окраска придает стилю языка (т. е. речи, выдержанной в определенном стиле) определенный оттенок», в котором действительное соотношение стилистической окраски и стиля представлено в перевернутом виде.

О недооценке автором обуславливающей роли стиля по отношению к порождаемой им стилистической окраске свидетельствует и отказ от функционального принципа при их установлении, в то время как в противном случае неизбежно было бы выделение ряда функционально-стилистических градаций.

В третьем разделе введения убедительно доказывается необходимость различения между языком и индивидуальным-художественным стилем писателя, с одной стороны, и литературно-художественным методом целых литературных направлений — с другой.

В четвертом (последнем) разделе определяются предмет, задачи и место стилистики среди прочих отделов языковедения.

Первая часть книги Э. Г. Ризель — «Лексические и фразеологические средства выразительности в современном немецком языке» (стр. 41—241) представляет собой самый обширный (как по объему, так и по охвату материала) из ее разделов. Она состоит из десяти глав: «Отбор слов и его значение» (стр. 41—52); «Стилистическая дифференциация лексики и фразеологии современного немецкого языка» (стр. 52—100); «Территориальные различия в словарном составе современного немецкого языка» (стр. 100—115); «Архаизмы и неологизмы» (стр. 115—137); «Иноязычные слова» (стр. 137—152); «Тропы как стилистическое средство» (стр. 152—177); «Перифразы» (стр. 177—191); «Эпитеты» (стр. 191—203); «Лексико-фразеологические средства, постоянно используемые в целях юмора и сатиры» (стр. 203—218); «Застывшие словосочетания» (стр. 218—241).

Данная часть вполне правомерно начинается показом огромного значения правильного отбора слов. Ведь предисылкой последнего является развитая синонимия, а именно изучение синонимических средств выражения, присущих общенародному языку, должно находиться в центре внимания исследователей стиля¹.

Следует, впрочем, заметить, что вопросы отбора слов (по отношению к немецкому языку) уже имеют свое подробное освещение в книге Л. Рейнера «Искусство стиля», где им посвящена особая глава², насыщенная богатым конкретным материалом.

Большой интерес, как в теоретическом отношении, так и в отношении иллюстративного языкового материала, представляет вторая глава первой части. Однако на построении ее сказывается тот разрыв между стилем и стилистической окраской, который был обнаружен нами уже во введении. Резко разграничив рассмотрение функционально-стилистической дифференциации словарного состава от рассмотрения его дифференциации по стилистической окраске, автор не замечает, что первая является в сущности не чем иным, как членением слов на группы в зависимости от наличия у них функционально-стилистической окраски. С этой точки зрения наблюдаемое в данной главе противопоставление функционально-стилистической дифференциации словаря и его дифференциации в зависимости от определенной стилистической окраски не может считаться достаточно оправданным.

Невыясненным остается в ней также вопрос о месте специфической жаргонной, профессиональной, студенческой и школьной лексики среди прочих слоев функционально-дифференцированной лексики (ср. стр. 61—69). Отмечая, что некоторые элементы перечисленных лексических групп могут просачиваться в так называемую «бытовую» лексику (*umgangssprachliche Lexik*), относящуюся к «обиходно-бытовому» стилю языка, автор ничего не говорит о функционально-стилевой принадлежности их остальной части.

Подробно останавливаясь на дифференциации словарного состава в зависимости от наличия у слов определенной стилистической окраски, Э. Г. Ризель считает нужным отделить стилистические градации типа «литературно-нейтрально — приподнято, торжественно-напыщенно» и «литературно-нейтрально — литературно-разговорно — фамильярно-разговорно — грубо» от собственно экспрессивных, эмоциональных оттенков. Подобное разделение значительно обедняет словарный состав немецкого языка в отношении экспрессивности, так как благодаря ему в разряд абсолютно эмоциональной лексики попадают лишь следующие группы слов (стр. 82 и сл.): 1) различные виды восклицаний, т. е. междометия (например, *ach!, oh!, tralala! juchheisa!* или целые сочетания, например *pfui Teufel!, Schmach und Schande!*); 2) так называемые «народные суперлативы (*Volkssuperlative*)» (т. е. сложные прилагательные с одним или несколькими усиливающими компонентами типа *junkelnagelneu* «новехонкий, как с иголочки»); 3) сложные имена существительные с усилительным определяющим компонентом,

¹ См. В. В. Виноградов, Насыщенные задачи советского литературоведения, «Знамя», 1951, № 7, стр. 143.

² L. Reiners, указ. соч., 6. Kapitel: Wortwahl.

типа *Bombenerfolg* «колоссальный успех»; 4) тавтологические парные сращения типа *angst und bang, blass und bleich* и т. п.; 5) «все ругательства немецкого языка» (стр. 83).

Однако можно ли отказать в определенной экспрессии и эмоциональности таким словам, как, например, *Antlitz, vergeben* или *fressen* и *schuften*? У двух первых Э. Г. Ризель находит лишь стилистическую окраску природности, два же последних обладают, по мнению автора, только оттенком некоторой фамильярности или грубости (ср. стр. 71 и 81). Но разве природность или грубость и фамильярность сами по себе не связаны с определенной экспрессией? Весьма показательно, что и автор при анализе конкретного материала указывает на «перекрещивание и соприкосновение обоих видов стилистических окрасок в одном слове» (стр. 83).

Подводя итог как сказанному выше, так и только что сказанному относительно стилистических окрасок, необходимо отметить, что более целесообразным представляется объединение двух выделяемых Э. Г. Ризель рядов в один ряд экспрессивно-эмоциональных стилистических окрасок. Другой ряд составили бы функционально-стилистические окраски. Именно эти два ряда окрасок (экспрессивно-эмоциональная и функционально-речевая), часто накладывающихся друг на друга, выделяет акад. В. В. Виноградов, указывая на наличие в языке двойного рода стилистических синонимов — функционально-речевых и экспрессивно-смысловых¹.

Серьезные возражения вызывает содержащаяся в § 18 второй главы исключительная негативная характеристика официально-делового стиля речи, отличающегося, по мнению автора, бедностью, расплывчатостью и тяжеловесностью (ср. стр. 56, 58) и служащего для «затруднения понимания» (стр. 57). Подобную характеристику едва ли можно распространить на официально-деловой стиль речи в ГДР, тем более что для ее иллюстрации привлекаются те самые безличные стершиеся штампы, против которых в настоящее время развернута активная борьба (ср., например, глагол *erfolgen*).

Недостатком третьей главы, в целом весьма содержательной, следует признать то, что диалектизмы (чисто местные слова и выражения), территориальные дублеты (вошедшие в единый национальный язык) и так называемые «австриализмы» (как специфическая принадлежность функционирующей в Австрии формы немецкого языка) трактуются автором как явления, лежащие в одной плоскости.

Четвертая и пятая главы дают обстоятельный анализ неологизмов и архаизмов, а также иноязычных слов.

Вместе с тем возникает сомнение в правомерности трактовки в курсе стилистики чисто лексикологических проблем, подобных затронутым в третьей, четвертой и пятой главах². Перечисленные главы следовало бы коренным образом перестроить в связи с проблемой общей литературной нормы выражения.

Впечатление меньшей разработанности производит вторая половина первой части (за исключением десятой главы), посвященной средствам образности современного немецкого языка. Входящие сюда главы (с шестой по девятую включительно) по широте охватываемого ими материала перерастают рамки лексики и фразеологии и смыкаются с синтаксисом (ср., например, развернутые сравнения и перифразы, эпитеты, различные виды игры слов, а также «алогические» словосочетания), в связи с чем было бы крайне желательно, чтобы автор выделил их в особый раздел, назвав его «Средства образности современного немецкого языка».

Всяческого внимания заслуживает та трактовка тропов и эпитетов, которую мы находим в главах данного цикла. Справедливо критикуя укоренившийся в традиционной стилистике взгляд на тропы как на средство украшения языка, связанное лишь с его художественными формами, автор стремится вскрыть сущность тропов, их лексическую базу и языковую структуру, а также показать их стилистические функции. Отказавшись от схоластической многочисленной классификации тропов, характерной для ряда зарубежных пособий по немецкой стилистике, Э. Г. Ризель вполне правомерно сосредотачивает основное внимание лишь на двух их разновидностях — метафоре и метонимии, отмечая, впрочем, что в языковой действительности границы между ними часто стираются.

Однако глава «Очерков», посвященная тропам, не лишена ряда мелких погрешностей. Так, например, автор рассматривает в ней сравнение, отмечая в то же время, что последнее не представляет собой тропа. В качестве примеров на метонимию (стр. 159—161) приведены большей частью стершиеся, не наделенные уже никакой образностью, обычные в языке переносные употребления; ср., например, на стр. 159: *Das ganze Institut sprach davon* (anstatt: *die Studenten des Instituts*). Можно сказать и *die ganze Stadt, das ganze Dorf, das ganze Haus, die ganze Straße* и т. п. *sprach davon*. Неточно здесь и то, что понятие *das ganze Institut* включает не только студентов, но и преподавателей, и обслуживающий персонал, т. е. всех людей, имеющих к нему отношение.

Неудачен пример на метонимию, взятый из стихотворения Кубы «O Menschheit,

¹ См. В. В. Виноградов, Итоги обсуждения вопросов стилистики, стр. 69.

² Ср. там же, стр. 65.

hilf!» (стр. 159). Слова *fällt der eiserne Regen* (буквально: «падает железный дождь» вместо «сыплются пули») в данном примере вряд ли представляют собой метонимию, основанную на логической связи по материалу (*Stoffverhältnis*), т. е., вероятно, по мнению автора, «железный дождь» = пули (из железа?!). Скорее это метафора, покоящаяся на сходстве между градом пуль и дождем.

Недостаточно убедительно звучит сравнение средств образности у Г. Гейне и реакционных романтиков Новалиса и Тика, проводимое автором на стр. 171—172, поскольку сравниваются не законченные отрывки или стихотворения, написанные на общую тематику, а вырванные из более широкого контекста цитаты. По поводу следующих трех строк из Тика:

*Schwarz war die Nacht,
Und dunkle Sterne brannten
Durch Wolkenschleier matt und bleich*

(буквально: «Черна была ночь,
И темные звезды горели
Сквозь дымку облаков тусклым и бледным светом»)

автор замечает (стр. 172): «Право же, трудно представить, чтобы горели темные звезды». Между тем Тик дает довольно прозрачную поэтическую картину темной, облачной ночи. Что же касается темных звезд, то они не просто горели (*brannten*), но «горели тусклым, бледным светом» (*brannten matt und bleich*; ср. *eine Laterne, eine Lampe brennt matt*).

В главе восьмой, которая, как уже было отмечено выше, посвящена эпитетам, Э. Г. Ризель противопоставляет свою точку зрения на эпитет двум другим теориям (стр. 192). Первая из них гласит, что об эпитете можно говорить лишь применительно к художественной литературе. Представители другой теории полагают, что в качестве эпитета выступает только эмоциональное, содержащее субъективную оценку, определение.

Автор предлагает следующую трактовку эпитета: «1. Эпитетом является всякое уточнение признаков (*Merkmalsbestimmung*) существительного, благодаря которому соответствующее понятие получает со стороны говорящего либо логически-предметную конкретизацию, либо субъективно-эмоциональную оценку. 2. Эпитет более или менее необходим для понимания того существительного, к которому он относится, но отнюдь не неизбежен. 3. Эпитет простирается не только на область художественной литературы, но и на все способы использования национального языка. 4. Эпитет представляет собой стилистическое понятие, выраженное грамматически при помощи пре- или постпозитивного определения (прилагательного или причастия), предложного определения и приложения, предикативного определения (*Prädikatsattribut*) и определительного придаточного предложения. Кроме того, в сложных именах существительных функцию эпитета может выполнять определяющий компонент» (стр. 192).

В общих чертах данная точка зрения представляется вполне приемлемой. Сомнение вызывает указание на то, что в роли эпитета может выступать определяющий компонент сложного слова, так как сложное слово не сводимо к сумме тех синтаксических элементов, к которым данный тип словосложения может входить генетически.

В последней, десятой, главе первой части «Очерков» трактуются вопросы стилистического использования фразеологических единиц немецкого языка, представляющих в современной германике еще недостаточно исследованное явление. Материалы данной главы свидетельствуют о неразработанности вопросов фразеологии в стилистическом плане, что особенно ярко проявляется в мало обоснованной классификации фразеологических единиц, опирающейся то на чисто лексикологические, то на чисто стилистические критерии (ср. стр. 219—227).

Вторая часть очерков Э. Г. Ризель «Грамматические средства выразительности современного немецкого языка» (стр. 245—336) содержит ряд интересных наблюдений над синтаксической синонимикой. Она включает пять глав: «Стилистическая выразительность формы предложения» (стр. 247—256); «Возможные способы варьирования порядка слов как синтаксическое средство выразительности» (стр. 256—286); «Нарушение конструкции предложения» (стр. 286—298); «Возможные способы сочетания слов, групп слов, предложений и абзацев» (стр. 298—322); «Стилистическая выразительность способов передачи речи» (стр. 322—335). Особого внимания заслуживают в данной части тонкие и самостоятельные наблюдения автора, касающиеся возможностей варьирования порядка слов.

Как было отмечено В. В. Виноградовым, «понятие „синтаксического синонима“ еще до сих пор не может считаться точно определенным»¹. Эта общая неясность не могла не сказаться и на соответствующих разделах книги Э. Г. Ризель, где исследова-

¹ В. В. Виноградов, *Итоги обсуждения вопросов стилистики*, стр. 61.

ние синтаксической синонимии проводится, в основном, с эмоционально-экспрессивной точки зрения, безотносительно к функционально-стилистической дифференциации типов речи. Кроме того, из поля зрения автора почему-то выпали морфологические явления.

В третьей части рецензируемой книги (стр. 339—366) рассматриваются фонетические средства выразительности современного немецкого языка. В первой главе данной части (стр. 339—352) трактуются стилистические проблемы звукового оформления (*Lautinstrumentierung*), во второй (стр. 352—366) освещаются ритмико-мелодические средства выразительности.

Приложение (стр. 367—398) содержит сжатый очерк метрики современного немецкого языка, причем автор подвергает специальному анализу стилистическую выразительность метрических форм (стр. 390—398).

Сделанный нами краткий критический обзор «Очерков по стилистике немецкого языка» свидетельствует о том, что их автор последовательно освещает все (за исключением морфологии) аспекты языка, причем в центре его внимания все время находятся проблемы стилистической синонимии. Правильно оценивая положение стилистики как языковедческой дисциплины, соприкасающейся в известном плане с литературоведением, автор на протяжении всей книги не только исследует огромное богатство выразительных средств единого общенародного языка, но и показывает их использование в художественной литературе, что также составляет одну из положительных сторон рецензируемой работы.

Вместе с тем общее отставание стилистики как науки не могло не отразиться и на книге Э. Г. Ризель. В этой книге некоторые теоретические проблемы (например, понятие языковой нормы, понятие речевой «экспрессии») оказались обойденными, трактовка же ряда других представляется спорной. Вследствие этого «Очерки по стилистике немецкого языка» необходимо рассматривать главным образом как полезное практическое пособие, ценное богатством, хорошо подобранным иллюстративным материалом и образцами лингво-стилистического анализа. Стремление автора создать учебник по стилистике на основе достижений советского языкознания за последние годы нужно всячески приветствовать.

Н. И. Филичева

II. Шантрен. Историческая морфология греческого языка. Перевод со 2-го франц. изд. Приложение и предисл. Я. М. Боровского. М., Изд-во иностр. лит-ры, 1953, 340 стр., 1 карта.

Греческий язык представляет особый интерес для языкознания, во-первых, потому, что мы, располагая его письменными памятниками, можем наблюдать почти трехтысячелетнюю историю этого языка со времен Гомера вплоть до наших дней. Во-вторых, греческий язык донес до нас такие древние черты, которые были им унаследованы от доисторического периода, связанного с индоевропейской эпохой, с индоевропейским языком-основой. Это делает греческий язык чрезвычайно важным для сравнительно-исторического языкознания. В-третьих, греческий язык богат диалектами, которые нам стали известны главным образом благодаря многочисленным археологическим (эпиграфическим) находкам на территории как собственно Греции, так и ее многочисленных колоний, в том числе существовавших на юге нашей родины.

Общезвестно далее большое культурное влияние древней Греции и Византии на развитие европейской и русской культуры, в связи с чем нельзя не отметить, что в международном фонде словаря, в его общественно-политической, философской, лингвистической, литературоведческой, искусствоведческой и научно-технической терминологии элементы греческой лексики и отчасти морфологии доньше играют колоссальную роль (ср. *демократия, аристократия, философия, материя, космогония, грамматика, филология, эпос, лирика, драма, театр, биохимия, генетика* и т. д.). Наконец, греческая грамматика — это также факт общезвестный — стала прообразом грамматик всех европейских языков, начиная с латинского.

В доклятырский период греческая грамматика обслуживала в нашей стране главным образом практические потребности школы, особенно классических гимназий. Научная историческая грамматика греческого языка преимущественно изучалась как составная часть индоевропейской сравнительно-исторической грамматики, причем больше всего внимания уделялось фонетике, меньше морфологии¹.

¹ См.: Ф. Ф. Фортунатов, Краткий очерк сравнительной фонетики индоевропейских языков, Пб., 1922; В. А. Богородицкий, Сравнительная грамматика арио-европейских языков, вып. 1 [—Фонетика], Казань, 1914; его же,

Господство теории Н. Я. Марра в советском языкознании не могло способствовать развитию сравнительно-исторического изучения греческого языка. Только в 1948 г. был опубликован первый за советский период учебник для вузов «Древнегреческий язык», составленный таким крупным специалистом, как член-корр. АН СССР С. И. Соболевский¹.

В этом руководе, предназначенном для приступающих к изучению греческого языка, даны все разделы грамматики — фонетика, морфология и синтаксис — в плане описательно-нормативном, причем, как подчеркивает автор в своей «Исторической справке», под «греческой грамматикой» разумеется грамматика аттической прозы классического периода (V—IV вв. до н. э.). Однако в книге помещен и краткий очерк грамматики гомеровского диалекта.

Ни исторической грамматики древнегреческого языка, ни его общей истории на русском языке до сих пор нет. Повяно, что в поисках выхода из такого положения приходится обращаться к книгам зарубежных ученых. Обычно обращаются к небольшим книгам, приспособленным прежде всего служить пособием для высшей школы. Репринтируемая книга французского классика П. Шантрена, как говорит в предисловии автор, «...имеет целью оказать учащимся такую же помощь в изучении греческого языка, какую они получают в отношении латинского от «Исторической морфологии латинского языка» А. Эрну. Автор попытался показать в своей работе развитие языковых фактов от Гомера до Нового завета, учитывая важнейшие особенности диалектов и кратко отмечая там, где это было уместно, какое продолжение имело древнее развитие в новом языке: в истории греческого языка наблюдается непрерывность, которую важно показать» (стр. 8).

Так как морфология требует определенных знаний фонетики, особенно закономерностей в изменениях вокализма корня, известных в сравнительно-исторической грамматике под названием а б л а у т а, который играет немаловажную роль в образовании форм греческого глагола (ср., например, греч. λέγω, ἔλεγον, λέλλω, где чередуются в формах презенса, аориста и перфекта три огласовки ε, ι, οι), то автор предпослал изложению морфологии краткий параграф (стр. 9—12) «Индоевропейское чередование гласных», которым и начинается книга. В первых же словах подчеркивается тот факт, что «индоевропейская морфология характеризовалась не только наличием системы окончаний, но также смещениями ударения (ср. § 60, 359 и др.) и изменениями вокализма корня и других морфологических элементов, носящими название чередования гласных» (стр. 9). Дальше книга разделена на две части почти одинакового размера. Часть первая носит заглавие «Имя» (стр. 13—126), часть вторая называется «Глагол» (стр. 127—275).

Первую часть «Имя» автор начинает с характеристики индоевропейского склонения, которое представляло собой сложную систему, заключавшую в себе три грамматических рода, три числа и восемь падежей (именительный, звательный, винительный, родительный, дательный, орудийный, местный и отложительный). Уже в древнейших греческих текстах замечается утрата в падежной системе целого ряда форм, в результате чего древнегреческий язык сохранил особые формы лишь пяти падежей — именительного, звательного (не во всех склонениях), винительного, родительного, дательного, — причем только первые два имеют определенное единое значение, остальные же совмещают в себе различные смыслы, нередко уточняемые присоединением предлогов.

Затем очень кратко рассмотрен вопрос о грамматической категории числа. Здесь констатируется утрата двойственного числа, которое, однако, сохранялось в аттическом диалекте в форме именительного-винительного падежа только у некоторых типов основ, окончательно же оно исчезло в греческом языке лишь в I в. н. э.

Более подробно автор останавливается на категории грамматического рода, отмечая, что в ходе исторического развития языка противопоставление одушевленного и неодушевленного рода утрачивает всякое конкретное основание и становится чисто грамматическим. Внутри одушевленного рода существует противопоставление мужского и женского грамматических родов, столь же древнее, но морфологически менее четкое. В индоевропейском языке все типы существительных допускают одинаково оба рода, причем особенно ясно это в атематическом третьем склонении. В общем же в греческом языке можно обнаружить последовательное стремление к противопоставлению мужского и женского рода, особенно для различения живых существ по полу. Для этой цели употреблялись не только окончания, но и многие суффиксы. В индоевропейском склонении существовало чередование гласных предшествующего окончанию элемента. Греческий язык сохранил это в пережитках (ср. πατήρ, вин. п. πατέρ-α, родит. п. πατρ-ός).

Краткий очерк сравнительной грамматики арио-европейских языков, [Фонетика и морфология], 2-е изд., испр. и значит. доп., Казань, 1917 (санскрит, греческий, латинский, старославянский).

¹ С. И. С о б о л е в с к и й, Древнегреческий язык, М., 1948.

Сохранились в греческом языке и следы передвижения ударения в слове для различения прямых и косвенных падежей: ποῦς, родит. п. ποδός, вин. п. πόδα. Хотя падежи различаются своими окончаниями, но часто бывает трудно определить границу между падежным окончанием и формой основы. Легко сделать это в таких формах атематического склонения, как ἑῖρ, ἑῖρ-ος, ἑῖρ-ι, ἑῖρ-ες.

Однако «несмотря на свое упрощение и на те изменения, которым она подверглась, — заключает автор, — система греческого склонения продолжает индоевропейскую систему» (стр. 22).

Вся рассмотренная нами вводная глава (стр. 13—22) написана под сильным влиянием А. Мейе¹, повторяя почти в тех же выражениях и с теми же примерами некоторые его положения (ср., например, стр. 19, § 9 книги П. Шантрена и стр. 206 книги А. Мейе).

Далее излагается система древнегреческого склонения существительных, в которой различаются три основных типа склонения: 1) тематическое склонение (типа λύκ-ος), так называемое второе склонение школьной грамматики, 2) атематическое, резко от него отличающееся и носящее архаический характер (третье склонение школьной грамматики) и 3) тип склонения основ на -ᾱ (долгое) — первое склонение школьной грамматики, имеющее точки соприкосновения в некоторых отношениях с атематическими именами (окончание родительного падежа, следы чередования гласных и перемещение ударения), но в других отношениях приближающееся к тематическому склонению (например, в формах дательного падежа единственного числа и именительного и дательного падежей множественного числа).

Не входя в подробности (см. стр. 22—83), отметим в этом разделе, весьма содержательном по богатству привлеченного диалектального материала греческого языка, ряд важных сравнительно-исторических комментариев к отдельным формам падежей, их фонетико-морфологической структуре, окончаниям и т. д. При этом проводится сравнение и с другими индоевропейскими языками, особенно с латинским. Из греческих диалектов особое внимание правильно уделяется автором гомеровскому, нередко дающему благодаря своей древности ключ к решению генетических вопросов (см., например, стр. 25—26 о родительном падеже; стр. 28 о дательном падеже множественного числа; стр. 37 о родительном падеже множественного числа).

Но и в прочих греческих диалектах мы часто находим живой комментарий к формам аттического, ставшего наиболее распространенным и сделавшегося нормой для общелитературного языка (см., например, критскую диалектную форму окончания родительного падежа множественного числа -ους, из которой легко объясняется ионийско-аттическая форма на-οῖς, например, λύκους).

В склонении типа основ на -ᾱ (ἡμέρᾱ, δόξα) наиболее интересно новообразование, «составляющее отличительную черту греческого языка». Оно заключается в создании как бы особого склонения основ на -ᾱ мужского рода, обозначающего лиц мужского пола. Однако отличия его от склонения существительных женского рода сводятся лишь к следующему: 1) формы именительного падежа единственного числа имеют окончание -ς, по образцу слов типа λύκ-ος, например, νεανίᾱς «юноша», πολίτης, дорич. πολίᾱς; 2) родительный падеж единственного числа имеет окончание -ου: νεανίου, πολίτου, по образцу λύκου, λύγου.

Атематическое склонение охватывает целый конгломерат различных основ всех трех грамматических родов. Эти основы естественно распадаются на две группы: 1) основы на согласные и 2) основы на гласные, причем обе группы не подверглись взаимному влиянию, как в латыни, так что классификация эта отличается четкостью. Первая группа включает в себя ряд основ с различными конечными согласными, вторая — основы на конечные гласные -i- и -u-.

Мы не можем входить в детальное рассмотрение этой главы, занимающей 40 страниц, обильно насыщенной огромным фактическим — преимущественно диалектальным — материалом, разработанным с редкой для подобного рода учебных пособий полнотой, но должны отметить, что автор избрал удачный, на наш взгляд, прием подачи материала учащимся, выделяя в начальных параграфах раздела или главы наиболее существенные узловые моменты, которые в последующем изложении, постепенно развертываясь, вводят в детали описания каждого рассматриваемого лингвистического факта. Автор при этом комментирует склонения в их формах, прибегая к сравнению с другими индоевропейскими языками (особенно часто с латинским) и раскрывая многообразие диалектальных форм внутри греческого языка. Ввиду того, что к атематическому склонению относится множество «исключений», автору приходится часто излагать историю отдельных слов, например, слов γυνή «женщина», ποῦς и т. д. (стр. 50—83).

По такому же типу построены и прочие разделы первой части, куда включены «Система прилагательного» [стр. 83—97; 1) склонение; 2) степени сравнения]; «Нареч-

¹ См. А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938.

ные формы» (стр. 97—100); «Местоимения» [стр. 100—119; 1) указательные, относительные, вопросительные и неопределенные, отличающиеся различием грамматического рода; 2) личные, не имеющие родовых форм, возвратное местоимение]; «Имена числительные» (стр. 120—126; числительные количественные и порядковые).

Часть вторая «Глагол» занимает большую часть книги (стр. 127—275). Эта часть так же, как и первая, предваряется небольшим введением (стр. 127—133), где прежде всего освещается проблема генезиса глагольной системы древнегреческого языка. Автор раскрывает связь этой системы с индоевропейской.

Тремя главными временными основами служили настоящее время, аорист и перфект, и в этом отношении греческая глагольная система архаичнее латинской, в которой существует противопоставление лишь инфекта и перфекта. Важна и другая особенность указанной системы — различие этих трех основ выражало в сущности не время действия, а вид, т. е. характер протекания процесса. Автор определяет значение этих форм следующим образом: «Форма настоящего времени обозначает действие как длящийся процесс; аорист обозначает его в полном отвлечении от длительности; перфект, стоящий несколько особняком и постепенно утрачивающий в греческом языке свое первоначальное значение, а затем и вовсе исчезающий, обозначает состояние субъекта или объекта действия» (стр. 128). Характерно для глагольной системы греческого языка явление супплетивности, в котором важную роль играла семантика глагольных основ и корней. Дуративное значение (длительности) делало корень более пригодным для образования основы настоящего времени; там, где не было этого оттенка значения, глагольные корни становились в форме аориста выразителями значения действия самого по себе.

Противопоставление глагольных форм по «виду» является основой древнейшей структуры греческого глагола. В дальнейшем перфект в ходе истории греческого языка втягивался в двух противоположных направлениях — и в систему настоящего времени, и в систему аориста.

В результате многовекового развития в греческом языке установилась, как отмечает автор, определенная смысловая, а часто и формальная связь между различными унаследованными от индоевропейского языка основами, так что каждый глагольный корень получил свою систему спряжения. Общая тенденция языкового развития заключалась и проявлялась в установлении известной правильности образования временных форм, устойчивого единообразия спряжения, которое постепенно отбрасывало пестроту «исключений» и только изредка сохраняло супплетивизм. И тем не менее древнегреческое спряжение и в «классическую» эпоху развития греческого языка представляет собой очень сложную систему грамматических категорий, отличается и формальным многообразием их выражения, и обилием семантических оттенков этих форм.

П. Шантрен, развертывающий в своем изложении историческую перспективу развития всей этой сложной глагольной системы древнегреческого языка с индоевропейской эпохи вплоть до новогреческого периода, привлекает огромный фактический материал (из индоевропейских древних языков, главным образом санскрита и латинского, а также из древнегреческих диалектов) и пытается его прокомментировать с исторической точки зрения весьма детально, нередко вплоть до отдельных засвидетельствованных форм. Попытка эта, безусловно, заслуживает только одобрения, но нельзя не упрекнуть автора в том, что местами он несколько увлекся нагромождением подробностей и этим повредил перспективе нарисованной им картины развития греческой глагольной системы, которая получилась неясной и схематичной в своих контурах.

Эта перегрузка изложения фактическим материалом, с чрезмерным количеством деталей, нам представляется нецелесообразной особенно с педагогической точки зрения, так как книга предназначена служить учебным пособием. По нашему мнению, на молодого читателя этот раздел о глаголе должен производить подавляющее впечатление обилием материала с бесчисленным количеством фактов, материала, до предела детализированного и не всегда удачно сгруппированного, в результате чего основные линии развития глагольной системы греческого языка в этом лабиринте фактов теряют свою четкость и с трудом улавливаются не только еще не искусственным в науке учащимся, но и опытным глазом ученого. А для педагогических целей показ именно основных линий развития наиболее важен. В этом отношении первая часть книги, посвященная имени, производит более выгодное впечатление, хотя и она несколько перегружена, на наш взгляд, фактическим материалом. В этой перегрузке, думается нам, основной недостаток книги П. Шантрена как пособия для учащихся.

Склонность автора к фактографии приводит его к увлечению формальной стороной развития языка, за которой не всегда ясно различимо внутреннее развитие греческой морфологии, связанное с семантикой рассматриваемых явлений. В этом отношении нельзя не согласиться с мнением автора «Предисловия» Я. М. Боровского, который на стр. 4 подчеркивает обнаруживающуюся «иногда оторванность морфологической трактовки от семантической основы рассматриваемых явлений», ограничивающую «содержательность даваемого автором исторического объяснения». В качестве приме-

ра такой формалистической трактовки приводится как раз один из разделов книги, посвященной системе спряжения. Автор «Предисловия» справедливо упрекает П. Шантрена в том, что он, скользя по поверхности комментируемых им фактов изменения временно-видовых форм греческого глагола, проглядел истинную сущность этих изменений, заключающуюся в «... переходе от конкретных, тесно связанных с вещественным значением слова значений „интенсивности“, „однократности“, „повторяемости“ и т. п. к более абстрактным и тем самым более поддающимся грамматизации собственно временно-видовым значениям...» (стр. 4).

Нужно отметить и некоторые другие недостатки книги П. Шантрена. Во-первых, в книге, посвященной морфологии, совершенно отсутствует обзор именного словообразования, и это тем более удивительно, что автор книги в этой области морфологии зарекомендовал себя серьезным исследователем, создавшим капитальную монографию «Именное словообразование в древнегреческом языке»¹, которую А. Мейе назвал «очень содержательной». Может быть, в условиях французской высшей школы каждый учащийся может легко обратиться к названной книге за соответствующими разъяснениями. Но у нас, при отсутствии подобного пособия, вопрос остается пока открытым. Пожалуй, переводчик настоящего издания, снабдивший книгу «Кратким очерком греческой фонетики», мог бы хотя бы в присоединенных к книге примечаниях отметить наиболее важные моменты из греческого именного образования. Во-вторых, морфология преподносится почти без всякой связи с синтаксисом, что, конечно, не способствует выработке у читателя правильного понимания взаимодействия обеих частей грамматики, как этого требует марксистское учение о языке.

Книга П. Шантрена дает огромный материал языковых фактов, морфологических в своем подавляющем большинстве, показывает их развитие как фактов греческого языка, но ограничивается большей частью их констатацией, почти не касаясь общественно-исторических условий, в которых протекало это развитие, не пытаясь осмыслить морфологические нововведения как элементы нового качества, как «...результат длительной, абстрагирующей работы человеческого мышления, показатель громадных успехов мышления»². В такой книге, какую предложил студентам-филологам П. Шантрен, где такое большое внимание уделено диалектальным фактам, мы вправе ожидать хотя бы самого краткого обзора древнегреческих диалектов с их научной классификацией и характеристикой главных их отличий друг от друга. Такой обзор, который мог бы вестись на 20—30 страницах, не очень увеличил бы размеры книги, но безусловно принес бы большую пользу учащимся, повидимому, еще не знакомым с греческой диалектологией, дал бы им ориентировку в массе разбросанного по книге диалектального материала, познакомил бы с диалектами в их целостности, сделал бы более ясными пути их развития от древнейшего греческого языка-основы.

Прибавление в конце книги краткой библиографии и «Краткого очерка греческой фонетики», составленных переводчиком, нужно одобрить, как и «Указатель греческих слов». Следовало бы еще прибавить «Предметный указатель», необходимый в подобных книгах.

В заключение нужно особо подчеркнуть следующие положительные стороны рецензируемой книги: ее полноту, обилие фактического материала, особенно диалектального, освещение фактов греческой морфологии сравнительно-историческим методом в плане сравнительной грамматики индоевропейских языков и путем сопоставления фактов греческих местных диалектов и литературных диалектов в пределах греческого языка. Большое значение имеет попытка автора показать непрерывность развития истории греческого языка (см. «Предисловие» автора), в чем также сказывается школа А. Мейе.

М. Я. Немировский

¹ P. Chantraine, La formation des noms en grec ancien, Paris, 1933.

² И. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, Госполитиздат, 1954. стр. 24.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ОБСУЖДЕНИЕ ВТОРОГО ТОМА «ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА»

3—4 февраля 1955 г. на расширенном заседании Секции русского языка Ученого совета Института языкознания АН СССР состоялось обсуждение «Грамматики русского языка» (т. II — Синтаксис, М., Изд во АН СССР, 1954: ч. I — 704 стр.; II — 444 стр.). На заседании, кроме языковедов Москвы, присутствовали представители высших учебных заведений Ленинграда, Горького, Калинин, Куйбышева, Одессы, Харькова, Калуги, Шуи, Костромы, Курска, Иванова и других городов страны, всего свыше 400 человек.

Открывая заседание, проф. С. И. Котков отметил, что создание академической «Грамматики русского языка» явилось значительным событием в научной жизни нашей страны и вызвало большой интерес в кругах советской общественности и за рубежом. Завершение этого капитального труда свидетельствует об успехах отечественного языкознания. Указав на несомненную пользу, которую принесло обсуждение первого тома Грамматики коллективу составителей и Институту языкознания в целом, С. И. Котков подчеркнул важность широкого и всестороннего обсуждения второго тома, так как только такое обсуждение может способствовать развитию грамматической теории, улучшению работы советских языковедов и подготовке новых капитальных трудов.

С докладом об основных принципах русского синтаксиса в «Грамматике русского языка» АН СССР выступил акад. В. В. Виноградов. Докладчик рассказал о тех сложных задачах, которые стояли перед составителями второго тома Грамматики, о трудностях, которые приходилось преодолевать авторскому коллективу. Подчеркнув, что синтаксис, несмотря на возросший интерес к нему в последние десятилетия, все еще продолжает оставаться самым неразработанным отделом грамматики русского языка, В. В. Виноградов остановился на том, как определялись основные синтаксические понятия в русской традиции. Свое внимание докладчик сосредоточил на проблеме словосочетания, на противоречиях, которые наблюдаются в построении разных систем синтаксиса, на том, как понимали взаимоотношение между словом и словосочетанием, между словосочетанием и предложением многие языковеды. В. В. Виноградов указал, что составители академического «Синтаксиса» стремились избежать, с одной стороны, смещения грамматики с семантикой и, с другой, слишком резкого отграничения природы слова как готового языкового элемента от природы словосочетания, как свободного произведения в процессе речи (что наблюдалось, например, в концепции проф. А. И. Смирницкого)¹, а также и смещения синтаксиса словосочетания и синтаксиса предложения (Клемесевич, Шмилауэр, в русской традиции — Ф. Ф. Фортунатов)².

Грамматические законы сложно переплетаются в синтаксисе словосочетания с законами семантическими. Наряду с существованием сочетаний слов, определяемых структурой соответствующих частей речи, есть такого рода сочетания слов, которые обусловлены наличием семантических групп. Эти группы могут быть присущи отдельным частям речи, но могут охватывать и основные семантические или словообразовательные отношения групп слов, принадлежащих к разным частям речи. Выделение такого рода семантических групп в их внутренних связях, в их тесных взаимодействиях и соотношениях — дело не легкое. Поэтому, сказал В. В. Виноградов, при практическом осуществлении этого замысла мы столкнулись с целым рядом трудностей

¹ См.: А. И. Смирницкий и О. С. Ахманова, О курсе «Общее языкознание». ВЯ, 1953, № 4, стр. 77; А. И. Смирницкий, Объективность существования языка..., [М], 1954, стр. 22, 18, 16.

² См.: Z. Klemensiewicz, Skupienia czyli syntaktyczne grupy wyrazowe, Kraków, 1948; V. Šmilauer, Novo-ěská skladba, Praha, 1947; Ф. Фортунатов о в. О преподавании грамматики русского языка в средней школе, РФВ, 1905, № 2, стр. 69.

и полностью их не преодолели. Так, сама классификация семантических групп сделана иногда по слишком общим признакам; очень трудно было избежать непоследовательностей такого рода, когда в рамках словосочетания рассматриваются конструкции, связанные со структурой предложения (см. анализ сочетания *людьми даются* в предложении *Чины людьми даются*; часть I, стр. 136), и т. п. Однако, по мнению В. В. Виноградова, сама постановка проблемы словосочетания в такой плоскости, когда учитывается взаимодействие грамматических и семантических процессов, — здоровое зерно, которое затем должно лечь в основу целого ряда более глубоких исследований, посвященных проблеме словосочетания. Определяя словосочетания как номинативное средство языка и исключая из их анализа предикативные единицы, следовало бы более подробно и глубоко рассмотреть предикативность как категорию, определяющую предложение. Однако анализа своеобразия выражения предикативности в академическом «Синтаксисе» нет, и в этом отношении теория предложения оторвана от теории словосочетания, а теоретические положения «Введения» оказываются практически не реализованными в главах, посвященных учению о предложении. Составители Грамматики не смогли показать также, как разные формы и типы словосочетания включаются в структуру предложения.

Выделив шесть проблем, которые стоят перед исследователями сложных предложений¹, В. В. Виноградов отметил, что вопрос о сложном предложении еще не нашел всестороннего освещения в «Синтаксисе». В заключение В. В. Виноградов подчеркнул, что в первом опыте нового построения Грамматики трудно было избежать влияния традиции, с одной стороны, и некоторой внутренней непоследовательности в осуществлении всех замыслов, с другой. Тем более, что материал для «Синтаксиса» собирался в разное время и самый план построения «Синтаксиса» менялся по мере того, как подготавливался материал.

В обсуждении второго тома Грамматики приняли участие (в порядке следования выступлений): проф. В. П. Сухотин (Ин-т языкознания АН СССР), доц. Ю. Р. Гельцер (Харьковский пед. ин-т), проф. Т. А. Бертагаев (Ин-т языкознания АН СССР), ст. преп. Е. Ф. Скобликова (Куйбышевский пед. ин-т), доц. И. А. Попова (МГУ), ассист. В. Ф. Иванова (ЛГУ), проф. Е. М. Галкина-Федорук (МГУ), доц. Н. А. Широкова (Казанский ун-т), доц. В. А. Метлина (МГПИ им. В. И. Ленина), проф. А. И. Зарецкий (Курский пед. ин-т), проф. Т. П. Ломтев (МГУ), Г. П. Торсуев (докторант Ин-та языкознания АН СССР), проф. С. Е. Крючков (МГПИ им. В. И. Ленина), проф. П. С. Кузнецов (МГУ), доц. А. С. Пестова (Костромской пед. ин-т), доц. И. А. Калинин (Горьковский пед. ин-т), доц. В. П. Воробьев (Саратовский пед. ин-т), проф. В. И. Борковский (Ин-т языкознания АН СССР), ст. преп. В. Е. Федоров (Моск. пед. ин-т иностр. языков), доц. В. И. Тагунова (Муромский пед. ин-т), мл. науч. сотр. Н. И. Тарабасова (Ин-т языкознания АН СССР). Всего 21 чел.

Выступавшие отмечали исключительную актуальность этого издания, говорили о том, что выход в свет Грамматики может быть отнесен к выдающимся событиям советской лингвистической науки. Несмотря на трудности, связанные с серьезным отставанием в разработке синтаксических проблем, авторский коллектив Грамматики представил подробное описание основных типов словосочетаний и предложений современного русского языка и тем самым успешно разрешил поставленные перед ним большие и сложные задачи. Это первый обобщающий труд по синтаксису русского языка, что имеет значение не только для языковедов-руссистов, но также и для составителей описательных грамматик национальных языков.

Значительный интерес представляет в Грамматике разработанное по-новому учение о словосочетании. Именно этот раздел вызвал наибольшее количество откликов и замечаний. У многих выступавших вызвало возражения и сомнения толкование словосочетания как номинативного средства языка, средства обозначения предметов, явлений и процессов, а также как строительного материала для предложения. Так, В. П. Сухотин видит в этом чрезмерное уподобление словосочетания слову и считает, что именно отсюда вытекает и тесная связь учения о словосочетании с учением о частях речи, классификация словосочетаний, по стержневому, грамматически господствующему слову и способность их к формоизменению. В. П. Сухотин считает, что осталось недоказанным основное положение о словосочетании как строительном материале и номинативном средстве обозначения, так как у составителей этого раздела не было возможности показать словосочетания вне использования их в предложении. Чрезмерное сближение словосочетания со словом отметил также и Т. А. Бертагаев.

Присоединилась к высказыванию В. П. Сухотина и Е. Ф. Скобликова, отметившая, что определяющая роль стержневого слова в характере словосочетания несомненно является следствием уподобления словосочетания слову. Е. Ф. Скобликова высказала также сомнение в главной роли стержневого слова в словосочетании. Приведя словосочетания *письмо брата*, *письмо к брату*, *письмо от брата*, Е. Ф. Скобли-

¹ См. В. В. Виноградов, Основные принципы русского синтаксиса в «Грамматике русского языка» Академии наук СССР, ИАН ОЛЯ, 1954, вып. 6, стр. 504—505.

кова отсюда сделала заключение, что разный характер словосочетаний определяется значением подчиненных элементов: родительный падеж выражает значение принадлежности, дательный — значение адресата, а роль стержневого слова сводится к тому, что его лексическое значение лишь ограничивает круг возможных подчиненных форм.

Роль лексического, а не грамматического значения стержневого слова при образовании круга возможных сочетаний подчеркнул и В. П. Воробьев, который тоже полагает, что словосочетание не является строительным материалом для предложения. П. С. Кузнецов считает, что анализ словосочетания по господствующему слову мало что дает для грамматики, что такой анализ целесообразен лишь в отношении словосочетаний, которые находятся на пути к фразеологизмам. Непелесообразно также, по его мнению, и исключение предикативных сочетаний из анализа словосочетаний, так как отношения форм в предикативном и атрибутивном сочетаниях остаются одними и теми же.

Т. А. Бертагав отметил, что исключение предикативных сочетаний проведено не всегда последовательно. Так, сославшись на определение Грамматики, в котором сказано, что «члены предложения — это синтаксические категории, возникающие в предложении на основе форм словосочетания» (часть I, стр. 88), Т. А. Бертагав отмечает, что в этом определении неясно, почему подлежащее и сказуемое как члены предложения обязаны своим возникновением формам словосочетания, если предикативная связь этих членов предложения должна рассматриваться вне пределов словосочетаний. Отмечалось также, что в Грамматике разделы о словосочетаниях и о предложениях мало связаны. С. Е. Крючков и В. П. Воробьев отметили, что те положения, которые высказаны в главе о словосочетании, в дальнейшем не реализуются. С тем, что в Грамматике не согласован синтаксис словосочетания и предложения, согласился В. И. Борковский.

Выступавшие сделали также ряд частных, конкретных замечаний по разделу о словосочетании. Так, В. П. Сухотин полагает, что словосочетания по структурно-грамматическим признакам целесообразно делить на три группы (именные, глагольные и наречные), а не выделять шесть групп, как это сделано в Грамматике. Н. И. Тарабасова не согласилась с указанием на то, что в языке редко встречаются словосочетания, состоящие из глагола и имени существительного в винительном падеже с предлогом *по*, так как, по ее мнению, дело здесь не в том, насколько редко или часто они встречаются, а в том, что в русском языке ограничена возможность образования подобных словосочетаний. В современном языке предложно-именная часть замыкается определенным кругом слов (*по горло, по колено, по пояс* и т. д., т. е. мерой являющиеся части живого существа). Н. И. Тарабасова указывает, что ограничению употребления конструкций с предлогом *по* способствовал также рост продуктивных сочетаний с предлогом *до* (*мыться до пояса, дорости до стола* и т. д.). К сожалению, эти факты в Грамматике не отмечены, и может создаться представление, что все словосочетания могут образовываться в языке одинаково свободно.

С отрывом теории словосочетания от теории предложения выступавшие связали недостаточную разработанность теории второстепенных членов предложения. В. П. Сухотин указал, что не реализовано теоретическое положение «Введения» о том, что «во второстепенных членах предложения как бы синтезируются, обобщаются по функции те же разнообразные грамматические отношения, которые обнаруживаются между словами в строе словосочетаний» (часть I, стр. 94). В разделе о второстепенных членах предложения лишь повторяется то, что говорилось о словосочетаниях. С. Е. Крючков считает, что последовательное проведение декларативного объявленного тезиса: «члены предложения — это синтаксические категории, возникающие в предложении на основе форм словосочетания» (часть I, стр. 88)—приведет к уничтожению всей системы второстепенных членов предложения. На недостаточность разработки второстепенных членов предложения указывали также и другие выступавшие.

Большое внимание при обсуждении было уделено вопросу разработки сложного предложения в Грамматике. Отмечая, что этот раздел «Синтаксиса» разработан шире, нежели раньше, выступавшие говорили о некоторых противоречиях, отсутствии единого принципа классификации, о недостаточности освещения отдельных, частных вопросов синтаксиса сложного предложения. Так, Н. А. Широкова указывала на то, что классификация сложных предложений проведена по трем принципам одновременно. Часть предложений охарактеризована по их синтаксической функции в соответствии с членами предложения (придаточные подлежащие, сказуемые, дополнительные и т. д.); наряду с ними даны придаточные сравнительные и сопоставительные, выделенные по характеру выражаемых отношений; наконец, выделена группа предложений, отношения между частями которых выражены с помощью лексико-синтаксических средств, т. е. здесь принят во внимание способ взаимосвязи частей.

С. Е. Крючков указал на непоследовательность проведения в Грамматике принципов, изложенных во «Введении». Так, во «Введении» (часть I, стр. 103) указывалось, что «традиционная аналогия между так называемыми придаточными предложе-

ниями и членами простого предложения, проводившаяся прежде, а иногда проводимая и теперь с неуклонной и односторонней прямолинейностью, на самом деле может иметь лишь очень ограниченное и условное применение; между тем в основных главах Грамматики такая классификация имеет место. В. П. Воробьев высказал пожелание, чтобы составители Грамматики раскрыли свой принцип классификации придаточных предложений. И. А. Калинин считает, что если в основу классификации положить «те синтаксические функции, которые выполняет придаточное предложение по отношению к главному» (часть II, стр. 270), то придаточные подлежащие, сказуемые, дополнительные и определительные следует объединить в одну группу придаточных изъяснительных.

Противоречивой оказалась разработка некоторых вопросов уже внутри глав раздела о сложном предложении. Так, С. Е. Крючков и В. Ф. Иванова указали, что вопреки определению придаточных подлежащих как таких предложений, которые раскрывают содержание подлежащего, выраженного в главном предложении местоимением, в § 1442 они определяются как дополнительные придаточные предложения, когда в главном имеется указательное местоимение *это* даже в роли подлежащего. Например: «Что она несчастна, горда, самолюбива, скрытна, а главное, несчастна, — это для меня не подлежит сомнению» (Тургенев, *Новь*). С. Е. Крючков указывает также, что конструкция, определяемая во «Введении» как конструкция со взаимным подчинением (часть I, стр. 101), рассматривается далее то как один из видов сложноподчиненного предложения с придаточным временным, то среди сложных предложений, в которых отношения между частями выражены лексико-синтаксическими средствами. Н. А. Широкова отметила, что в группе сложноподчиненных с придаточными сопоставительными (§ 1535) объединены различные типы предложений. Предложения с союзами *тогда как*, *между тем как* ближе к сочинению, чем к подчинению. В. А. Метлина указала, что главное предложение при придаточном подлежащем то безоговорочно определяется в Грамматике как безличное, то рассматривается как неполное. Е. Ф. Скобликова и И. А. Калинин считают, что главное предложение при придаточном подлежащем нельзя считать безличным, так как это противоречит обычному представлению о безличных предложениях как не допускающих никакой возможности для постановки вопросов именительного падежа.

Отсутствием твердых теоретических установок при изложении нового толкования некоторых типов придаточных как придаточных части объясняется, по мнению В. А. Метлиной, неточностью отграничения этих предложений от придаточных дополнительных, цели и т. п. Н. А. Широкова отметила даже случаи, когда один и тот же пример дается в § 1532 для иллюстрации придаточных сравнительных, а в § 1570 — для иллюстрации придаточных части [«Мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы» (Пушкин, *Станционный смотритель*)]. Отсутствием четкого определения понятия присоединения И. А. Попова объяснила то, что к присоединительным предложениям отнесены такие предложения, которые уже традиционно и закономерно называются относительно-подчинительными, что подчеркивает их своеобразную структуру. Например: *В аудитории очень много народу, что всех очень порадовало*. То, что подобного рода предложения незаконно отнесены к присоединительным, отметила и Н. А. Широкова. Термин «предложения присоединительного типа», сказала Н. А. Широкова, не подходит также и для группы бессоюзных предложений, описанной в § 1610, так как здесь явно выражена пояснительная связь лишь с опущением промежуточных звеньев. Этот термин можно отнести лишь к группе бессоюзных предложений, дающих дополнительные замечания к предыдущему (см. § 1611).

Ряд критических замечаний вызвало у выступавших определение союзов и союзных слов. С. Е. Крючков считает, что в Грамматике некоторые союзы названы союзными словами и, наоборот, некоторые союзные слова названы союзами. Например: «Да только те цветы Совсем не то, что ты...» (Крылов, *Василек*): *Алоэ — то же (самое), что столетник*. Эти примеры даны в § 1452 для иллюстрации таких случаев, когда сказуемое главного предложения выражено местоимением *то же (самое)*, а придаточное, раскрывая содержание этих местоимений, связывается с главным при помощи союзного слова *что*. С. Е. Крючков считает, что здесь не союзное слово, а союз. С другой стороны, в § 1474 союзные слова *куда* и *откуда* названы союзами.

Предметом обсуждения явился также вопрос о классификации и описании односоставных предложений. Так, возражения со стороны Т. А. Бертагаева, Е. М. Галкиной-Федорук, И. А. Поповой и В. Ф. Ивановой вызвало то обстоятельство, что среди односоставных предложений не выделены определительно-личные предложения типа *Люблю тебя, Петра творенье...* Они отнесены в Грамматике к двусоставным и при этом полным (!) предложениям. В связи с непризванием определительно-личных предложений как односоставных, считает В. Ф. Иванова, убедительно дана классификация слов-предложений. К словам-предложениям отнесены, например, такие определительно-личные предложения: *Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!* (§ 1119). Такие предложения могут быть и распространяемыми. В. Ф. Иванова предполагает, что неправильно определять действие, обозначаемое главным членом неопределенно-личных предложений, как

«действие, совершаемое неопределенными (т. е. необозначенными) лицами» (§ 989). Добавление в скобках («необозначенными») — не синоним в данном случае и не уточнитель. Такое определение противоречит сути и термину неопределенно-личных предложений. Необозначенным бывает субъект, действующее лицо в неполных предложениях, а здесь — лишь своеобразное его выражение.

Н. А. Широкова отметила, что в самой классификации односоставных предложений отсутствует единый принцип: по смысловому принципу выделены безличные, неопределенно-личные, обобщенно-личные предложения, а по грамматическому — номинативные и инфинитивные предложения. Среди последних вновь выделены безличные.

Теоретически необоснованным, а потому неубедительным В. Ф. Иванова считает то, что в Грамматике отнесены к разным типам такие предложения, где главный член выражен различными словосочетаниями. Часть безглагольных предложений, когда в сочетании ведущим словом является количественное числительное или существительное с количественным значением, отнесена к номинативным: *Три пограничника; Маса людей; Множество цветов; Куча народу* (§ 1081). Когда же ведущее слово — неопределенно-количественное числительное или существительное с количественным значением (!), то предложение определяется как безличное: *Столько людей; Много цветов; Народу видимо-невидимо* (§ 1039). Особенно неубедительно отнесение к безличным таких предложений, в которых кроме главного члена есть обстоятельство: *В купе много народу?* (§ 1039). В соответствии со всей грамматической традицией такие предложения следовало бы считать неполными двусоставными, где словосочетание *много народу* — подлежащее. Неубедительно, по мнению В. Ф. Ивановой, и отнесение к безличным предложений типа *Ишь книг-то, книг* (§ 1042). Еще Потебня считал возможным родительный дополнения при опущенном обозначении количества. Здесь же, как отмечено в самой Грамматике, роль слова с количественным значением выполняет частица *то* (§ 1041, § 1042).

Выступавшие указывали также на отсутствие в обсуждаемом труде определений целого ряда важнейших грамматических понятий и категорий, на введение новых, не всегда оправданных терминов. Так, Е. Ф. Скобликова и Н. А. Широкова указали, что в Грамматике отсутствует общее определение понятия односоставного и двусоставного предложений. Н. А. Широкова говорила о том, что нет единства в определении сложносочиненного и сложноподчиненного предложений. Так, в отношении сложносочиненного предложения указано, что оно представляет собой структурно-синтаксическое и смысловое единство. В отношении же сложноподчиненного предложения аналогичное указание отсутствует, тогда как здесь этот момент является особенно значимым. При определении сложноподчиненного предложения отмечен характер взаимосвязи частей — момент синтаксического подчинения одного предложения другому. При характеристике же сложносочиненного предложения указание на характер взаимоотношения частей отсутствует. Н. А. Широкова указала также и на отсутствие общего определения понятия сложного предложения. На недостаточность общего определения понятия предложения указал В. Е. Федоров. В этом определении отсутствует указание на то, что в предложении выражаются не только определенное содержание, но и волевые чувства, эмоции.

Большинство выступавших высоко оценили богатый иллюстративный материал книги. Однако было отмечено, что не всегда этот материал распределяется равномерно; в отдельных случаях примеры не подтверждают теоретических положений, в некоторых параграфах материал перегружен, в других — иллюстрации даны не на все случаи, которые описаны.

Так, например, И. А. Попова указала, что для подтверждения не совсем точного самого по себе положения о том, что «полные формы прилагательных в сказуемом употребляются в тех случаях, когда признак приписывается предмету как качество, свойственное ему на всем протяжении существования данного предмета» (§ 592), приводится, например, такая иллюстрация: «Погода несносная, дорога скверная...» (Пушкин, Станционный смотритель). А разве постоянное свойство погоды — быть несносной?

Выступавшие отмечали также, что хотя Грамматика по своей установке является нормативной, в некоторых случаях в ней отсутствует нормативный подход к описываемому явлению и не всегда точно даются стилистические характеристики. Так, например, отметила Е. Ф. Скобликова, при указании на несогласованный характер родов рода названий совершенно нет никаких замечаний относительно условий употребления согласованных или несогласованных форм в названиях населенных пунктов (например, в городе Куйбышеве, в городе Пензе или Пенза, в село Каменка или Каменку).

Неполно, а иногда и неточно устанавливаются условия употребления родительного и винительного падежей при глаголах с отрицанием. Так, ничего не говорится о ряде случаев, в которых возможен только родительный падеж, в том числе о таких случаях, которые вызывают в школьной практике частые стилистические ошибки. Например: *не внушает доверия, не нарушает спокойствия, не составляет секрета,*

не вызывает сомнений и т. д. Как указали Ю. Р. Гепнер и В. И. Борковский, в Грамматике не всегда выделяется отмирающее и парождающееся, не всегда выделены конструкции архаичные и новые, развивающиеся.

Основную часть своего выступления Ю. Р. Гепнер посвятил вопросу о том, как понимается в Грамматике предикативность и модальность. Ю. Р. Гепнер считает, что нужно больше подчеркнуть роль предикативности по сравнению с ролью интонации и разъяснить, кроме того, что имеется в виду на стр. 78 «Введения», когда говорится о том, что «без слов она (интонация) может быть выразительной, но не является содержательной». Может ли быть интонация без слов? Отдельные формулировки, считает Ю. Р. Гепнер, дают повод к отождествлению предикативности и модальности. На стр. 80 «Введения» сказано: «... значение и назначение общей категории предикативности, формирующей предложение, заключается в отнесении содержания предложения к действительности», а на стр. 81: «Отношение сообщения, содержащегося в предложении, к действительности — это и есть прежде всего модальное отношение».

Ю. Р. Гепнер предлагает различать модальность языковую и логическую, так как языковая модальность шире. Логика знает только три типа суждений, различаемых по модальности и соответственно выражающих действительность, необходимость и возможность. Грамматическая категория модальности охватывает самые разнообразные по смыслу предложения, она включает в себя и эмоциональную, экспрессивную оценку действительности, чего нет в логике. Поскольку предикативность шире сказуемости, Ю. Р. Гепнер, а также В. Е. Федоров считают, что нужно говорить не о предикативной связи подлежащего и сказуемого в предложении, а о сказуемости той.

На частных вопросах синтаксической фонетики остановился Г. П. Торсуев. Несомненно, сказал Г. П. Торсуев, что в обсуждаемом труде более ясно и четко, чем в каких-либо других трудах, поставлены вопросы о роли интонации в структуре предложения, в оформлении предложений. Но вместе с тем в вопросе об интонации есть и неясность, и при подготовке книги ко второму изданию нужно обратить большее внимание на этот вопрос. В Грамматике нет общего определения, что такое интонация, относятся ли к интонации такие явления, как тембр и т. п. Сомнение вызывает положение, высказанное на стр. 41, о том, что «словосочетанию может быть приписана интонация лишь в том смысле, в каком интонация свойственна фразеологической единице типа *железная дорога, яблоко раздора* и т. п. или сложному слову». Вряд ли, считает Г. П. Торсуев, слово даже сложное, может иметь интонацию, не может иметь ее в каком-либо смысле и словосочетание.

На том, насколько полно и последовательно разработаны в Грамматике общетеоретические вопросы, насколько выдержан в ней принцип историзма в широком его понимании, специально остановился в своем выступлении Т. П. Ломтев. Т. П. Ломтев полагает, что в грамматике современного языка не нужны исторические комментарии, но всегда должна быть указана область распространения той или иной конструкции, чтобы историки языка, располагая своим собственным материалом, могли сопоставлять его с современным. Между тем такие указания здесь даются далеко не всегда; нет в Грамматике во многих случаях и сведений, которые могли бы удовлетворить потребностям сравнительного языкознания и сравнительного синтаксиса славянских языков.

Т. П. Ломтев считает, что в Грамматике нет единой, проходящей через всю книгу синтаксической системы: синтаксис словосочетания не связан органически с теорией предложения; синтаксис второстепенных членов предложения и придаточных предложений строятся на разных основах; на разных принципах строятся и описание неполных предложений. В заключение Т. П. Ломтев высказал пожелание, чтобы в печати была открыта дискуссия по проблемам синтаксиса в связи с выходом второго тома Грамматике. Многие из выступавших выражали свое удовлетворение организованным обсуждением.

После выступлений участников заседания было оглашено три отзыва, присланных в письменной форме. Обстоятельный отзыв-рецензию прислала предметная комиссия по современному русскому языку кафедры русского языка Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена за подписью председателя комиссии доц. А. Г. Руднева. Как факт большого положительного значения в рецензии отмечается глубокая и новая разработка синтаксиса словосочетания. Основные положения и материал этого раздела не вызвали возражений, хотя отмечено, что авторам «Синтаксиса» не удалось найти правильного места проблеме словосочетания в общей грамматической системе.

Канд. филол. наук Т. Мелина (Киевский ун-т) в своем отзыве касается только одного раздела — «Типы односоставных предложений». Считая, что этот раздел представляет собой первый в наше время опыт наиболее полного, систематического и глубокого рассмотрения различных односоставных конструкций, Т. Мелина отмечает ряд недостатков, которые следовало бы, с ее точки зрения, устроить при переиздании Грамматике (например, отсутствие определенно-личных односоставных предложений и общего определения понятия односоставного предложения, неправомерность рас-

смотрения предложений типа *Мало слов, И на столе и на этажерке много книг как предложений безличных и др.*

В кратком отзыве проф. М. Я. Немпровского (Ростов-на-Дону) подчеркивается важность и актуальность опубликования новой академической «Грамматики русского языка». М. Я. Немировский считает, что особенно ценны в «Синтаксисе» теоретическое введение и раздел, посвященный словосочетанию.

В заключительном слове А. Б. Шапиро подвел итоги обсуждения. Он подчеркнул плодотворность проведенной дискуссии и ценность многих внесенных предложений и замечаний. Хочется рассматривать это обсуждение, сказал А. Б. Шапиро, как такой факт, который приведет в дальнейшем не только к улучшению нашего «Синтаксиса», но и вызовет еще ряд плодотворных дискуссий и споров.

А. Б. Шапиро отметил, что из общетеоретических вопросов более всего привлекла внимание проблема словосочетания, и это закономерно. В «Синтаксисе» сделана попытка подойти к проблеме словосочетания очень серьезно, с аргументацией новых теоретических установок, на большом конкретном материале. Многие замечания выступавших говорят о том, что здесь еще есть над чем подумать. А. Б. Шапиро согласился, что вопросы, касающиеся предикативности, модальности, интонации, также нуждаются в дальнейшем исследовании. А. Б. Шапиро полагает, что в синтаксисе современного языка невозможно дать материал, удовлетворяющий в равной мере и историка языка, и лиц, занимающихся сравнительной грамматикой. Здесь должен быть только хорошо обработанный материал современного русского языка. Касаясь указанных выступавшими расхождений «Введения» и основной части «Синтаксиса», в большей степени сохраняющей традицию, чем «Введение», А. Б. Шапиро отметил, что в ряде случаев это было сделано сознательно, так как во «Введении» дан ряд новых идей, новых мыслей, нуждающихся еще в обосновании и проверке на большом материале. Остановившись на указанных выступавшими противоречиях основной части «Синтаксиса», его отдельных глав и параграфов, А. Б. Шапиро признал подавляющее большинство замечаний правильными и отметил желательность большего их количества для улучшения текста Грамматики.

В заключение А. Б. Шапиро выразил благодарность выступавшим и просил сообщить в Сектор русского литературного языка Института языкознания АН СССР о всех недостатках Грамматики, которые будут замечены в дальнейшем. Это значительно поможет улучшению и совершенствованию «Грамматики русского языка» при ее переработке и переиздании.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

В.	В. Виноградов (Москва). Проблема исторического взаимодействия литературного языка и языка художественной литературы	3
А.	Г. Широкова (Москва). Из истории развития литературного чешского языка	35

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Т.	И. Грунин (Москва). Имя прилагательное в тюркских языках (На материалах турецкого языка)	55
С.	С. Какабадзе (Тбилиси). О так называемых «хеттско-иберийских» языках	65
К.	В. Ломтатидзе (Тбилиси). Некоторые вопросы иберийско-кавказского языкознания	73

ИЗ ИСТОРИИ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

И.	Ю. Крачковский (Ленинград). Семитология в университетах СССР	83
----	--	----

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

З.	Т. Штибер (Варшава). Теория фонем И. А. Бодуэна де Куртене в современном языкознании	89
Т.	Г. Строганова (Москва). Одна из особенностей южнорусского вокализма	94
М.	М. Спектор (Харьков). Радицев о взаимоотношении языка и мышления	104

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ШКОЛА

А.	В. Миртов (Горький). Курс «Современный русский язык» в плане филологических факультетов университетов	108
А.	Н. Савченко (Ростов-на-Дону). Древнейшие грамматические категории глагола в индоевропейском языке	111

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

И.	А. Оссовецкий (Москва). Русско-белорусский словарь	121
Р.	Р. Гагуа (Тбилиси). Ю. Д. Дешериев. Вацбийский язык	129
Н.	И. Филичева (Москва). E. Riesel. Abriss der deutschen Stilistik.	134
М.	Я. Немировский (Ростов-на-Дону). П. Шантрен. Историческая морфология греческого языка	140

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В.	Ф. Иванова (Ленинград). Обсуждение второго тома «Грамматики русского языка»	145
----	---	-----

Редколлегия

С. Г. Бархударов, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев (отв. секретарь редакции),
В. В. Виноградов (главный редактор), А. И. Ефимов, Н. А. Кондрашов,
Н. И. Конрад, В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев (зам. главного редактора),
В. А. Серебренников, В. М. Филиппова, А. С. Чикобава, Н. Ю. Шведова

Адрес редакции: Москва, ул. Куйбышева, 8. Тел. Б-1-75-42

Т-05914	Подписано к печати 15.VII. 1955 г.	Тираж экз. 13450	Заказ 1319
Формат бумаги 7) × 108 ¹ / ₁₆ .	Бум. л. 4 ³ / ₄	Печ. л. 13,01	Уч.-изд. л. 15,1

2-я тип. Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10